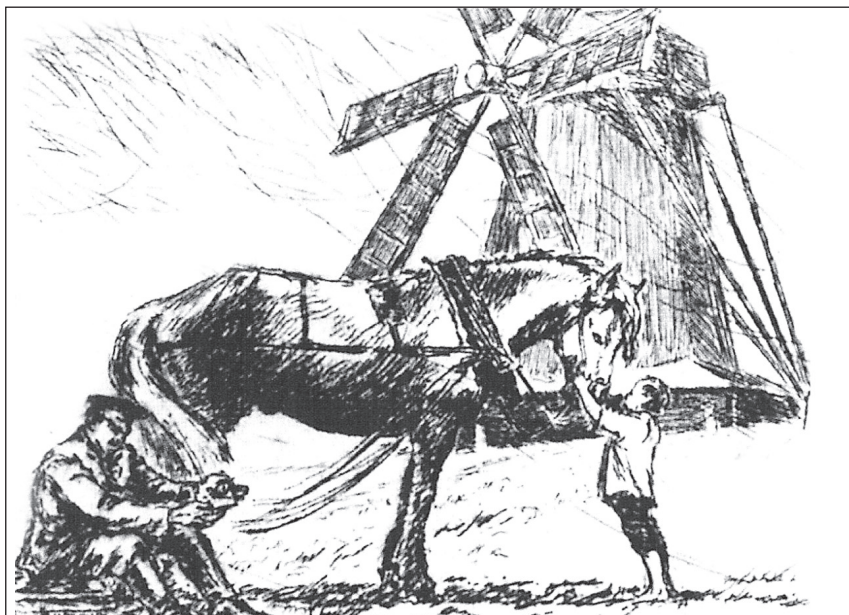


Администрация Бежецкого района
Архивный отдел администрации Бежецкого района
Историко-краеведческий альманах «Тверской край»

Николай Родин

Бежецкие Марки



Тверь, 2019

ББК 63.3(2 Рос-4Тв)
Р 604

Историко-краеведческий альманах «Тверской край» №19

**Издано при поддержке
администрации Бежецкого района**

**Р 604 Родин Николай Алексеевич
Жарки / Николай Родин. – Тверь: 2019. – 256 с.: ил. – 44
(Тверской край: События. Люди. Судьбы; вып. 19)**

В настоящей книге впервые публикуются дневниковые записи Заслуженного художника Украины Николая Алексеевича Родина, уроженца деревни Жарки Бежецкого района Тверской области. Год за годом фиксирует художник изменения в послереволюционном деревенском укладе. Первый колхоз и первый трактор. Первый сообща построенный дом и первое прикосновение к музыкальному инструменту. Названные поименно соседи с их характерными чертами и человеческими слабостями. И, конечно же, богатая в любое время года родная природа, которую будущий художник видит, прежде всего, через цвет. Отсюда и некоторая необычность авторского изложения, что, конечно же, нисколько не умаляет воспоминаний художника данную в его долгую жизнь.

Настоящее издание может представлять интерес как для земляков-бежечан, так и для любителей изобразительного искусства.

ББК 63.3(2 Рос-4Тв)
Р 604

© Родин Н.А., 2019
© Козырев В.В., 2019
© Издательство ИП Глониной О.Б.

* * *

Есть люди, чья судьба незаменима,
Есть люди, жизнь которых нелегка,
Но дело их историей хранимо,
И памятью отмечено в веках.
Кто Бежецку отдал любовь и силы,
Осуществил заветную мечту,
Тот не уснет под бременем могилы,
Он будет славить жизни красоту.
Сверкнув как метеор, уходят люди,
А время равнодушное летит..
Своих героев память не забудет
И никогда забвенья не простит.
А посудить – какие годы были!..
Какою силой дышат имена!
Они в судьбы зигзагах не застыли,
Их помнить будем мы и письма.
Любви достойны люди без амбиций,
Трудом измерив свой короткий век.
...Читать приятно прошлого страницы,
Когда делами славен человек!

Геннадий Ершов

Художник Родин и его родина

Бежецкая земля в изобразительном искусстве дала несколько первостепенных имён. Прежде всего, это великий учитель великих русских художников Павел Петрович Чистяков. Он воспитал Сурикова, Серова, Врубеля, Васнецова, Нестерова, Поленова, Рябушкина... Сам он тоже был хорошим художником, но не таким великим, как его ученики.

Бежечанин Алексей Тыранов пришёл учиться живописи к Венецианову и стал одним из лучших художников его легендарной школы. Стал академиком живописи. Его работы есть в Третьяковской галерее, в Эрмитаже, в Русском музее.

В советское время Бежецк прославил живописец Александр Николаевич Самохвалов. Его картину «Девушка в футболке» можно поставить рядом с лучшими женскими портретами всех времён. Не случайно в 1937 году на Всемирной выставке в Париже эта работа награждена золотой медалью.

Вот такие три богатыря-бежечанина внесли свой вклад в художественную славу нашей страны.

Николай Алексеевич Родин не столь известен даже на бежецкой земле, не то, что в России. Но художник он профессиональный, подлинный, интересный. Родился и детство он провёл в Бежецком районе, в деревне Жарки. Это по левую руку от трассы Бежецк – Красный Холм, недалеко от Заручья. Не очень известен ещё и потому, что художественное образование получал в Киеве, там же и жил потом, и творил, там он и упокоился. Он член Союза художников Украины, заслуженный художник Украины. Его графические работы есть в Третьяковской галерее, в Национальном музее Украины, его графика

и живопись есть в частных собраниях Америки, Англии, Франции, Германии... А в Бежецке его не очень знают по той причине, что никто здесь не популяризировал его творчество. Хотя он в 1996 году подарил городу к 800-летию Бежецка большую коллекцию своих работ. Но им так и не нашли применения. Не нашлось помещения. И говорят, что теперь от этой коллекции мало что осталось... Не хочется в это верить. Может быть, благодаря нынешнему 100-летию юбилею художника удастся собрать его работы и открыть в Бежецке выставку.

Мы с Николаем Алексеевичем познакомились в восьмидесятые. Ходили с ним по сёлам и деревням, в Слепнёво ходили, показывал он свои Жарки, окрестности. Говорил, что название деревни идёт от слова ж а р ы, так называли специально выжженные места в лесу, где потом сеяли рожь. Рассказывал он, что в древности рядом с этим местом было уникальное озеро, и по преданию будто бы во время сильнейшего урагана или даже бури, которая с корнями вырывала деревья, это озеро было завалено этими деревьями. Потом здесь образовалось нынешнее торфяное болото.

Нам, бежечанам, этого художника надо знать. Прочитав эту книгу, я думаю, многие поймут, какой человек, какой земляк жил среди нас, творил. Читатель увидит, что редко кто так свято любит свою малую родину, как это выражено у Николая Родина. Да, и фамилия у него под стать ему.

Он постоянно приезжал в Бежецк, с фотоаппаратом везде ходил, снимал чуть ли не каждую копейку на родной земле, все тропинки и, конечно, избы... И живые избы и уже мёртвые. Потом мне он прислал некоторые фотографии со своими комментариями. Как-то прислал небольшой офорт, на котором изображена мельница у деревни Горни (этой мельницы давно уже нет) и около неё мальчик с крепким таким крестьянином – художник в детстве со своим отцом.

А с какой любовью он рассказывал о своих односельчанах, многих из которых уже не было на свете. В книге эта любовь очевидна. Он в письме тогда писал: «А поля!.. Наши деревенские поля!.. Сколько было радости крестьянской душе! А наша рожь, высокая, с длинным колосом! И снопы тяжёлые я в стойки ставил!.. Я прошёл сквозь всю войну, побывал в разных краях России и Украины, был в Польше, в Германии, но таких полей, такой ржи я не встречал!»

И что же теперь? Почему наши поля стали стране не нужны? Всё стало неперспективным... Для Родина эти немыслимые изменения на родине стали большой болью. Он страдал и не скрывал своего

страдания. Я видел его растерянным и до глубины души страдающим. В какой-то мере это объясняется и тем, что многие художники до конца дней своих не утрачивают в себе детское начало. От него зачастую берёт начало и творчество. Читатель увидит в этой книге, как много художник вспоминает своё детство, каким живым оно остаётся для него и в преклонные годы.

Немало работ у Николая Алексеевича посвящено военной теме. Он прошёл всю войну, был ранен, попал в окружение, из которого чудом вышел, воевал под Киевом, под Смоленском, награждён медалью «За отвагу». Как он сам говорил, орденов и медалей у него мало, потому что как только командиры узнавали, что он художник, так сразу определяли его в штаб, где он должен был заниматься боевыми листками, оформлением карт и всем таким...

Безусловно, Родин был советским художником. Русским и советским. У него на полотнах есть и Ленин, и Октябрь с большой буквы, и всё такое убираемое сегодня на задний план. У него нет религиозных сюжетов, но мне кажется, что он всю жизнь служил Богу. Потому что он служил созиданию, а не разрушению. Он служил красоте, жизни. И красоте жизни.

Я как-то спросил у Николая Алексеевича о его любимых местах в Бежецке. Он сразу сказал, что раньше очень любил Мологу, поворот её из-за Штаба. Красиво. «Теперь это не Молога, а плачущий старик, без сил, без средств».

...В начале предисловия я сказал, что Родин не очень известен, к сожалению, в Бежецке. Да сейчас не очень известен. Но было когда-то время, в 70-е годы прошлого века, на его персональную выставку в Киев из Бежецка приезжал целый автобус земляков. И это было естественно в то время.

Как всё поменялось не в лучшую сторону. Но от нас тоже многое зависит, чтобы перемены были и к лучшему. Для этого надо хранить память о таких наших земляках как Николай Алексеевич Родин.

Геннадий Иванов

*Родин Николай Алексеевич.
Автопортрет. 1960 г.*



Моим дорогим родителям – матери, Анне Степановне, отцу Алексею Степановичу, братьям родным, погибшим в Великую Отечественную, – Ивану и Петру, ныне живущей сестричке родной, Марии. Всем крестьянам Жарков, среди которых я рос и учился работать. Моим дорогим товарищам детства и юности посвящаю.

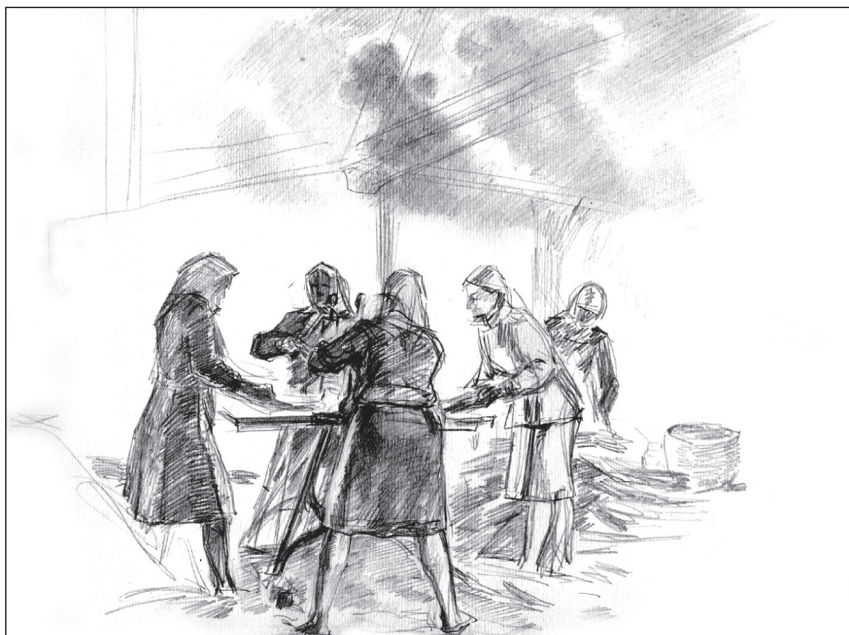
Моя родная древняя деревня Жарки умерла, как сотни, тысячи русских деревень умирают. Во мне живёт боль за судьбу русского крестьянства, за коллективный крестьянский труд, за русскую землю, за земли Украины и Белоруссии, за землю других республик бывшего СССР, земли которых превращаются в дикие степи.

Я писал не ради славы, не ради гонорара, я писал по велению своего сердца. Я не мог не писать! Я писал, чтобы оставить память о наших крестьянах, о Жарках, о нашем времени.

Николай Родин

Часть I

О, русское поле...



Мальчиха

Каждый, кто из Жарков, при звуке этого слова улыбнётся, и душа его наполнится радостными воспоминаниями.

I

Раннее июльское утро. Ещё держится ночная роса на траве, и над Выгордой нашей стелется редкий сизоватый туман. На небе золотистом – ни облачка. И я, ёжась от утренней свежести, бегу босыми ногами вдоль просыпающейся деревенской улицы, мимо старых ветхих изб, по холодной сырой боковой тропе. И я бегу в Мальчиху! В нашу любимую Мальчиху с необъяснимым удивительным чувством, как будто спешу в Светлый Храм на молитву, с благоговейным ожиданием радостной встречи в утреннем, проснувшемся лесу, нюхая запахи деревенского дыма. Мимо седого дома Липатовых, мимо их палисадничка со старой позеленевшей деревянной оградой, а справа – мимо деревенского тихой зеркальной воды пруда, над которыми поднимается лёгкий утренний туман, и через полуоткрытые воротца деревенской околицы. Я вбегаю в широкое поле, в сторону города, рожью высокой полное, и передо мной открывается ширь земная, и мне кажется, что передо мной открыты все пути для моей мечты. А солнце тёплыми лучами гладит мою вихрастую голову. И я счастлив и не чувствую под своими ногами земли.

И бегу, и мочу свои детские упругие ноги холодной росой на мягком тёмно-зелёном, узком и длинном ковре, волей крестьянской отмерянном меж фиолетово-охристым огородом и кромкою золотистого поля с рожью, склонённой над красивой зелёной травой.

По нему я спускаюсь вниз к небольшому лужку, изумрудом отливающимся вдали с полузаросшим болотной травой ручейком. Он впадает в единственный в этом поле пруд голубой, в котором быстро плавают серебристые щучки. А над поверхностью зеркальной воды пруда, среди круглой, широкой и крупной, жёлто-зелёной листвы уверенно держатся на плаву с пряным запахом жёлтые кувшинки, при встрече с которыми всегда нежно радуется сердце моё.

А в воздухе надо мной, в утреннем золотистом небе звенят песни полевых жаворонков. Звенят они над головой моей удивительными, как будто крутящимися и даже, порой кажется мне, хрустящими, переливающимися, но очень милыми звуками. Как будто в воздухе висят невидимые, нежно звучащие хрустальные или серебряные колокольчики.

Можно часами стоять или лежать в густой зелёной траве и слушать и слушать обворожительную полевую музыку жаворонков.

От пруда я ещё дальше бегу по еле заметной тропинке в высокой траве, вдоль тихого, как будто дрёмой объятого, и тоже заросшего болотной травой ручейка. Возле него, рядом с осокой высокой вдруг голубым огоньком мой взгляд обожгут ненароком скромные цветки незабудок. Их тут целая семья, как птичья стайка, присела отдохнуть на берегу ручья, прижавшись друг к другу. А дальше – ещё и ещё. Шагают они вдоль ручья, и как будто от их голубой красоты слышится шёпотом слово любви – «люби и не забывай!»

Дальше тропинка уводит меня в небольшие кусты. Жмутся они к ручейку, и дорожка петляет меж ними. И вот впереди у куста и тоже почти у самой воды, словно пламенем ярким вспыхнуло живописное чудо: в ранних лучах золотистого солнца, на фоне роскошной зелёной травы таволги вязолистной расцвели удивительные цветы, с бело-кремовой кипенью, источая медовый и какой-то особенный запах. И тут уже царствуют пчёлы, шмели.

А меж посевами ржи, в долине широкой, многоцветным ковром трава расстилается. Я оглянулся назад, а сзади, за моею спиной, дальше, за дорогой с деревянным мостом через тихий ручей, и ещё дальше, – на север, до большой высоты с потемневшей мельницей ветряной, что стоит, как подбитая птица с одиноким крылом, а в ширину – на целую версту, меж Жарками и Заручьем тянется Выгорды равнина луговая, как в половодье вода, как озёрная гладь, всё трава и трава простирается. И от шири такой дух захватывает, и сердце моё наполняется гордостью. И скоро над ней зазвонят крестьянские косы и песни вдоль ручья. Белыми венчиками мне навстречу кивают луговые ромашки. От еле заметного ветерка качаются голубые колокольчики. Нет-нет и сверкнёт из густой зелёной травы мягким оранжево-красными огоньком луговая гвоздика, и от радостной встречи с ней возгордится счастьем сердце моё, словно она подарила мне нежную сердечную улыбку.

К солнцу великому подняли свои белые кисти соцветий стебли солдатской травы – тысячелистника. Они, словно высокие странники, шествуют по лугу зелёному. Еле шевелясь, тянутся к небу редкие серо-изумрудные с высоким серо-розоватым колоском, стебли луговой тимофеевки. А чуть дальше меж кустами в тиши притаились интереснейшие цветы с нарядными сине-желтыми соцветиями – иван-дамарья. И как будто в поклоне к солнцу великому склонились тонкие,

как былинки, по всему лугу широкому, вытянулись вверх над зелёной травой. И, распустив на вершинке свою изящную серебристо-красноватую метёлочку, растёт трава, тонкая полевица – древностью веет от такого названия. Смотришь со стороны на её метёлочки, и, кажется, что они слились в сплошное, прозрачное, как серебристо-розовая вуаль, покрывало. И над Выгордой, и над всеми деревенскими лугами тоже, всегда перед сенокосом со многими и лёгкими и нежными оттенками цвета прозрачная вуаль радует глаз человека. А ещё на этом поле зелёного луга под вуалью кой-где сверкают солнечные зайчики – золотисто-жёлтые одуванчики. И среди этой цветущей милой травы вдруг предстаёт передо мной исполин, как высокий пастух над отарой овец, тёмно-зелёным кустом с розово-фиолетовыми или красно-синеватыми цветами чертополох. А вот и второй пастух стоит за кустом – молодой, светло-зелёный с султаном побуревших семян, как богатырь в степи, конский щавель. А вдоль тропинки, мимо ног моих мелькают и как будто улыбаются мне и белые, и красные, и розовые башечки лугового клевера. И каких цветов здесь только нет! Но жаль, что многих цветов я не знаю названий, а хотелось бы их все поимённо назвать.

Справа через просветы между жердями фиолетового и розово-охристыми бликами огорода золотится льняное соседнее поле. В нём теребили мы лён и жали серпами золотистую рожь. Через него и через Дальнюю Мальчиху мы ходили в саманный посёлок на торфоболото. Там слушали песни рабочих из-под Рязани, вечерами смотрели кино. И в дальней Мальчихе среди кочек больших пасли мы стреноженных лошадей, стадо овец и коров, слушали жалобный голос вижукел. Из тонких прутьев кустарника плели мы корзинки для дома, а из толстых стеблей его выкручивали пискуны и пикульки к берестяному пастушьему рожку, а в колхозное время я помню, как на тракторе, сидя на его высоком крыле клыкастого, стального заднего колеса, уехал вместе с трактористом в ночное, в Мальчихе Дальней целину с кочками поднимать до утра.

А моя мать волновалась, поди?

Но я с восхищённой душой всю ночь напролёт до золотисто-румяного утра незнакомому парню одиночество скрашивал.

И я всё дальше и дальше бегу от деревни родной – к Мальчихе ближе, и издали вижу её великий и тёмный сине-зелёный бугор на фоне золотистого неба. Как величественно возвышается осиновый лес с терпеливой ольхой, словно с верной сестрой, над поляной зелёной с кустами над голубоватым овсом и синими далями.

А жаворонок над моей головой звонкой песней всюду заливаются, и кажется мне, что он штопором крутится в небе своём.

И всё ближе и ближе лес осиновый приближается. И всё больше и громче птичий щебет слышится, а по сторонам от тропинки моей то куст пижмы густым жёлтым цветом мелькнёт перед взором моим, то голубая герань свой знак подает голубым огоньком или розовым крохотным бликом в мой глаз западёт, словно ювелирный цветок, деревенскими людьми золототысячником называемый. И радуется сердце моё каждой былинке в поле родном.

II

Я остановился, не в силах тронуться с места. И смотрю я так, как будто здесь не бывал никогда! И всё мне кажется ново. Передо мной открылась величественная панорама лесной осино-ольховой Мальчихи. Я вижу её как будто в первый раз! И я покорён её величием и красотой!

Вот близко передо мной сине-фиолетовый огород высокий с парными колыями в виде шестов, который так живописно сочетается цветом своим с жёлто-зелёным ярким фоном кустов, с золотисто-голубоватыми шепчущимися листьями деревьев разных пород, с золотисто-зелёным лугом и низкорослым золотисто-голубоватым овсом. Он, как ажурным кольцом, нашу Мальчиху окружает сине-фиолетовым цветом своим, и на нём, словно бисер на жерди нанизан, воробьиная стая уселась. Я уже чувствую шёпот осиновых листьев, и задушевный разговор листьев ольхи, и тихий лепет листьев кустарника. И зелень сочной и пышной листвы, разноцветьем полной травы, так нежно ласкающий взор наш и вводящей нас в царство девственной лесной стороны, словно в Божественный мир, наполненный чарующими звуками птиц, звоном кузнечиков, порханьем разноцветных бабочек, жужжанием пчёл и шмелей.

И сколько в этом зелёном убранстве Мальчихи нашей живописных оттенков зелёных, неповторимых, благородных цветов! Звучат серебристо-малахитовые, светло-изумрудные, серебристо-голубоватые, серо-зелёные и даже серебристо-фиолетовые среди зарослей робких осин; в кронах же покорной ольхи я увидел тёмно-зелёные, зеленовато-серые, зеленовато-голубые, зеленовато-фиолетовые, голубовато-серые тона. В кронах низких и высоких кустарников я улавливаю много жёлто-зелёных, жёлто-серых, красновато-жёлтых, жёлто-коричневых,

а в тенях между ветвями деревьев, между деревьями нетрудно увидеть глубокие, плотные коричневато-зеленоватые, фиолетово-синие и даже бирюзовые в смесях с отблесками небесного синего цвета и множество ещё более тонких оттенков во всей лесной красоте, которые почти невозможно передать словами. Только художник может изобразить на холсте богатство цвета лесного. Ведь в этой панораме мириады тонких и тончайших оттенков цвета. Это настоящая, великая музыка цвета! Не она ли притягивает души людей? Не с подобного ли полотна живой природы писал своё «Болеро» французский композитор Равель? Или Михайло Глинка свою «Арагонскую Хоту»? Подобное можно увидеть на полотнах многих выдающихся художников – у англичанина Констебля, у француза Коро, у Фёдора Васильева, у Левитана, Серова, Шишкина.

А сколько здесь птичьих голосов! Невозможно отделить один от другого, и все они слились в единый хор или единый оркестр. И все эти звуки сплелись с музыкой цвета лесного – с голосами листьев, с пестротой и шелестом трав, с шумом вод водопада, со стрекотанием кузнечиков, с жужжанием пчёл, насекомых. И всё это происходит под дирижерским управлением сияющего светом и тёплым июльского солнца! И я долго стою и слушаю и видел Великую симфонию Леса!

III

Изгородь, отделяющую Мальчиху светозарную от овсяного поля, быстро я перелез и оказался на дивной ярко освещённой зелёной лужайке. А трава-то как будто зеленью сочной горит под ногами, словно светится вся изнутри, и слышу я пряный запах травы, терпкий запах кустарников и горькой осины. Солнце в зените! Маревое лес и поля охватило, стало привольно, тепло, запахом можжевельника потянуло. Тут я пробрался сквозь чащу кустов и запах берёзовых листьев услышал, а передо мной, словно девушка в белом, стоит молодая берёзка с нежной кроной изумрудно-сероватой листвы, солнечной лаской и светом согретая. Как хорошо! И радостью сердце объято моё!

А тут же рядом на чудесной полянке, где гуляют шмели да пчёлы с цветка на цветок за кустиком стройную кроткую ёлочку встретил, одетую в игольчатый зелёный наряд с золотыми шишечками, которые как свечи вертикально не хвойных лапках её стоят, и я ощущаю запах приятный хвои и ладонью своей иголки острые тронул. Как руки, ветви свои к солнцу она протянула, и, глядя на ёлочку, на её красоту, я с грустью вздыхаю и дальше иду.

Вдруг изумрудом блеснули в тени у куста листочки брусники с кистями чуть покрасневших ягод. И повернувшись к другой поляне, я от радости неожиданно воскликнул: «Ах, вот где они, кусты дикой розы!» За год они подросли, и я счастлив их видеть сейчас. Нежно-розовые, благоухающие запахом чудным. Любопытный свой взгляд от них оторвать не могу, и на изумрудном фоне листвы они умилительны и, как девичьи губы, нежны, и веет от них ароматом. Встреча с ними всегда была для нас очаровательным праздником, шиповником их называют в народе. И частенько мы ребячьей гурьбой в нашу Мальчиху бегали, и не раз осенью солнечной сладковатые ягоды пробовали.

А чуть дальше – осины стоят, веет от них прохладой. Сколько таинственности в тихом лепете круглых листьев высоких деревьев и в величавом спокойствии зарослей ольхи! И тени меж ними, властно зовущие тайной своей, и слышится, как листочки осины и ольхи, тихо, шёпотом меж собой говорят, в уши мои под шорохи леса сказки лесные сказать норовят. Легкий ветерок теплом солнца, запахом леса и трав ароматом лицо моё умывает и нежит.

Влево за кустами упирается в изгородь поле с овсами. Нередко садятся и тут журавлиные стаи. Мы, восхищённые ими, наблюдали за ними.

Боже! Как тут хорошо! Воздух! Весь лес! Сколько радости и красоты в звуках пернатых! Музыка леса звучит беспрестанно. Но не видно тут птиц – они под листвой, прыгают с ветки на ветку под кроной тенистой, другие парят или зависли над лесом. Кругом всё благоухает! И кажется мне, что я нахожусь в необыкновенном саду, словно в зелёном раю.

Какая-то птичка, ростом невеличка – не больше воробья, оливково-оранжевого цвета, радостью, что ль, поделиться хотела, стала высвистывать звонкие трели, как будто играет она на свирели. И тут же рядом со мной, как мартовская капель вешнего снега с крыши по длинной сосульке закапала вниз, затинькала птичка, а может, запела стальная струна? – «тинь-тинь-тинь-тинь – тен-тен», а чуть погодя – «фюить-фюить» и дважды ещё песнь свою повторила, потом вспорхнула и юркнула снова в кусты, что утопали в прохладной тени. Мгновенье спустя оливково-серая птичка шмыгнула мимо меня, на верхний сучок осинки присела, в комок собралась, долго неподвижно сидела, как будто кого-то ждала. Потом звонко-звонко запела. Но что это? Боже! Как в сказке! Я слышу слова: «спиридон-спиридон-чай-пить-витью-витью...» И снова и снова песнь свою

повторила и напоследок резко крикнула, как будто меня обругала: «чек-чек!» А потом протянула как бы с сожалением: «цйин-цйин!» и прочь улетела. И бывалые люди позднее подсказали мне, что это был певчий маленький дрозд. А сколько их тут? За сто лет не сочтешь!

Чу! Дятел стучит по стволу старой осины, словно бьёт в барабан. Конечно, и лесному оркестру тоже нужен свой барабанщик! И вижу я пёструю чёрно-белую птицу с отметиной красной на голове, прижавшуюся к дереву плотно и, как молотком, головой стучащую по коре. Вряд ли такое увидишь во сне.

К молодому осиннику я пробираюсь между кустами и вдруг я слышу: «Ку-ку, ку-ку!» – такты считаю я и как будто бы звуки эти я пью, потерять их боюсь, позабыв обо всём на свете – «Ку-ку, ку-ку!» Только ради этого счастья, чтобы услышать песнь этой необыкновенной птицы, нужно было сюда прибежать. И, опомнившись от неожиданной радости, я дальше шагаю по лесу и, не успев пройти и десяток шагов, вижу, как мимо меня пронеслась пёстрая и крикливая сойка, трещаньем своим внесла какофонию в стройную музыку леса и тут же в осиннике скрылась она.

IV

И вот я иду по длинной лесной тропе, пересекающей Мальчиху по диагонали через чащу осин, через заросли ольхи, орешника, невысоких кустов кустарника. А листья осины и ольхи лепетом нежным, как гостя, встречают меня с обеих сторон, приветствуя, стоя. Я остановился, стою между ними и слушаю их доверительный говор.

Птичьи звуки кругом. Солнце светит и греет. И на душе у меня так хорошо, и я, очарованный былью лесной, чувствую себя частью природы, как будто растворился я в ней или слился с ней, и на душе у меня уют и покой, и мне не хочется покинуть урочище милого леса. Трудно выйти из этого дива – из музыки цвета, от птичьего хора, от шелеста трав и шороха леса, от звона кузнечиков, жужжания пчёл.

Вдруг ветерок пробежал по лесному массиву. Как затрепещут жалобно листья осины, заволнуются кроны, словно дрожь пробежала по ним.

Вот облако солнце закрыло. Лес потемнел. Упала на Мальчиху сине-холодная тень, словно сетью густой, храм наш зелёный волшебная сила накрывала. Пасмурно стало. Прохладой наполнился лес. Хмурым и строгим стал наш островок. И ропот осиновых листьев становится

скорбным, тревожным. Ветер деревья качнул и в трепещущейся листве я увидел цвет мозаичных камней. Плотным, тяжёлым и тёмным стал любимый наш лес на фоне dalej далёких и золотистых полей и перед голубизною всевышнего неба.

Облачко дальше ушло, солнце Мальчиху вновь осветило: лес оживился и засиял золотисто-голубоватым цветом, птичьими звуками снова наполнился он, трава озарилась, и вновь цветы расцвели и как будто тёмно-прозрачную завесу, что была перед нами, убрали, и вновь торжествует здесь жизнь!

Вот над царством лесным появился хищник двукрылый, неожиданный, в небе плавно кругами летящий. Смолк весь лес. Спрятались птицы. Кругом тишина. Только лепет листвы и шелест травы еле-еле в ушах отдаётся. И на счастье воздушный пират в сторону Моха или поля ржаного от Мальчихи присмирившей вдаль удалился.

И словно очнувшись от сказки волшебной, я дальше иду по тропинке лесной и через толщу животрепещущей осинової рощи слышу шум водопада, его неистовый рёв узнаю. Он находится в дальнем, юго-западном углу Мальчихи нашей, зеленоглазой, отгороженной от сгубовских зелёных лугов и полей ржаных огородам сосновым. К водопаду несётся меж высоких луговых трав широкий поток болотной воды, окрашивающей в тёмно-коричневый цвет глубину водопада, и кремовой пеной плывёт через Чёрную речку в крутых берегах в реку Остречину. И мне захотелось увидеть вечно живой поток быстро текущей воды, приблизиться к ней, ногами воду потрогать, луг увидеть цветами нарядный. На этом лугу с табуном лошадей деревенских один на один коротал я прохладные летние ночи. То были красивые ночи, полные звёзд и туманов высоких. Скоро и тут зазвонят косари.

Я иду к водопаду и вижу, как меняется лес: справа и слева перед взором моим открываются солнцем ярко освещённые, согретые и обласканные и зовущие к себе небольшие полянки.

Вправо от меня уходят новые узкие и таинственные тропинки, уводящие в дремучую чашу леса, откуда серая неясность пугала нас, мальчишек и девчонок, в позднее ночное время во время возвращения из кино, из посёлка торфяников и когда я пас табун деревенских лошадей в этой Мальчихе, во время ночное, глухим таинственным пугающим голосом «Ху-ху-хуу» Нам было не по себе.

Всё время слышу голоса множества птиц, скрытых под сенью лесной. И вдруг так неожиданно пролетели, стремительно часто, со свистом хлопающие крыльями, дикие утки. Один только миг – они скрылись за лесом.

Я дальше иду на шум и рёв водопада, раздвигая руками кусты, ветви осины, орешника, и вдруг до уха что-то родное коснулось: подняв голову вверх к голубым небесам, я увидел чудо: надо мной, курлыкая, кружит журавлиная стая! Их очень много! И ухом ловлю я знакомые дивные звуки. Парят надо мной журавли! Они на большой высоте над Мальчихой необозримой. Парят надо мною священные птицы, и, от солнца жмуря глаза, прикрываясь ладонью руки, долго смотрю я на них. Откуда-то белые тучи явились, а ветер всё дальше и дальше относил журавлей, покуда они в голубой синеве из глаз моих в небе не скрылись. С грустью я голову вниз опустил, направив шаги к водопаду, а он всё шумит и гремит и манит меня, как будто я там что-то покинул.

А впереди пустошь – пустырь. В двадцать седьмом в снежную осень этот участок Мальчихи озябшей, наши крестьяне вырубili на дрова. Звенели топоры. С треском падали промороженные деревья. И я тут был – помогал отцу и Ване стаскивать срубленный лес в одну кучу большую. Теперь от их корней растёт новая поросль, молодые побеги, молоденькие осинки, ольшинки, берёзки, длинные тонкие прутики кустов и между ними много растёт высокой травы-бурьяна – тут и донник, и пустырник, чернобыльник, крапива, лопухи и много разной невзрачной травяной примеси. А дальше луг, цветами нарядный, обильно напоён водою болотной. Но вдруг, опять этот загадочный голос: «Ку-ку, ку-ку!» Я замер. Где-то там, далеко за чащей лесной, снова затосковала кукушка, и опять я считаю «Ку-ку, ку-ку!», забыв обо всём вокруг. «Ку-ку!» А над Мальчихой Дальней «стонут» вижульки.

V

С юга от нашего города через Сгубово к нашему лесу крадётсЯ повражьему тёмно-синяя туча огромная. Передняя часть этой армады клубится, играя, бурлит, поднимается ввысь. Полнеба от края до края закрыла она, ветер сильный подул. Забеспокоились птицы. В беспорядочном взлёте поднялись вороны и галки. ДвигетсЯ буря-гроза. Упали на землю первые капли дождя. ЗаволновалсЯ весь лес до куста, холодно стало, зашатались деревья, трава полегла. И в ропоте листьев беззвучных слышатсЯ жалобы, звуки страданий, тоска. Стоном и плачем наполнился лес и вся сторона.

Грома неожиданный великий удар оглушительный небо и землю в округе потряс, кажется, небо распалось, разверзлась земля, с треском и шумом падают в пропасть осины, дрожь пробегает у меня по телу,

всё погасло на миг, молнии ломаных стрел тёмные тучи насквозь пронизали. Ветер пуще подул, срывается с веток листва, и бешеный воздух уносит их вдаль, не зная зачем, Бог знает куда. И гнутся вершины деревьев по воле стихии. До долу склонились берёзки совсем молодые.

Краски леса потухли, поблёкли – совсем потемнели. Тёмному маляхиту подобен наш сумрачный лес перед страшной грозой. Мрачно выглядит он единством сплочённый в чёрный трагический силуэт, мечутся вершины его на фоне тёмно-серого, побуревшего неба. Над моей головой, над Мальчихой любимой висит тёмная туча, она вся в движении, как будто чудовище ворочает огромнейшими глыбами необъятной тучи.

Слева, к Заручью, вихрь грозовой дорожную пыль взвинтил до небес. Гонит пастух стадо коров и овец в деревню под старый навес торопит лошадь с телегой крестьянин. А птицы? Наши братья меньшие? Куда делись? Где спрятались перед бурей-грозой? Кто их спасёт от стихии такой?

Вот брызнули первые струи дождя. Вскоре обрушился ливень, словно льет из ведра. Струи ливня сверлят лес, поля и луга, хлещет вода по земле, не зная преград, не зная стыда.

Снова и снова грома удары, содрогается небо, земля. Перед взором моим вода как стена, раскаты грома по небу ползут не спеша, как будто там мелют камни огромные жернова.

Я мокрый насквозь, накрывшись корзиной, сажу под широкой осиной и жду, от холодной обильной воды дрожа. Когда же туча к Горням уйдёт от меня?

Вот уже стало светлее, уже стихает и шум дождя. Струи воды стали реже и тоньше. Эмалевым цветом сияют луга и поля, на деревьях листва. Стало легче дышать. Солнца лучи пробивались сквозь тучи, и радужным цветом искрится на осиновых листьях вода.

Как я городил огород

Как-то раз к нам в окно постучал Сергей Андриянович Чумаков, наш деревенский крестьянин и охотник, пчеловод и чудесный певец народных песен. Высокий, с бровями на взлёте, с резкими гранями лица и светло-кариими с зеленцой глазами. На ногах валенки с резиновыми, клееными вручную из толстой красной резины, галошами. Его обувь как-то трудно увязывалась с теплой летней погодой. И, кроме

того, в меховой, покрытой тёмной материей, засалившейся спереди жилетке, в тёмно-синей, в белую полоску, рубаше со стоячим воротничком. Вот он и говорит моему старшему брату: – Этта, ты, Ванюха, почини огородец в Мальчихе. Его лошади уронили!

Сказав это, он больше ни слова не говоря, ушёл.

Да, дело это было летом. Нашего отца уже не было в живых. А у брата в это время было какое-то срочное дело. Подумав, Ваня мне и говорит:

– Ты, Колька, запряги Сокола в навозную телегу, возьми жердей, колья, наруби топором прутья и поезжай, почини огород!

Огородом у нас называли изгороди, которыми огораживали поля и луга из сосновых кольев, жердей осиновых или ольховых. И само слово «огород» происходит от слова огородить – огораживать. И огороды городились для того, чтобы можно было в любом поле пасти скот, не боясь за потраву хлебных, льняных и травяных посевов в соседнем поле. Так между полями из деревни в выгон, к болоту, был поставлен прогон для скота.

Весь огород или изгородь любого поля делился на части между крестьянскими дворами. Каждый крестьянин городил свою часть огорода из своего материала, своими руками или, в крайнем случае, наёмными. И каждый хозяин двора имел свою отличительную метку, которую вырубал топором на кольях и жердях. У нашего отца была буква «К». У других крестьян были другие знаки. А в огороде каждого поля наших участков было несколько. Подобные же метки выкапывались лопатами или заступами и возле каждой полосы пашни у каждого крестьянина. Так было до колхозов.

Каждый участок огорода состоял из трёх-четырёх и более пар кольев. А иногда доходил и до восьми пар, которые вбивались в землю на расстоянии двух шагов пара от пары. Каждая пара перевязывалась прутьями, чтобы держать снизу и зажимать сверху горизонтально положенные жерди.

С малых лет меня приучали ко всякой крестьянской работе, в том числе и к умению делать и починять огороды. Сначала меня брали с собой отец или старший брат Ваня. Я им помогал: рубил топором прутья в кустарнике для связывания кольев парами, носил воду в железном чайнике или в ведре. Но из рыльца удобнее выливать воду в земляную ямку, пробиваемую колом. Я помогал и смотрел, как всё это делается.

После смерти отца, когда большие заботы в нашей семье легли на плечи Вани, мне эту работу пришлось выполнять самостоятельно.

Иногда мы замечали сами или кто-нибудь из крестьян сообщит нам, что в таком то поле или в таком-то месте стоит плохой наш огород и срочно надо его починить.

Бытовало у нас в деревне выражение «иду городить огород» или «иди, загороди огород». Иногда крестьяне в своей речи о человеке, который говорит что-то неладное или путаное, непонятное, говорили: «Ну, пошёл огороды городить!»

Если плохой огород по количеству пар кольев, большой, то заранее готовишь прутья из кустарника. А прут – это стебель в палец толщиной с ветками и листьями. Вот и нарубил таких прутьев большую толстую вязанку, еле-еле её поднимешь. Потом подбираешь колья и острым топором делаешь каждому колу с комля острие из четырех граней. Этих кольев приготовишь нужное количество пар и необходимое количество жердей.

Я хорошо помню, как наш папа привозил из города в санях купленные на базаре сосновые колья. Они были совсем свежие и мороженые, только что срубленные в лесу. Но прежде, чем пустить их в дело, пока они еще сырые, по весне, надо кору с дерева большим стальным скобелем с двумя деревянными ручками соскоблить. И мне нередко приходилось самому скоблить такие колья отцовским скобелем, оставляя чистую древесину. А к концу-то дня – Боже! – все мои руки, одежда запачканы смолистой серой, и невольно вдыхаешь приятный острый пряный смолистый запах, и долго приходится отмывать руки от смолы.

Всё, что я приготовил для огорода, не принять мне и не унести, а огород городить приходится далеко от деревни, от нашего дома. Вот тогда я запрягаю в телегу любимого Сокола, нашего золотистобуланого друга. Он, запряжённый, жуёт удила и передней ногой бьёт землю копытом. Кладу в телегу колья, жерди, вязанку прутьев и чайник для воды. Воду беру где-нибудь по пути, недалеко от места работы.

Вот и еду я вдоль деревни. И из-за старой голубоватой избы дедушки Семиона Липатова, в сторону Бежецка, закрыв за собой скрипучие воротца, я въезжаю в хлебное поле, и передо мной открывается широкое раздолье шумящей ржи, уходящего вдаль, теряющегося в голубоватой дымке Бежецка. Меня пленяет красота полей и лугов, живописные очертания близких и голубизна далёких деревень и величественная лёгкость голубого купола небес. Я испытываю величайшее очарование, и душа моя радуется.

А слева и справа от дороги колосится густая рожь, и глядят на меня из неё, как глаза любимой, синие васильки. И как будто в торжественном поклоне, рожь склоняется низко к тёмно-зелёной траве широкой полосы полевой дороги, украшенной разноцветьем трав, как пышный, душу ласкающий и спускающийся вниз ковёр. А по этому ковру, лёгкой змейкой изгибаясь, катится-бежит дорога двумя глубокими колеями от множества крестьянских телег, а между ними, посередине, тянется более широкая, чем колея, тропинка, выбитая конскими ногами. Две бровки между колеями и тропинкой тянутся как земляные струны, натянутые вдоль дороги, украшенные кустиками цветущих трав. Среди их множества сверкают белые ромашки. Сочным цветом горят одуванчики. Вперемежку с ними растут изумрудом дышащие кустики овсяга, спорыша. Детской улыбкой смотрят на тебя красные, белые и розовые башки лугового клевера, окружённые изумрудными листочками. Блестят на солнце и отливают голубизной широкие, как ладонь, листья подорожника. Одинокое маячат редкие султаны конского щавеля с побуревшей кашкой цветения. Нет-нет да и встретится на моём пути цветущий малиновым цветом с синеватым отливом строгий, неприступный и пугающий длинными и острыми колючками, измазанный колёсным дёгтем, как и конский щавель, чертополох. Растут и колышутся от ветерка кое-где зонтики тысячелистника. А то вдруг пахнёт ветерок запахом душистого, терпкого аромата от кустиков бледно-зелёной полыни.

На обочине дороги, справа, в густых зарослях спелой к сенокосу травы мелькает голубыми и охристыми бликами пешеходная тропинка. Средь высокой травы мелькает красным огоньком луговая гвоздика.

Мы едем шагом, фыркает Сокол, встряхивает гривой и машет хвостом, отгоняя надоедливых мух и слепней.

Не спеша мы спустились в низину, и вот уже наши колёса тарахтят по брёвнышкам небольшого мостика через ручей, заросший осокой, а через неё нет-нет да и сверкнёт голубизна прозрачной воды. И вдруг нырнёт проворный шурёнок! И вспомнишь тут рыбную ловлю когда-то с друзьями. А с бережка нам улыбается рой голубых незабудок. А глянешь налево, вдаль от моста, и перед тобой открывается ширь луговая, от Жарков до Заручья, и этот великий дуг Выгордой называется. То вдруг утки, часто махая крыльями, пролетят над нами или поднимутся с голубого пруда, когда мы мимо его проезжаем.

И вдруг в Мальчихе закуковала кукушка, и невольно остановишь лошадь дослушать её. Вижу – ястреб кружит над полем, – что он в нём потерял? И что он ищет над зелёным простором?

Мы с Соколом поворачиваем вправо вдоль ручейка, а налево за ним, на пригорке, за травой луговой, широким полем раскинулась рожь золотая.

Еду и люблюсь, и радуюсь тому, как по хлебному полю, волнами, подобно морским, рожь колосистая переливается, а над полем с песней своей жаворонок полевой заливается. И в каждом поле пруд свой был для пойки скота. В ручье и пруде жёлтые кувшинки притягивают мой взгляд, и вдруг ощущаешь нежный пряный запах водяного цветка. Где-то вьется тропинка, петляя между кустами. Как хорошо ты, приволье родное! Как я люблю родные поля!

Приезжаем на место, и я вижу, что огород очень плохой. Колья-то все подгнили. Три пары кольев с исхудавшими жердями вниз на землю упали, образуя проход для скота из соседнего поля.

Разбираю весь огород. Разрубаю топором старые прутья. Освобождаю старые колья и жерди от разрубленных связок и сортирую их. Крепкие в одну сторону, а гнилые – в другую. Очищаю от мусора место, где стоял огород, и начинаю вбивать новые колья парами в землю. Между кольями расстояние должно быть равное толщине жерди. Своими маленькими руками крепко сжимаю кол и бью его острием в землю, пытаюсь попасть в одну точку и делаю ямку – земля пересохла, кол плохо углубляется, а надо забить его в землю не менее как на пол-аршина, чтобы он крепко стоял и держал огород. Вот в эту маленькую ямку я наливаю из чайника воды болотной из пруда. Вода размягчает сухую землю, и тогда можно снова вбивать тяжёлый кол. И снова, ухватив его крепко, я что есть силы вбиваю его в землю. Но вскоре он снова упирается в сухую твердь земли. Я снова наливаю из чайника воду в ямку и снова что есть силы бью колом в эту ямку, и так много-много раз, пока кол не будет забит на нужную глубину, и чтобы он не шатался, и чтобы его было трудно вытащить обратно. И когда все пары кольев в землю вбиты, тогда начинаю перевязывать парные колья прутьями на высоте полторы-две четверти аршина от земли. Сначала беру прут и вершинку его продеваю между кольями и её со стеблем закручиваю вокруг первого от меня кола и посылаю прут вперед за второй кол, потом снова в промежуток между кольями и обвиваю им первый кол, и так восьмерками связываю оба кола, пока весь прут не закручу. Такой закруткой я перевязываю все пары кольев,

потом на них положу жердь и сверху её прижму новыми закрутками к первой перевязке по всему огороду в каждой паре. Дальше, на расстоянии полторы-две четверти от нижней жерди снова перевязываю все пары кольев и снова на них кладу жердь и закрепляю её сверху закруткой – и так я делаю до тех пор, пока огород не поднимается на высоту до двух аршин с половиной или на высоту взрослого человека. После, когда огород будет закончен, ухвачу его обеими руками и попытаюсь его тряхнуть, а он стоит и не шелохнется. Меня охватывает радость, что я сделал то, что делают взрослые!

Усталый и довольный сделанным, я собираю остатки от старого огорода, кладу их в телегу, а мусор сжигаю.

Сокол уже наелся свежей сочной травы, пока я городил огород. Теперь он стоит в своей лошадиной задумчивости и терпеливо ждёт меня. Я подхожу к нему, глажу его по переносью, ладонью хлопаю легко по щекам, по шее, выправляю из-под хомута чёрную его волнистую гриву и расправляю её. Потом засупониваю хомут. Выше поднял повод уздечки и замотал его на дугу. Поднял выше оглобли и подвязал чересседельник. И мы с ним выезжаем вдоль ручейка на полевую дорогу, в сторону деревни. Сокол легко, и даже рысью, неудержимо, бежит домой. Нас обоих там ждут!

Уже склоняются летние сумерки. Притихло. Где-то в побелевшем от тумана луку Выгорды запричитали две перепелки. Мы с Соколом поднимаемся в гору. Справа и слева от нас и от нашей дороги за массивами ржаного темнеющего поля чуть видны тёмно-фиолетовым частоколом изгороди с высокими кольями, как будто идущее нам навстречу войско, параллельно нашей дороге. Огороды спускаются вниз, к ручью, где мы только что были. Левая от нас изгородь, внизу пройдя мимо пруда, включая и наш огород, только что построенный, повернёт ещё левее и пойдёт далеко через кустарники к Мальчихе. А правая изгородь пройдёт низом, поперёк ручья по границе Выгорды, слева обойдёт на высоте ржаное поле и на Черной повернёт вправо и соединится с огородом Заручья, замыкая луговую Выгорду со стороны города.

Куда ни выйдешь за околицу деревни – в сторону Горней, к Моху, или к городу, или из загарды на усадьбы, за сараи, в сторону Выгорды-Заручья, перед тобой открывается широкий – не охватишь взглядом, ровный как стол, прекрасный как сказка, изумрудный ковёр разнотравья, наш любимый луг, окаймлённый фиолетовой или серебристо-фиолетовой решётчатой лентой изгороди.

Эти огороды подобны ожерелью на теле родной земли, которые живописно гармонируют с живым цветом буйного разнотравья с жёлто-зеленоватым скошенным лугом и золотисто-зеленоватой рожью соседнего поля сенокосной поры.

Кругом наши огороды длинной, узкой деревянной оградой с острыми вертикалями кольев тянутся вокруг полей и лугов.

Ранним утром они звучат как драгоценные украшения, когда восходящее солнце окрашивает их в золотисто-оранжевый цвет, так живописно сочетающегося с изумрудным цветом лугов и полей.

А к вечеру уходящее солнце, бросая последние лучи тёплого света, награждает огороды малиново-пурпурными тонами. А от изгороди падают густые холодные тёмно-синие с изумрудом, изгибающиеся по волнам земли длинные тени, цвет которых так красиво гармонирует с буро-малиновыми или нежно-пурпурными оттенками цвета огородов.

А зимой? Изгороди утопают в снегу. Только вершинки тёмно-синими или пепельно-серыми пиками торчат из-под снега. Порой они кажутся почти чёрными, тёплого или холодного тона, – графическими силуэтами.

Осенью и весной в период сильной распутицы, когда уже исчезли все яркие краски природы, в этой серой, грязной, холодной, промозглой погоде, кажется, нет ничего приятного, что бы нравилось глазу, душе человеческой, чтобы человек пришёл в равновесие душевное и духовное, чтобы хоть что-нибудь, хотя бы самая малость дала человеку радость.

Вот лежит разбухшая, почерневшая, вспухшая пашня под яровое. Она тёмно-коричневая, побуревшая и красиво гармонирует с серыми, серо-синеватыми бликами от неба, и эта гармония цветов нежных, неброских, радует наблюдательного человека. А между грубых ломтей пашни не перевернутых лемехом плуга, еще сохранились остатки прошлогодней травы, которая потемнела и приняла оливковый цвет – цвет гнили, как его называют в народе. И этот цвет вкусно сочетается с серым плотным небом, с серо-синеватыми бликами на пашне и с коричневатым цветом самой пашни, и с такими же серыми, синеватыми бликами на самой умершей траве. И люди, особенно крестьяне, эту красоту замечают и в душе радуются ей. И наши огороды, потемневшие от сырости, испытывают на себе влияние цвета серого неба или голубых небес, а также снизу от земли – коричневатые или оливковые рефлексy, и их цветовая гамма точно вписывается

в общую цветовую симфонию Весны и Осени. И она подобна музыке «Болеро» Равеля или «Арагонской Хоты» М.Глинки.

Природа всегда прекрасна! Надо только её увидеть!

Навозница (праздник плодородия)

– Глянь-ко! Как в Масленицу!? Гости-то едут! Едут и едут, – машет костлявой рукой у колодца Авдотья Типилова.

– Вона, уже к Соколовым и Мякошиным приехали. Да, будет праздник – навозницы! Весело будет! Да скоро поди и к нам приедут. Евдоким с Петром-то. С Белобородова-те? – махнув рукой куда-то в сторону, взяв за ручку ведро воды, только что поднятое из колодца, Тяпилиха, ушла в свою старенькую избёнку в два красненьких оконца, под тяжёлой соломенной крышей. И у них уже Яков с сыновьями давно выносят со двора деревянные ставни-перегородки. Готовит свой двор. И уже своя лошадь запряжена в навозную телегу.

Яркое солнце поднялось над Заручьем, предвещая хороший день. Лето уже расправляет свои плечи. На тёмно-зелёной траве кругом по деревне ярко зацвели жёлтые одуванчики. В загардах вскопаны гряды высокие, обляпаны и засажены. Уже взошли первые ростки бобуна и гороха. Растут и тянутся к солнцу ещё жёлто-зелёная ботва моркови, брюквы, репы, картофеля. Развёртываются пурпурные листья свеклы. Как на дрожжах вытянулись тёмно-зелёные перья лука. Как раз они угодили к празднику на закуску. А как хорош этот лук – вымытый, очищенный, мелко порезанный и истолченный в ступке деревянным пестиком со свежесваренной картошкой, заправленной домашней сметаной. Хороша и селёdochка со свежим лучком, да ещё с душистым льняным маслом, и особенно после рюмочки. И будет рюмочка у крестьян на празднике к завтраку, обеду и к ужину.

Ярко светит и тепло греет июньское солнце. Мужики и бабы ходят в яровое поле смотреть на весенние всходы жита, овса и льна. И на озимь они заглянут – они уже подросли, выше поднялись. Изумрудом дышит широкое поле.

– Дай Бог, с урожаем будем! – говорят мужики. А на улице хорошо. Вовсю снуют ласточки и стрижи. Светло и радостно на душе. Сейчас единая у мужика забота – пары! Их надо унавозить! Надо! Но когда?

И на сходке намечают день – один из будних дней после воскресения.

А к мужикам-то всё едут и едут гости-родственники на навозных телегах – праздник плодородия справлять. И все в рабочей, а не в рабочей одежке-то, да все с вилами, да в старых кожаных сапогах, в старых поношенных штиблетах или в верёвочных лаптях.

Вот и к нам подъехали под окна, под ветвистые берёзки, наши гости из Заручья – мой крёстный отец дядя Пётр Панов, младший брат нашей матери. Со своей женой, черноволосой Анной, на вид грубоватой, немного заикающейся, но душевной и сострадательной женщиной. С ними их сын, белолицый Николай. Он раза в два старше меня, спокойный и мало разговорчивый, на гнедой лошадке и на серо-бурой навозной телеге, на которой задние колёса переставлены на переднюю ось, а передние на заднюю. Это для того так сделано, чтобы легче было навоз с телеги на полосу сваливать, так как передние-то колёса ниже задних. Все наши гости в новых холщовых рукавицах и в рабочей одежде. И наша мама тоже нашла новых холщовых рукавиц. В них хорошо и удобно держать вилы, и мозоли на руках не набьешь, и занозу в ладонь не загонишь. Отец и Ваня давно в них ходят по двору, выносят на улицу деревянные ставни-перегородки от коровы, лошади и овец из хлева и ставят их к изгороди, идущей от нашего двора к Карпову двору.

Всё лишнее вынесли со двора. Ворота открыты настежь, и гуляет во дворе ветер свежий. Стало просторно. У столба-верей стоят подготовленные для работы навозные вилы на деревянной двупалой колодке с насаженными, острыми как шилья, длинными с сабельным изгибом стальными сошниками. И Сокол наш стоит в ожидании, привязанный за вербу возле двора, запряженный тоже в навозную телегу. У всех настрояние приподнятое, рабочее. А время-то только начало седьмого утра.

Поздоровались гости с хозяевами, поговорили для начала о том, о сём, за вилы – и во двор, как говорят, прямо с корабля на бал.

В первую очередь папа заводит во двор Сокола с телегой. Тут теперь просторно. Можно и развернуться. Он сделал полукруг с Соколом, а потом пятит его назад с телегой в угол, ближе к хлеву.

– Начнём от хлева, как от печки, – пошутил отец, – вот так! Вот с этого места и начнем!

Все встали с вилами в полукруг, кроме нашей матери, она готовит завтрак и обед. Все сомкнулись плечо в плечо, словно в тесном строю: отец, дядя Пётр и тётка Анна в центре, а по бокам – Ваня и Николай.

Вилы в руках как ружья, опущены вниз, в навоз. И как по команде, все разом вонзили в навоз от себя острые вилы, потом ещё раз с усилием продвинули их вглубь навоза, как бы отрывая пласт его, присели, полусогнув ноги для лучшего упора. Одну ногу каждый продвинул вперед на ступню или больше, откинувшись назад, и по команде отца – раз, два, взяли! – всей гурьбой оторвали тяжёлую часть от толстого пласта навоза, утрамбованного коровьими ногами, приподняли его и по команде, на одном дыхании – хоп! – подбросили его в пустой передок телеги. Телега от тяжести как будто ёкнула и вздрогнула, аж Сокол встрепенулся.

– Есть начало! – сказал дядя Пётр.

Тяжело даются первые шаги – броски вилами поднятого вверх куска «душистого» навоза. Но люди привыкают, приноравливаются, срабатываются, да так, как будто пятёрка тружеников – это единый организм, и работа у них идёт дружно и споро.

В нашем дворе навоз возят только две лошади, а вот у Чурбановых возят на трёх подводах – у них дела идут быстрее.

Потом наша пятерка шага на два-три отошла назад, встала рядом с тем местом, где взяли первый кусок навоза, снова став полукругом, вновь, сомкнув плечи, вонзила разом острые вилы в утопанный навоз, все отклонили их от себя, как бы отдирая часть пласта и снова с силой забив дальше свои вилы, и по команде – раз, два, взяли! – тяжёлый пласт повис на крепких вилах, и на едином дыхании под слово «хоп!» – дружно бросают вилами кусок навоза в кузов, провожая его остриями стальных изогнутых штыков. И так целый день до вечера, накладывают наши гости и хозяева навозные телеги одну за другой, на две лошади, с перерывом на завтрак и обед. И вот уже на телеге, как в широком и глубоком корыте, без задней спинки, высится высокая гора сырого, рыжего, блестящего от влаги и «ароматного» навоза. Сзади в навозное тело вонзается двурогая стальная каракуля, как два согнутых стальных острых пальца, насаженных на длинное деревянное древко, которое во время езды в поле почти тащится концом по земле.

Отец взял вожжи, тронул ими Сокола, и лошадь, упиравшись сильными ногами, вытащила тяжёлый воз на улицу. Брат подошёл к папе, взял из его рук вожжи и вместе с ним пошёл рядом с Соколом в поле. Ваня должен мне показать нашу полосу с буквой «К» в виде метки и на какое расстояние сваливать навоз, кучка от кучки, в один или в два ряда кучек вдоль полосы в зависимости от её ширины. Уже со второй

телеги я буду водить Сокола в поле с навозом сам и делать то, что делал брат. Сокол идёт ходко, напрягая свою мускулатуру. Хорошо видно, как от напряжения длинные складки из кожи натягиваются наискосок по крупу, и кажется мне, что он везёт эту громадную навозную тяжесть играючи. И он ещё как будто тоже радуется празднику плодородия, всё время мотает головой, то вверх, то вниз, – он просто отгоняет кровожадных мух и слепней.

Проехав мимо пруда, мы свернули влево к открытым воротцам в паровое поле к городу. В этот год оно отдыхает, имеет пепельно-зеленоватый цвет, и на нём растёт редкая сорная высокая трава. Среди неё много лебеды.

Вслед за нами по дороге выстаивается вереница гружёных навозом подвод, гуськом, одна за другой. Скрипят под тяжестью навоза телеги, колёса. Фыркают лошади, пугая слепней. И каждая лошадь с телегой и возницей поворачивает на свою полосу. Некоторые возницы, не найдя свою метку перед полосой, так как она могла быть растоптана ногами коров, стадо которых недавно паслось тут перед навозницей, вынуждены ждать здесь сбоку у дороги соседа по полосе, который и укажет, где находится их полоса. Курьёзов разных бывало много: то ось сломается под тяжестью навоза, или старое колесо подвернётся и ось опустится на землю с торчащими из ступицы спицами, уронив обод на землю. Много канители было. И на гладкой дороге можно споткнуться.

Проезжая воротца, Ваня предупреждает меня:

– Смотри, не задень осью за столб воротец, а то беда будет.

И тут же в моём воображении рисуются картины бед одна за другой – то навоз с телеги сползёт от резкого толчка, то с помощью людей придется пятить телегу с навозом и лошадьё, то ещё Бог знает что. Этот урок брата я крепко запомнил.

Проехав от воротец около сотни сажений, брат остановил Сокола, посмотрел вокруг, видно определял расположение на массиве нашей полосы по каким-то ему известным ориентирам, потом подошёл ближе к полосе, прощупал ногой в выросшей траве букву «К» и велел мне поворачивать Сокола на нашу полосу под уздцы.

Ваня сам свалил первую кучку навоза на землю. Потом длинными вожжами велел Соколу двигаться вперёд и шагов через десять остановил его, опять свалил кучку. Так и поехал сваливать вперед кучку за кучкой. А потом он мне передал вожжи со словами: «Ну, теперь ты попробуй!» И в моих маленьких руках – кручёные длинные льняные крепкие вожжи и красивая золотисто-буланая лошадь! Меня это очень

радует. Я останавливаю Сокола, беру каракулю и начинаю острыми крючками стаскивать навоз на землю. А он так туго поддаётся мне. Приходится напрягать всю свою силу, чтобы стащить его вниз. Вот уже кучка готова. Потом родилась вторая, потом третья. И я сумел свалить весь воз на землю полосы. Мне как-то легче стало. Вытер пот на лице, влез на дно телеги и дубом, как все возницы обратно за навозом, быстро погоняя лошадей, погнался за ними, сберегая время. А Ваня примостился сбоку телеги, свесив ноги между колёс. Мне было приятно работать. Это было в двадцать седьмом году. Я ещё не ходил в школу. Мне было всего восемь с половиной лет!

Вот мы уже подъехали к нашему дому. Под окном прируба стоит и ожидает меня второй наш воз навоза в телеге дяди Петра. А в большом и тёмном проёме двора между распахнутых ворот стоят в ожидании нашей пустой телеги наши родные, опираясь на вилы, как богатыри, на тёмном фоне двора. Я беру вожжи второй подводы и веду её в поле к своей полосе.

Солнце поднялось выше. На улице стало жарко. Навозница развернулась вовсю. Дружно идёт работа. Кругом на земле следы упавшего с возом навоза. В них роются куры, грачи, галки. Я уже свёз, наверное, больше десятка полных навоза телег. Первая полоса уже заполнена кучками. И вот я снова еду вдоль деревни с Соколом, а впереди меня погоняет чалую кобылу Александр Тяпилов, молодой, лет семнадцати парень, симпатичный и всегда с юморком. Он идёт в ногу с лошадью и помахивает петлёй вожжей. Впереди возле Данилова колодца с ведрами стоят девушки, что-то рассказывают и залиристо смеются. И только-только Александр проехал мимо колодца, девушки, Нюша и Шура Федины и Шура Данилова, схватив заранее приготовленные ведра полные воды, тихо обогнув сзади его воз, подкрались ближе, плеснули на него два ведра воды – облили Александра с головы до ног. Он весь мокрый. Ручьём бежит с него вода. Он обескуражен и не знает, что делать. Как себя вести? Обижаться нельзя: таков обычай испокон веков – в навозницу обливать молодых парней. А Нюша – его симпатия. И он смущён. Так и повёз свой груз в поле, благо солнце горячо греет. Зато обычай наградил его звонким радостным девичьим хохотом. И хочется заметить, позднее Нюша станет его женой.

Да и какая же навозница без обливания?! Оно идёт! Смех стоит в деревне, сопровождаемый визгом и яркими возгласами. Даже и мне досталось от девочек.

А другом конце деревни, ближе к городу – Ивана Тимонина девки обливали тоже из двух вёдер сразу! Уж больно парень-то был красив – не грех и облить! Многим пришлось испытать холод колодезной воды, и Алёше Бикину, и Володе Бусину, да ещё и с приговорочкой: «Расти большой!»

Два дня шёл трудовой крестьянский праздник. Весь навоз вывезли в паровое поле подчистую. Низко опустился земляной пол двора. Стало больше воздуха во дворе. На обнажённую землю постлали сухую прошлогоднюю солому. На старое место поставили ставни. А через несколько дней отец с матерью и Ваней тоже ездили в Заручье помочь Яде Петру вывезти навоз в поле.

После навозницы мне с мамой и братом пришлось разбивать навозные кучки равномерно по всей площади полосы маленькими стальными двупалыми вилками на длинном древке. Полос в поле в личном пользовании крестьянина в наших Жарках было по три и более, так что пришлось поработать с утра до вечера – и не один день. Вслед за нами папа или Ваня этот навоз плугом на Соколе запахивают, чтобы он не пересох на солнце.

Какая прекрасная пора сенокос!

Кончился июнь, и кончились белые ночи. Наступили первые дни июля. День пошёл на убыль, и ночи стали темнее. Наступает сенокосная пора. Травы поднялись и своим разноцветьем, словно великим ковром, буйно окружили зерновые посевы. Днём над ними вились жаворонки, а по ночам крикали перепёлки.

В жаркий солнечный день хочется лечь в эту траву, как в великую постель природы, вдыхать её аромат, любоваться красотой луговых цветов и, устремляя свой взгляд на небо, на бездонную голубую синь, вместе с белыми облаками уходить в мир мечты, в мир далёких странствий. Я любил уходить в поле, в луга, дышать ароматом этих трав, наслаждаться величием природы и мечтать.

Травы уже поспели. Их пора косить. Но прежде, чем начать сенокос, деревенские мужики и бабы на сходке долго решали вопрос: когда и где начать косить. Полей и лугов много, на все четыре стороны. Многие мужики высказывались по этому вопросу, собирая в свою яркую деревенскую речь всю свою мудрость и хозяйскую заботливость. Были и споры, и ругань между ними. Всё было! И частенько

при этом поглядывали на небо: а как там? Ведь во времена сенокоса всегда бывали и вёдро и ненастье.

Но начинали покос всегда с усадьбы, которая располагалась в конце земельного надела крестьянина после высоких копанных гряд с картошкой и овощами, после сараев для сена, в сторону Выгорды, до изгороди – огорода, отгораживающего Выгорду от полей и усадеб. На другой стороне деревни усадьбы заканчивались овинами и упирались в поле, граничащее с Мохом. Усадебное сено считалось лучшим из того, что могли накосить крестьяне за весь сенокос.

Как приятно косить высокую, плотную и сочную траву. Вести острой косой широкий прокос, когда коса под сильным движением руки и туловища ходит вокруг тебя справа налево острым лезвием и косьём собирает траву в левую сторону, в ровный тугой валок.

Из валка глядят на тебя белые ромашки, клеверок с красными и розовыми медоносными башками, луговые лютики, нежно-красные гвоздики, жёлто-фиолетовый иван-да-марья и украшающие нежностью серебристых метёлочек тугие валки полевицы, множество других цветов и трав, которые так радуют крестьянский глаз и душу.

На нас, мальчишек и девчонок, так сильно действовала красота дуговой травы, что мы боялись своими босыми ногами наступить на неё, помять её. И взрослые, как замечали мы, очень бережно относились к ней. А на усадьбах было так много удивительных, просто очаровательных цветов с различной, взор притягивающей, расцветкой и неповторимой разнообразной формы. Выйдешь на усадьбы за наши сараи, в сторону Заручья – а перед глазами море роскошной травы. И каких там только цветовых оттенков нет?! От этой красоты свой взор нельзя отвести.

А направо – этот луговой широкий поток течёт к горизонту, к Чёрной, в сторону Бежецка! Трава всегда приводила меня в восхищение!

Усадьбу косили ещё и потому в первую очередь, что надо было освободить место возле сараев для сушки скошенной травы на других полевых лугах, если погода не позволит высушить её на месте.

Когда начать косить? То ли до Петрова дни (так у нас говорили), до престольного праздника Петра и Павла, что бывает двенадцатого июля, то ли после Петрова Дни? Бывало, косили и до Петрова дни, и после Петрова дни, но дожди так и так мочили скошенное сено. И каждый крестьянин выступая, предлагал свой срок покоса, вкладывая в него свой хозяйский расчёт и свою смекалку.

– Да что там говорить?! Надо начинать косить, пока вёдро стоит! – тряся своей коричнево-серой бородой, резонно высказался дядя Илья Румянцев.

На том и порешили. Завтра в покос!

Только что от горизонта оторвалось светло-оранжевое с золотистыми лучами солнце. Оно позолотило молодые, горящие изумрудом травы на лугах и усадьбах, в полях между хлебными посевами. По ним вытянулись длинные голубые тени от деревьев и строений. Все деревенские постройки, изгороди – всё горело золотистыми бликами, а рядом с ними народились фиолетовые, сине-ультрамариновые, кобальтовые цвета, до глубокой голубой сини в куполе неба. Всё дышало утренней свежестью!

Над лугами, прудами и речками поднимался лёгкий голубоватый туман. И в этой утренней рани, в эту утреннюю тишину и прохладу, словно взрывом, ворвались трубные, призывные, дивные звуки длинного берестяного рожка, только что смоченного в прохладной воде пруда, в руках медленно идущего вдоль деревни пастуха. На его смуглом лице, ещё не освободившемся от сна, пузырями надувались щёки. Тёмные коричневые пальцы рук его медленно опускались на отверстия пикюльки.

Неповторимые уникальные звуки пастушьего рожка как символ раннего летнего деревенского утра торжественно будили всё живое на земле. И ему вторили, словно посланцы утренней зари, рожки Заручья и Горней. Все взрослые, кто ещё не поднялся до звуков рожка, вскакивали с постели, сбрасывали с себя старое рядно или старенькое из клиньев одеяло. Быстро на ходу одеваясь, бежали женщины, звеня подоюниками, доить коров и выгонять их вместе с телятами и овцами на улицу. Мужчины и подростки готовили косы, вешки. Наливали в кувшины квас или воду. А некоторые мужики, не успев ещё вчера отбить косу, торопливо стучали по лезвию на стальной бабке-наковальне, заколоченной в пень, со скамеечкой.

А животные – коровы, телята, тёлки, из каждого двора протяжным мычанием на разные голоса, приветствовали наступившее утро или торопили хозяек отворить ворота на улицу. Эти протяжные надрывные звуки были похожи на утреннюю переключку животных между собой, и на фоне басистых коровьих, телячьих голосов казались бисерными голоса овец и ягнят. Лошади, стоя в тёмном стойле, переступая с ноги на ногу, завидев хозяйку или хозяина, поворачивались в разные стороны, с нежностью, с какой-то душевной теплотой, тихо

ржали короткими рывками, потом клали голову на ставень, смотрели с надеждой и терпеливо ждали. Эти драгоценные помощники крестьянина просили хозяина выпустить их на волю, на зелёную сочную траву, под яркое солнце, в табун, на встречу со своими друзьями-товарищами по непростой лошадиной судьбе.

Всё пришло в движение. Открываются калитки и ворота дворов. Выходят на средину улицы громко мычащие коровы, хором блеют овцы, ведущие за собой удивительно милых многочисленных ягнят, издающих тонкие неокрепшие голоса. Все овцы с ягнятами собираются в одно стадо и теснятся друг к другу.

А пастух всё трубит и трубит в свой длинный рог, поднимая дорожную, залежавшуюся за ночь пыль босыми коричневыми ступнями в рваной, сам Бог не знает, сколько лет ношенной, одежде. Он идёт не спеша, из противоположного конца деревни, со стороны города, от деревенского пруда, что за избой Марьи Ефимовой, от полисадничка Липатовых, до другого конца деревни к Горням, до закрытых воротец возле Мякошинова дома и садика под окнами Василия Рябинкина. Тут пастух останавливается – доигрывает на своей берестяной трубе утреннюю мелодию. Разматывает свой длинный витой кнут с толстой репицей, до десяти аршин длиной, переходящий в тонкий конец с хлопущей из конского волоса. Она при взмахе кнута издаёт хлопок, подобный звуку выстрела. Коровы боятся этого кнута – убегают подальше от пастуха, поджав свой хвост.

Вот уже улица наполнилась ревушим скотом. В этот жизнеутверждающий голос жизни впелись крики петухов, басистые мужские голоса и тонкие звонкие голоса подростков, девушек, женщин. Не отставали и грачи. Они дружным хором по всей деревне каркали свою утреннюю песню. Все голоса слились в единый хор, в единую симфонию жизни. Настал новый трудовой день!

Раздаются резкие щелчки кнута, и всё стадо начинает двигаться вниз по дороге, по росистой траве луговины, сбивая ногами мельчайшие голубовато-золотистые капельки росы, оставляя после себя многочисленные тёмные густо-зелёные следы. То и дело раздаётся зычный голос пастуха и без усталости хлопающий, длинный, больно стегающий отставших коров кнут.

Бабы поодиночке или сойдясь с соседками, молча, иногда крестясь, провожают стадо в поле.

Масса коров, телят, тёлок к концу деревни уплотняется. Они проходят узкое место между прудом и Липатовым домом. Тут про-

тяжкий рёв скота стихает. Больше слышится глухой топот их ног, из-под которых поднимается пыль с дороги вверх, в воздух, и порой в поднимающихся окрашенных солнечным светом облачках пыли, соединяющихся вместе, теряются отдельные коровы, телята или тёлки, овцы. Перед глазами вырисовывается неопределённой формы золотисто-оранжевая, бурая, живая, движущаяся масса. Вот они проходят самое узкое место между прудом и Липатовым палисадником, и тут движение стада тормозится. Животные теснят друг друга, а задние напирают на передних. И при этом скоплении скота вырисовываются тёмными силуэтами поднятые вверх рогатые головы потонувших в оранжево-бурой пыли животных.

Вот стадо поворачивает своё движение вправо и направляется в узкий прогон, отгороженный от полей двумя стенками огорода и защищающий справа ещё не кошеные крестьянские усадьбы и поле с рожью, ячменём и овсом, спускающиеся от овинов к Моху. И второе поле слева, идущее от прогона вдоль Мохы, с рожью и льном и упирающееся в ближнюю Мальчиху. По этому длинному коридору в форме буквы «Г» стадо идёт до выгона возле Мохы и большого пруда с красноперыми карасями или дальше – в дальнюю Мальчиху со скудной травой, высокими кочками и вечно плачущими вижувками.

Земля прогона так утаптывается ногами коров, лошадей, телят, тёлочек и овец, что в жаркие дни становится подобна каменной, как крокодиловы зубы шипами разной формы и величины, по которым босыми ногами очень трудно ходить, приходится всё время подворачивать ступни.

Не успело ещё стадо освободить деревенскую улицу, как она тут же стала наполняться людьми с косами, вёдрами, с кувшинами. Крестьяне не торопясь, с достоинством, шли семьями по два-четыре и более человек не середину улицы к тому лобному месту, что находилось возле нового недавно построенного золотисто-соснового дома-пятистенка с балконом, дома добрых хозяев – Настасьи, великой труженицы-крестьянки, старейшего путиловского рабочего Арсения Павловича и их детей – Татьяны, Марии, Михаила Чумаковых. Под их окнами площадка земли огорожена толстыми и длинными брёвнами, которые использовались и как место для сидения.

Тут под балабачный звон или стройные звуки баяна Сергея Зыкова из деревни Ляды в Петров день – престольный праздник Жарков проводились праздничные гулянья молодёжи. Здесь звенели молодецкие песни, и сотрясалась земля под ударами молодецких каблуков. Тут со-

биралось крестьянское вече, где принимались важные хозяйственные решения деревни. Здесь встречались косцы, жнецы, льноводы, пахари и новобранцы. Сюда тянулась вся деревня – и стар и млад! Тут была Красная площадь деревни.

Я вместе с отцом, матерью и старшим братом, ёжась от утреннего холода, протирая сонные глаза, брал свою маленькую косу, на ходу подпоясывал берестяной кошелёк с наждачной лопаткой и нехотя выходил на улицу. Ужасно хотелось спать.

Впереди нас молодцевато, покусывая рыжие усы, шёл на середину деревни к тому золотистому, пахнувшему сосновой смолой дому Николай Никифоров, надвинув засаленную кепчонку на глаза, в тёмно-коричневой рубаше, в выдавшей виды чёрной жилетке, засунув наждачную лопатку за голенище, удерживая обеими руками косу и две вешки с синими платочками на вершинках. По характеру был он живым, горячим, работающим человеком. Он и говорил быстро. Следом, уверенно шагая, идёт его жена, скромная, тихая и спокойная женщина тётка Вера, с пышными щеками, в широкой синей юбке с тёмно-синей каймой по подолу. Закрыв дверь калитки на засов, вышел с косой их сын Пётр, товарищ нашего Вани. Старший их сын, Александр, инженер-химик, жил и работал в Ленинграде.

За ними идёт мой отец, среднего роста, коренастый, с широкими плечами. Обхватив обеими руками косу и две вешки с розовыми платочками, несёт их на правом плече, в старой солдатской пропотевшей гимнастёрке времён семнадцатого года, в крепко поношенном, землисто-зеленоватого цвета, картузе с берестяным кошельком на поясе для наждачной лопатки. Широким уверенным шагом он пытается догнать Николая Никифоровича. Они ведь были друзьями детства, юности. Вместе гуляли в молодцах, в один год женились, были товарищами, единомышленниками в труде. Вслед за отцом идёт, вся в чёрном, неся в правой руке опущенную косу, моя мать. Её бледное красивое лицо резко выделяется на фоне тёмного платка. А её стройная высокая фигура заметно отличается от её подруг. Рядом с ней идёт наш Ваня. Он своим ростом уже догоняет маму. Он первый и незаменимый у отца помощник. У брата были хорошие способности. Учительница начальной школы Александра Георгиевна Рябухина советовала ему дальше учиться. Он очень хорошо рисовал. Но болезнь матери и трое малолетних детей у родителей, кроме него, заставили его смириться, забыть мечту об учёбе и помогать отцу во всех полевых хозяйственных

работах. Так он и остался с четырёхклассным образованием. В октябре 1941 года Ваня погиб под Ленинградом.

Позади своих родных плетусь я, разглядывая по сторонам идущих с косами и вешками, с кувшинами воды или кваса соседей, жителей нашего конца деревни.

Выходят из своих стареньких, низеньких, почерневших изб под одной соломенной двускатной дугообразной крышей семья Орловых. Дядя Фёдор с рыжеватой бородкой, в сером, помятом картузе. Тётя Саша, босая, в узкой тёмной юбке, в мужском изношенном пиджаке, в белом пожелтевшем платке с концами, опущенными на грудь. А за ними из тёмной лазейки, словно три богатыря, выходят три сына: Ваня, Вася и Лёнька – мой одноклассник и хороший товарищ. Много приятных дней провёл я с ним в их избе. Жили они очень бедно в полусгнившем, сыром и грязном своём убежище. Читали мы с ним старые, потрёпанные книги и журналы, мастерили разные игрушки, играли в карты или заводили какие-нибудь подвижные игры. Дядя Фёдор тоже любил читать книги, примостившись возле маленького окна.

Скрипнули ворота, и выходят из своего двора Румянцевы. Дядя Илья, кашляя и дымя махоркой, ругая кого-то на ходу. Спешит тётка Домна Дементьевна, завязывая платок вокруг шеи. За ними семенит ногами курносенькая, круглолицая, с двумя косами, звонкоголосая их доченька Мария. Из тёмного проёма ворот выходят сыновья – старший Павел, друг моего брата, и младший Ваня – пересмешник. Он всё над кем-то подтрунивает.

А вот идет большая семья Тяпиловых. Впереди, с козлиной бородкой, важно шагает глава семейства, дядюшка Яков, в чёрном суконном стареньком картузе. Рядом с ним идёт, полусогнувшись в пояснице, его жена Авдотья. В её руках коса и медный чайник с квасом. Вслед за родителями идут сыновья, все высокие и стройные – Алексей и Мария, Александр и озорник Гришка Рябой.

– Этта, здравия желаю вам, Степановна! – мы все трое оборачиваемся и отвечаем приветствием. Это нас догнал дядя Сергей Чумаков со своими – супругой, тёткой Марьей и дочерьми Нюшей и Катей. Сергей Андрианович высокий, стройный. Единственный в нашей округе охотник. Идёт он в валенках с резиновыми галошами и меховой старенькой телогрейке. Тётка Марья, невысокого роста, с гордо поднятой головой, в широкой тёмно-коричневой цветастой юбке, семенит ногами, едва поспевая за мужем. А их прелестные доченьки очень юные и красивые.

Спешат на середину деревни Александр Ефимович Соколов со своей пышногрудой Авдотьей. Идут всем семейством во главе с тёткой Анной и Мякошины, а по бумагам-то Бусины, дочери Мария и Катя, сыновья Михаил и Николай. Почему-то с ними нет самой младшей Тони, моей сверстницы. За ними шагают Шелковы, Василий с Марфой.

Дымит трубкой с гусарскими усами горбоносый дядя Вася Рябинкин со своей женой Пелагеей. Тётя Поля, как её называли, – высокая, стройная и самостоятельная женщина. Любит песни петь. Голос у неё сильный, и она у нас главная запевала. С ними вместе идёт и их дедушка Матвей. Высокий, старостью согнутый, не желающий сидеть на печке, тянется к труду. Осталась дома только бабушка Пелагея.

Идут и идут люди на середину улицы, как на сборный пункт, к Чумакову дому, сбивая ногами обильную росу с низенькой, короткой, покрывшей улицу, словно мохнатым ковром, травки спорыша, с жёлтых одуванчиков, с широких листьев подорожника.

Идут одинокие старички Карповы, дедушка Василий и бабушка Пелагея. Любили они деревенскую детвору: каждый год они летом угощали нас вкусным душистым мёдом в сотах. Нарезжут кусочками на большую тарелку, вынесут на улицу и угощают голенастых мальчишек и девчонок. У них были ульи в высоких долблёных колодах.

Идут Даниловы, Федины, Басовы, Платоновы. Идут и идут люди на середину улицы.

Сквозь туман пробились первые лучи солнца. Они ярко осветили князьки и трубы деревенских крыш. Потом свет из серой туманной мглы выхватил мириады капелек росы на траве, и обнажились сочные тёмно-зелёные многочисленные следы стада и человеческих ног. Поперёк улицы протянулись голубые тени, изгибаясь по складкам земли.

Большой тёмной массой отряд крестьян, словно войско или партизанский отряд, с косами и вешками на плечах, почти молча, уходил на покос. Дорога из деревни шла мимо пруда, через воротца, потом, повернув налево вдоль огорода, спускалась вниз.

Волна тумана снова закрыла солнце. Кругом стало серо. Толпа косарей стала ещё темнее. Только мутным светом поблескивают косы. Слышен нестройный топот ног. Холодно. Сырость лезет под рубаху. Спускаясь, отряд подошёл к изгороди Выгорды. Не спеша перешли затвор и встали, как солдаты, опустив на землю косы и вешки, лицом к лицу с великим лугом, окутанным густым туманом.

– Ведь надо же его скосить! Сколько силушки потребуется на эту травушку! – закуривая сигарку, вполголоса сказал дядя Илья Румянцев.

– Слышь ли? Нам не привыкать! – гордо подняв свою курчавую голову, резонно заметил дядя Василий Чурбанов, затянувшись махоркой, обдавая синеватым дымком соседей.

– Этта, ничево! Одолеем! – подтвердил Сергей Андриянович Чумаков, и добавил: – Не впервой!

А в это время мерщики с косой саженью пошли направо, вдоль огорода и от угла начали мерить луг для покоса, чтобы разделить его по едокам.

Их двое: один из них Алексей Бикин – Лёнька Бикин, как обычно его зовут, парень лет двадцати, сильный, широкоплечий, чуть выше среднего роста, с русой головой, с добрыми голубыми глазами. Он обладал доброжелательной улыбкой и заразительным смехом. Был прост и правдив душой, как ребёнок. Я его любил! Позднее, когда я учился в Ярославском художественном училище, писал первую свою картину масляными красками «Сенокос», образ косца на переднем плане картины я писал с него. Он позировал мне с косой в нашей загорде возле освещённой утренним солнцем нескошенной травы. Картину эту я подарил сватье Екатерине Григорьевне Лашиной в Хотену.

Алексей ловко орудовал косой саженью, умел быстро считать и отмерять «лаптями». Вторым помощником его был Ванюшка Орлов, который косой делал тяпок по траве, засекая границу для брода между участками покоса. Был он очень скромным, немножко инертным, но по своему трудолюбивым человеком. Во время войны погиб смертью храбрых!

Вторые мерщики во главе с Иваном Тимониным, молодым, высоким, с шапкой тёмно-каштановых кудрявых волос, побежали вперёд, к канаве, ближе к Заручью, которая идёт параллельно огороду и делит большой луг пополам. За ним поспешили члены семей с другими вешками.

В лице Ивана было что-то поэтическое. Его облик подошёл бы к образу Лея из сказки А. Островского «Снегурочка». У него были серо-голубые опущенные тёмными ресницами глаза под красивыми немного сросшимися над переносьем стреловидными бровями. Был он застенчив. По праздникам любил носить белую полотняную вышитую по подолу, груди, рукавам и по стоячему воротнику, под цвет волос тёмно-коричнево-фиолетовыми цветами, длинную рубаху.

Подпоясывал её поясом-шнурком с длинными и тяжелыми кистями. Любил плясать на вечеринках. Женился на Шуре Ошурковой из Заручья. Шура приехала к нему вместе со своей мамой, Марьей. Ваня последним из деревни перестроил свой дом. Обшил его золотистым тёсом и украсил роскошной, затейливой деревянной резьбой. Все жители деревни и прохожие радовались красоте его дома.

В этом году мой отец был избран деревенским собранием на год деревенским старостой. Вот тут он начал сообщать мерщикам по списку, у кого какая семья и сколько едоков она имеет.

Первая по списку идёт семья Марьи Ефимовой. У неё четыре едока, четыре человека, потребляющие хлеб. Всего в деревне, к примеру, сто пятьдесят человек, значит сто пятьдесят едоков. Участок луга и будут делить на сто пятьдесят частей. Узнают, чему равна одна часть земли. Она, к примеру, может быть равна одной сажени, в которой три аршина. Она может быть равна и двум аршинам или аршину с четвертью, аршину с «лаптем». А «лапоть» – это ступня в сапоге или ступня в лапте и просто голая ступня. И мерщики всё прикидывают и высчитывают!

Вторым по списку идёт Алексей Пучков. Высокий мужик лет тридцати двух. Русский, с маленькой головой, которую держит всегда на бочок. У Алексея тоже четыре едока. Мерщики отмеряют ему положенное количество нескошенной травы с обильною росой, делает мерщик косой тяпок по траве, в который ставит Алексей свою вешку с веником. А на противоположном конце после мерщиков ставит в зарубку на траве его жена Анна такую же вешку.

Вешки бывают длинные и тонкие, длиной до четырёх метров. На вершинке прибит цветной платочек, как условный знак каждой семьи. На наших вешках были розовые выцветшие платочки. У других крестьян – серые, красные, синие, зелёные, жёлтые и других цветов. И даже веники сажают на шест или деревянный крестик – словно крылья мельницы. И чтобы отделить участок травы одной семьи от другой, делают броды от одной вешки к другой. Идёт крестьянин от вешки к вешке, ступнями траву к земле прижимает и росу с травы ногами сбивает. Хорошо виден брод. Но когда солнце пригреет, роса испарится и примятая трава поднимется, броду конец. Поэтому, когда крестьянин идёт вброд, за ним по следу идёт второй человек и косой делает тяпок – срезает клочок травы на каждом шагу. Тогда брод держится до конца покоса. Частенько и я ходил за отцом по следу брода с косой.

– Николаю Марееву, четыре едока, – громко зачитывает список мой отец. Лёнька Бикин быстро отмеривает саженью нужное количество покоса. Мареев сильными жилистыми руками, крепко обхватил вешку с синим потрепанным платочком, вставляет её в землю, где был сделан тяпок мерщика Ивана Орлова.

– Степану Волкову, четыре едока.

– Алексею Бусину, шесть едоков.

– Михаилу Тяпилову, пять едоков.

Быстро и проворно работают мерщики, только успевай вставлять вешки. Отец читает дальше:

– Настасье Чумаковой, три едока.

– Николаю Никифорову, три едока.

– Василию Чурбанову, пять едоков.

Быстро заканчивается список красного посада, переходят к тёмному посаду:

– Василию Рябинкину, четыре едока.

– Чумакову Сергею, четыре.

– Якову Тяпилову, пять.

– Родину Алексею, шесть.

– Василию Карпову, два. Олёне Даниловой, три едока.

И так до конца посада, заканчивая раздел покоса дедушкой Липатовым.

Но туман разрастается всё сильнее и сильнее, да так, что только одни платочки видны на вершинках. Бывает и такое, что и платочков не видно. Вот тут-то и начинается крик идущих вброд мужиков ко вторым вешкам, возле которых находятся жёны или другие члены семьи. Или наоборот жена идёт к мужу вброд.

– Эй, Иван, помаши вешкой! – в тумане вешку можно спутать с чужой вешкой. Вот и кричит Степан Волков: – Аксинья! Покажи вешку!

– Шура, подними вешку! – кричит молодой жене Иван Тимонин.

А чтобы идущий вброд не сбился с прямого пути к вешке, не ушёл бы вправо или влево, второй человек смотрит на него через первую вешку на вторую и через идущего вброд. И ему хорошо видно, отклонился ли в сторону идущий. Если да, то он кричит ему:

– Папа, чуть-чуть правее или левее.

Идущий остановится и сделает поправку. И когда он встанет на правильный путь, ему говорят: «Папа, теперь иди прямо!»

Броды пройдены, идут косцы один за другим. По большой росе коса сама ходит! Валится с корня трава. Перепёлки, зайцы вылета-

ют из-под косы и бегут как угорелые кто куда. Маленькие зайчики прячутся под кустики скошенной травы. Некоторые косари ловят их. Полюбуются ими, погладят, пожалеют, выскажут всю любовь свою и ласку к ним и отпустят на волю. Другие заберут с собой.

А косы поют и поют: жжиг да жжиг, жжиг да жжиг. И как змеи ходят вокруг косцов. Пряный запах травы дурманит голову.

– Хороша нынче трава! Только было бы ведро! – говорят мужики на перекуре.

Идут мужики – прокос в прокос. Пот с лица капает. Рубашка, мокрая от пота, прилипла к спине. Лица красные с зеленоватым отливом, словно бронзовые, руки налились кровью и покраснели. А косы – жжиг да жжиг! Не косят, а бреют.

Отец ведёт главный прокос, откинув туловище назад, крепко стоя на своих ногах. Картуз на затылке. Чёлка на лбу мокрая от пота. Концы усов низко опустились. Руки с косой ходят вокруг него, трава с шумом валится в густой валок. За ним Ваня, подражая отцу, чистым прокосом широким идёт, чуть-чуть нагнувшись вперёд. Под сильным движением его рук коса со свистом собирает сочную и душистую траву в тугой валок. За братом прокосом идёт мать. Она немного отстала. В её движениях, в её лице видна усталость. Она тяжело дышит, и ей приходится останавливаться и отдыхать. Здоровье её давно пошатнулось, ещё в первые годы замужества. Однажды зимой она полоскала бельё в ледяной проруби, на пруду, и сильно промёрзла. С тех пор и страдает.

Солнце поднялось выше и своими тёплыми лучами согревает великий зелёный луг и разгорячённые спины крестьян и крестьянок. Старая солдатская рубаха отца, от времени выгоревшая и ставшая серой, покрылась тёмными пятнами горячего пота. У иных крестьян старенькие ситцевые рубахи, синие в полоску или полинявшие до непонятного цвета, с заплатками, промокшие, прилипали к спине, покрывшись нервными от движения тела складками. Пот капал со лба и носа. Руки налились кровью, побагровели. Кругом слышится тяжёлое дыхание. А отдыхать некогда: «Коси коса, пока роса!» Папа подбадривает Ваню и покрикивает на меня: «Колька, шевелись!» А я со своей маленькой косой кручусь среди кустов, выкашиваю высокую траву с цветами иван-да-марьи или с сине-голубыми колокольчиками, косой отваливаю валки брата или мамы, ведя неширокий прокос.

Празднично звенят косы на лугу. Точат косы мужики и бабы, девушки и парни. Кипит работа! Косцы вошли в азарт! Идёт неглас-

ное соревнование. Как прекрасны движения людей! Каждый косец в картину просится! Не отстают от мужей и их жёны. От родителей – сыновья и дочери!

И всё же в их теле уже чувствуется приятная усталость. Душа наполняется радостью успешного труда. Но отдыхать пока нет времени. Ещё нажим! Ещё усилие – и до конца недалеко!

Солнце поднялось ещё выше. Многие трудолюбивые крестьяне в труде даже не заметили его восхода. И наконец – последние взмахи косой.

Многие уже закончили сегодняшний покос и горстью скошенной травы вытирают косу, допивают последние глотки кваса и собираются кучками. Мужики закуривают махорку или самосад. Садятся на корточки и обсуждают результаты своей работы, качество скошенной травы, или делятся газетными новостями, или радуются новой остроте. Некоторые из них помогают отстающим.

И вот покос окончен! Все собираются снова в один отряд, обмениваются шутками или прибаутками и, немного растянувшись, усталой походкой направляются в деревню.

Дома нас ждёт скорый завтрак. Придётся его самим готовить. А перед ним папа и Ваня идут к сараям разваливать недосушенное накануне сено, сложенное в копны. Его расшевелият и придут домой. А мы с мамой идём прямо домой готовить завтрак. Я захожу в загараду, вытаскиваю из высокой гряды грездень сочного зелёного лука, мою и чищу его, потом на доске мелко режу и деревянным пестиком толку вместе со сваренной картошкой. Мать разогревает вчерашние щи или похлёбку. Первое и второе блюда мама сдобрила сметаной, а на третье – по чашке молока.

К нашему приходу младший братишка Петя уже проснулся и нянчит нашу любимую сестричку Маню. Уже пришли отец и Ваня, все устали и проголодались, садимся завтракать за небольшим столом в красном углу под большой иконой Спаса Нерукотворного. Этот образ Христа часто меня пугал. У него так нарисованы глаза, которые меня везде видят, куда бы я ни отошёл. Такие большие, такие красивые глаза, но иногда они мне кажутся страшными. А когда я был поменьше, частенько залезал от него от страха под стол или на печь, на полати. С полатей через дверь я снова пытаюсь увидеть его глаза, такие выразительные и о чем-то спрашивающие. Это удивительные глаза!

После завтрака все, кто косил, уходят на отдых. Мать и отец уходят в прируб – летнюю комнату, а Ваня и я идём спать в кладовочку,

в небольшую комнатку с одним небольшим окном. Там наша постель, которая состояла из досок на козлах, холщового матраца, набитого овсяной соломой и двух подушек из старых перьев, без простыней. Мы укрылись одним стареньким одеялом из ваты и разноцветных ситцевых клинышков. Там находился столярный и слесарный инструмент отца. Я всё время лелеял надежду, что когда-нибудь этот инструмент и мне поможет в какой-нибудь работе. А в голове тогда многое грезилось. После такого труда мы быстро засыпаем. Наш сон длился часа полтора – два.

И вот: «Подъём!» – тормозит нас за ноги мать, – а поспать ещё так хочется! Но время так дорого, надо спешить на усадьбу досушивать сено. Но сенокос, как праздник! И как бы ни спешили крестьяне с уборкой, после отдыха всегда все моются и одеваются в чистые, светлые, нарядные рубахи, рубашки и платья, красивые, цветастые платочки, вышитые передники и с граблями и деревянными вилами идут, как на праздник, на свои усадьбы, где сохнет под ярким солнцем усадебное или привезённое с луга скошенное сено. Женщины ходят как павы – красивые, ласковые и гордые. Мужики тоже не отстают от женщин – побреются, наденут новые или лучшие штаны, сатиновые рубашки. Идут и улыбаются. Ну, а девушки и ребята тоже не отстают. Наденут ражие платья и рубашки и ходят с граблями или с вилами, как в веселый радостный праздник. Девчата ещё и щёки нарумянят. Все большие и малые идут на усадьбу к сараям сушить сено. Берут они в руки деревянные, из молодой берёзки, вилки. Все сучки обрезаны, только два – три сучка оставлены на вершинке в полторы-две четверти длиной, которыми и шевелят сено. Кора с них снята. Всё дерево гладкое, как отполированное. Приятно такие вилки в руках держать и ими работать. И чувствуешь в руках живое дерево – столько в нём теплоты!

А погода стоит прекрасная. Ни облачка! Одно марево. Запахом мёда напоён воздух. И трели жаворонка висят в вышине, и где-то в высоте, в синем бездонном океане раздаётся курлыкание журавлей. Воздух наполнен стрекотанием кузнечиков, жужжанием пчёл и порханием бабочек. Высоко в небе со свистом проносятся ласточки. Как в сказке!

Сядут люди в тень, под навес сарая кружком и запоют любимые песни. Глянешь поперек усадеб и видишь, как у каждого сарая возле высыхающего сена сидят крестьянки и крестьяне – и почти все в белом. И несутся от них песни, разнося душевную радость. А иногда женщины садятся отдельно возле душистого сена, а мужики – те по-

дальше от сена со своими табачными «козыми ножками». Девушки с парнями в третьей стороне. У них своя беседа. Девушки про любовь да про наряды. Женщины о детях, о болезнях, о свёкрах да свекрухах. Ну а мужики – те о политике! Они читают газеты «Известия», «Правду», «Бежецкую жизнь» Судят о правительствах, о поджигателях войны, о политике большевиков в крестьянском вопросе. Всё по косточкам разберут. А на красном посаде иногда придут к сараю, и дядя Миша Тяпилов, Коли Тяпилова отец, сядет поудобней на пороге ворот, возьмёт в руки старенькую балалайку и начнёт играть своими толстыми мозолистыми пальцами разные-разные музыкальные пьесы или польки да русские кадрили и плясовые, – так, бывало, заслушаешься! «Здорово играл», – говаривали мужики.

– Пора и пошевелить! – кто-то из старших подаст команду. Все встают, берут в руки любимые вилки, а кто и грабли расписные. Идут они рядами друг за другом, переворачивают сено. Оно уже почти сухое. И все пребывают в радости.

Но вот на небе появилось белое облачко, за ним второе, и через короткое мгновение небо покрылось множеством больших и малых облаков. Усилился ветерок. Сильнее стали клубиться большие облака, соединяясь с малыми. Всё больше и больше они росли и пенились, достигая огромных размеров, превращаясь в огромнейшую тёмную, сине-фиолетовую грозовую тучу, способную, как огромный чан, опрокинуть на людей, на их труд, на поля и луга, на это душистое сено, в виде дождя огромные запасы воды.

Людей охватила тревога. Все забежали, хватая свои грабли, и быстро стали сгребать сено в большие валы. Женщины тяпали граблями большие охапки, а мужчины, повернув грабли боком, как крючком брали тяжёлые охапки на плечо и спеша несли в сарай, где мы, подростки, принимали сено и укладывали его в низкие места, утаптывая ногами. Работа кипела! Не было равнодушных перед угрозой ливня. Каждый работал в меру своих сил.

Над головами разразился оглушительный гром. Кажется, раскололось небо! Молния стремительным зигзагом сверкнула в небе. Ещё удар над головой! Поднялся ветер, вихрем закрутилось сено и ударили первые крупные капли дождя. На лицах испуг и решимость спасти сено. Бегом хватают охапки и тащат в сарай. За первыми каплями появились другие. И на людей, и на луга, и на остатки небранного сена со всей своей силой обрушился ливень. В одно мгновение люди промокли до нитки. Сено прибито к земле. За плотной завесой до-

жда скрылись поля, Выгорда и Заручье, и дальнее поле к городу. Все укрылись под навесами сараев, ёжась от холода, от прохладной мокрой одежды. А дождь льёт! По ложбинам потекли бурные мутные ручьи.

Всё умолкло. Слышен лишь шум дождя и уходящие вдаль раскаты грома.

По деревне вдоль дороги мчался широкий бурлящий поток грязной воды. Туча медленно двигалась в сторону деревни Сгубово, унося от нас ещё не вылитые резервуары влаги. Над нами дождь стал стихать. Его капли падали мельче и реже. Наконец, он прекратился. И над деревней засветилось, словно промытое дождём, чистое наше голубое небо. Люди вышли из-под укрытия и сгребли оставшееся под дождём сено, сложив его в маленькие копны в надежде на завтрашний день.

Луг в Выгорде, что раскинулся между Жарками и Заручьем, и нашей деревне принадлежала только половина его, а другая – Заручью.

Больше недели косили траву на этом лугу. Он был очень большой.

Когда погода стояла хорошая, сено сушили на месте, где косили, и возами возили прямо в сарай. А когда на покосы снова надвигалась дождевая туча, каждый торопливо работал руками, чтобы успеть вывести сено с луга и спрятать его в сарае.

Горячая пора! Мужики, стоя дубом на простых деревенских одрах и крутя петлёй вожжей, с криком погоняли лошадей. Вот катит на своей старой лошадке цвета ржавого железа Илья Румянцев, в синей в белую полоску рубаше навывпуск, с головой апостола Петра, сверкая голой лысиной, с босыми ногами. Из-под колёс, из-под телеги выёсся пыль столбом. А сзади одра привязанный верёвкой за пяла, тащился тяжёлый длинный гнёт, которым прижимают и закрепляют сено на одре, чтобы оно во время перевозки не растряслось и не съехало на землю. А за ним на своём сером в тёмно-серых яблоках коне трясётся на своём стареньком одре Михаил Тяпилов с женой тётей Груней. В след ему едут Сергей Андреянович Чумаков со своей Марьей на карей тяжёловесной кобыле. За ними гонятся, стоя дубом на одрах, и размахивая руками петли вожжей, Василий Рябинкин, Григорий Федин, Степан Волков и многие другие – целая вереница подвод, скрывается в тучах пыли, поднимающихся в небо, по которому ходят тяжёлые дождевые облака. Все спешат, чтобы успеть до дождя вывезти и сложить в сарай высушенное луговое сено.

А иногда мы рано окончим уборку сена или дождь всех прогонит с луга, одевались похуже, брали с собой корзинки и весёлой гурьбой отправлялись с Мох за грибами, за гонобобель-ягодой, клюквою

и брусникою. Ходили также в рощу Мальчиха за красными подо-
синовиками, которые по-местному называли боровиками. Собирали
и обабки-подберёзовики, сыроежки и грузди, маслята, валуи, а ещё со-
бирали вкусную ягоду костянику. Чудесное было детство крестьянское!

Я хорошо помню, как косили траву в Мальчихе. Там трава росла
высокая и сочная, потому что лугом протекал ручей, текущий из боло-
та, и частенько во время больших дождей заливал полностью весь луг.
Этот ручей падал водопадом в глубокий бочаг, из которого вытекала
Чёрная речка. И каждый раз, когда косят в Мальчихе траву, которая
должна лежать в валках до следующего утра, как нарочно, обязательно
пойдет дождь.

Вода в болоте поднимается, и из него она, как в половодье, широ-
кой лавиной мчится по скошенному накануне лугу, унося с собой ещё
не успевшую высохнуть скошенную траву.

В потоках воды перемешанную траву ловят руками и граблями.
Одежды мокрые выше колен. Люди попадают в комичные ситуа-
ции, смеются и ругаются. Женщины и девушки с подоткнутыми
за пояс юбками, с оголенными белыми ногами выше колен, ловкими
и пластичными, а иногда и комичными движениями фигуры и рук
с граблями ловят скошенное сено в уносящемся потоке воды. Кругом
стоит громкий смех, возгласы и причитания. Летит задорное слово,
и искрится между людей добрая или озорная шутка. И в лучах солнца
летят брызги уносящейся воды. Сердца людей наполняются великой
радостью. О, как ты дивна, красота природы!

Даже теперь, когда я случайно окажусь возле скошенной травы
или свежевывсушенного сена, я вспоминаю легенду о Емшан-траве,
беру рукою сено и вдыхаю его неповторимый запах. И память уносит
меня в то далекое умчавшееся детство, в деревню, в сенокос, в наш
отчий дом, в поля, луга большие, где машет мельница крылом и лён
цветёт цветами голубыми.

Жнитво

*И вот придёт жнитво и заскрипят
Золотые стебли ржи на лезвии стального серпа!*

*А под той косой – косой острой
Рожь высокая наземь валится!*

В тот год стояло жаркое лето. Не успели закончить покосы, как поспели хлеба. Наступила страдная пора. И был дорог для крестьянина каждый час. Зерно-то в житницу просится! – говорили крестьяне.

Восходящее солнце словно подожгло деревню оранжево-красным огнём со стороны Заручья, осветив кромки крыш и восточные стены сараев, тыльные стороны домов, отдельные верхушки деревьев, траву и пыльную дорогу в промежутках между домами, перекладыны больших воротцев, закрывающих выход из деревни в поле.

А на красном посаде, как огонь, полыхал оранжево-красный свет на фасадах домов, на балконах крыш, на деревьях и изгородах. Золотые оранжево-красные лучи солнца мощно вторгались в нашу деревню, и мне казалось, что они своим огнём пронизывают всё – живое и мёртвое. Огненные блики от оконных стёкол слепили глаза. А на иных стёклышках сияла небесная лазурь. Полнеба горело огнём.

Дома темного посада были погружены в густые тёмно-синие с зелёными землистыми рефlekсами тени. Пахло сыростью. От домов и деревьев через улицу, поперёк дороги, изгибаясь по горбам земли, лежали, подобно огромным змеям, падающие тени, достигая красного посада. Они поднимались вверх по стенам изб, лезли на огороды и стволы деревьев.

Уходящее в поле стадо купалось в огненно-красном мареве. Словно выстрелы, раздавались на топоте коровьих ног резкие щелчки пастушьяго длинного кнута, и гудел с переливами длинный берестяной рожок пастуха.

Люди, идущие на жатву во ржаное поле целыми семьями, от мала до велика, спускающиеся вниз по дороге вдоль деревни, попадают в глубокие тени, отбрасываемые от домов тёмного посада, особенно от домов Бикиных и Тимониных, близко стоящих друг к другу, и от высоких берёз, растущих под окнами, с многочисленными грачиными гнёздами. Эти дома с берёзами становятся величественными силуэтами на фоне освещенной золотисто-оранжевой луговины с нежно-фиолетовыми оттенками пыльной дороги, раскалённого неба и отражённого в зеркале деревенского пруда, на широком поле спелой ржи.

На идущих жнецах, по голове или по плечу с серпом, по корзине с обеденными припасами на руке, по связке старых лаптей из льняных верёвок или бересты, по фигуре младенца, уснувшего на руках матери, пробегают, как молнии, огненные блики.

Выходя из тени, люди снова освещаются раскалённым солнцем, превращаясь в золотисто-оранжевый силуэт. Люди идут и идут, попадая в тени, пересекая их и вновь купаясь в оранжево-красновато-золотистых лучах солнца, минуя избу за избой, проходя мимо пруда в поле, где царствует рожь!

Из тёмных сеней своей небольшой избы в три оконца выходит на залитое солнцем старенькое, словно позолоченное червонным золотом, крылечко Василий Чурбанов. Он спускается по ступенькам с гордо поднятой головой. Золотисто-красновато-оранжевый свет, словно слитками драгоценного металла, облепил всю его фигуру с ног до сплюснутой над козырьком поношенной кепчонки. От козырька на лицо, закрыв ясные, серо-голубые глаза, упала узкая, тёмная, горячая тень. Свет выхватил на узком лице тонкий, чуть с горбинкой, благородный нос. Вызолотил прожжённые махоркой маленькие колечки усов, маленькую аккуратную курчавую бородку и колечки мягких русских волос над красноватыми с оранжево-малиновыми оттенками ушами. Какая удивительная голова! Она по своему профильному силуэту напрашивается на сравнение с царскими, графскими и прочими титулованными особами, портретами царей-венценосцев, награвированных на бумажных деньгах или барельефными портретами на медалях и денежных знаках.

Поверх его длинной, выгоревшей фиолетово-охристо-серой рубахи надета старенькая, сильно поношенная, кое-где распоровшаяся по шву, чёрная жилетка. Она обтянула его узкую грудь и талию и придала туловищу скорее городскую, чем деревенскую стройность.

Широкие его штаны заправлены в высокие, узкие, сильно сморщенные в гармошку, голенища кожаных сапог с козырьком, покрывавшим колено. От них его фигура становится ещё выше и стройнее. В руках блеснул золотом по зазубренному лезвию его старенький серп. Василий спустился на землю, свернул сигарку, прикурил, затянулся и, повернувшись к своим окнам, громко крикнул:

– Слышь ли, Анна! Не забудь,хвати перекусить-то на обед, на полосу-то, да квасу прихвати!

Дядя Вася всегда говорил слово «слышь ли», когда к кому-либо обращался.

Он был работающий, честный, справедливый и прямой человек. Могилю любому человеку сказать правду в глаза: – «Слышь ли, Ванюха! Ты зачем взял две копушки сена с моей усадьбы, растакую твою мать!». А однажды дядя Василий обратился к моему отцу с просьбой:

– Слышь ли, Алексей Степанович! Одолжи-ка мне на время домкратика-то, а то угол сарая совсем в землю сел. Приподнять бы надо.

Посмотрев, как уходят семьи в поле, блестя серпами, он сел на завалянку и не спеша докуривал самокрутку.

Я помню, как году в двадцать пятом на этой высокой завалянке, огороженной нетолстыми брёвнышками, сидел дедушка Фука в чёрном ватном пиджаке, в ярко красных штанах, в сереньком помятом картузе, прижавшись спиной к серой с голубыми и охристыми оттенками бревенчатой стене. Его фигура напоминала огромную нахохлившуюся птицу. Розовое лицо его, словно печёное яблоко, было украшено совершенно белой короткой бородкой и коротко подстриженными усами. Из-под помятого картуза высывались белые клочки волос. Он почти всё время сосал короткую тёмную трубочку и часто из кремня на трут высекал искру, чтобы вновь зажечь потухшую трубочку.

Был у дяди Васи сын Колька, мой ровесник. Мне было тогда лет пять с половиной. Это было ранней весной. Я частенько ходил к нему играть. У них было много старинных царских бумажных и медных денег. На широком серовато-желтоватом деревянном полу мы разбирали их большие кучи, любовно их раскладывали, внимательно рассматривали, ползая на животе. На больших серых, голубоватых и желтоватых листочках были награвированы в овальных рамках и без рамок, рядом с красивыми и величественными буквами и цифрами, портреты царей и цариц. Помнится, там были нарисованы портреты Екатерины II, Александра II, Николая II. Мне очень нравились эти портреты. Они были сделаны на высоком художественном уровне. Ещё на меня большое впечатление производили медные потемневшие от времени объёмные круглые тяжелые деньги, которые так хорошо катались по ровному полу. Их было много, больших и малых. Особенно выделялись размером и весом пятаки. Некоторые из них были украшены барельефными профилями царей, вензелями и двуглавыми орлами с короной. И ещё мне нравились изящно нарисованные на деньгах буквы и цифры. Я не мог понять тогда, что было написано на них, я ещё не умел читать, но всё же это графическое и медальерное искусство в то время производило на меня огромное впечатление.

У Чурбановых была крупная, чёрная и злая собака по кличке «Цыган». Однажды возвращаясь я от Кольки домой, а Цыган как за-

лает на меня! Я испугался и бежать от него поперёк улицы к нашему дому, он за мной, вот-вот ухватит зубами за ноги. А под нашими окнами росли три большие берёзы. Добежал я до первой и давай бегать вокруг неё от собаки, а она за мной с громким лаем. Увидели меня старший брат Ваня из калитки и его товарищи Павел Румянцев, Володя Бусин, Петя Никифоров, Иван Ефимов, Алексей Пучков. Стали они надо мной смеяться. А я бегаю кругами, а Цыган чуть ли не хватает меня за пятки и не отстаёт! Я начал плакать, реветь. Вот только тогда брат с товарищами и отогнали от меня Цыгана.

Недолго пришлось подружить и поиграть с Колькой Чурбановым. Он вскоре заболел scarlatina и умер. Тяжело было хоронить Василию Чурбанову и его жене тётке Анне своего единственного сына, свою надежду. В те годы scarlatina, дифтерит, свинка и другие детские болезни много уносили маленьких детей.

Дядя Василий докурил цигарку, сплюнул, встал. Он был горяч, в его движениях всегда нетерпение. А вот тётка Анна спускается с крылечка в светло-сером, позолоченном светом платочке в крапинку и хмурится от яркого золотисто-оранжевого солнышка. Из-под него вылезает тёмно-каштановый локон волос под стать глубоким карим глазам. Она была скромная, послушная своему мужу, можно сказать безответная. Несёт она в своём немудрёном платочке-узелке нехитрую еду да кувшин кваса. На плече её прочно покоится вновь отточенный и зазубренный серп. Вся её фигура светится ярким золотисто-оранжево-красноватым светом.

В те времена каждое лето перед началом жатвы к нам в деревню приходили точильщики серпов с большим круглым точилом на деревянном станке. При переходе из деревни в деревню его переворачивали вверх ногами и катили, как тачку, на одном колесе.

Точило всегда сопровождали два человека. Один крутит ручку за колесо-точило, а другой держит и точит серп. Потом второй садится за наковальню, кладёт на неё серп и бьет по стальному острому зубильцу, который левой рукой отодвигает перед каждым ударом молотка, чуть-чуть влево по лезвию серпа. Как только услышат по деревне, что точильщики пришли – бегут и бабы, и девки, и парни, и сами мужики с серпами. Ведь старая, прошлогодняя насечка затупилась да и поржавела за год. Её надо на точиле сточить, лезвие острым сделать, а потом по нему-то уже и насечки делают. Хорошо приготовленный серп словно сам жнёт-режет рожь высокую. В работе с ним меньше устаешь. И руки меньше болят!

Вслед за тёткой Анной идут дочери: высокая, красивая, лицом похожая на отца, с грудной сестричкой Валею на руках. За ней идёт средняя доченька – будущая красавица, вылитая копия материнского лица. Она тоже с грузом – несёт прутьяную корзину с маленьким постельничком да с запасными пелёнками и одеяльце для полога от солнца.

Двинулась крестьянская семья во ржаное поле. За ними идут Мякошины (Бусины), Соколовы, Рябинкины, Чумаковы. Кто в лаптях, кто босиком, а кто и в опорках от старых кожаных сапог.

Вот и дядя Яков Тяпилов идёт босыми ногами в белой рубахе на выпуск, тёмным кожаным ремнём препоясанный. На плече висят верёвочные, зимой сплетённые на посиделках лапотки. Курит «козью ножку» и трясёт своей козлиной, тёмно-коричневой с охристой подпалиной, прожжённой табачным дымом бородкой. С ним рядом идёт на своих худых ногах, в старых больших верёвочных лаптях его жена Авдотья, заранее подоткнув подол своей изрядно поношенной тёмно-коричневой юбки за пояс, обнажив серо-жёлтого оттенка подол узкой холщовой рубахи, идёт, сильно нагнувшись вперёд в поясище и выставив, словно напоказ, свой большой прямой подбородок с тонкими в нитку губами, как будто сошла с живописных полотен художников из Нидерландов Ван Остаде или Питера Брейгеля.

Вслед за ними идут их сыновья: младший Гришка, рябой озорник, потом высокий ростом, с юморком, симпатичный парень Александр, вторая дочь, тоже высокая, красивая Мария, которую часто называли Манькой. Старший из сыновей Алексей, тоже высокого роста очень скромный молодой человек, находился в рядах Красной Армии. А самая старшая дочь Евдокия вышла замуж в Белобородово.

За ними осталась серым невзрачным пятном их маленькая с двумя красненькими обливавшими оконцами избёнка, прижатая к земле массивной соломенной крышей.

Наконец и наша семья собралась! Отец, мать, Ваня с маленькой сестрёнкой Маней на руках. Я с младшим братиком Петей тоже выхожу из избы на улицу. Папа берёт с собой четыре серпа, в том числе и на меня. Он одет в свою неизменную старую солдатскую гимнастерку. На голове старенький, поношенный, неопределённого цвета картуз. На левой руке на изгибе локтя висит корзина с приготовленным обедом. Вывожу я из-под навеса двора красную сделанную отцом из тесовых досок тяжёлую детскую тележку на деревянных колесах-катышах, отпиленных из берёзового бревна. В центре катыша просверлено широкое отверстие, чтобы надевать колесо на деревянную

ось. Отверстие колеса и саму ось смазывают дёгтем, а то они будут пищать, словно гуси из подворотни.

От нашего дома легла на землю широкая, густая и длинная тень. Мы все оказались в прохладной синеве этой тени. Отец, мать и Ваня с Маней идут впереди, поднялись на небольшой пригорочек, чтобы дальше выйти на дорогу. Тащя за собой тележку, я увидел их на фоне освещённой золотисто-оранжево-красноватой стены Филинова дома величественными тёмно-теплыми силуэтами. Я от неожиданности такого зрелища застыл на месте. А мой Петя толкает сзади тележку и понукает меня: «Вези, вези, Колька, вези тележку!»

Слева вся луговина от нашей тени до Карпова двора под вербой с кривым стволом залита солнцем. Сама верба тоже пронизана золотисто-оранжевым с синевато-изумрудными листочками в тени светом, и от её кроны упала на траву изумрудно-синяя тень. Какое потрясающее зрелище!

Мы шли вдоль деревни, попадая то в свет, то в тень. Всюду очаровательная игра солнечного горячего, земного и небесно-холодного синезизумрудного цвета и тысячи разнообразнейших, тонких переплетений тёплых и холодных цветов, создающих сельскую цветовую симфонию.

А вслед за нами пылит по дороге босыми ногами Илья Поликарпович Румянцев, с обнажённой сократовской головой, всё в той же синей в полоску рубахе навыпуск, в широких с заплатами на коленях штанах. Слева от него семенит его жена-говоруха Домна Дементьевна. Она вся в сером, с серпом в правой руке и с тёмным глиняным кувшином в левой. Держит она его за веревочную дужку, привязанную за горлышко второй верёвочкой. На её тонких губах играет затаённая улыбка, так и гляди сорвется с её губ острое слово – прибаутка, присказка или острая поговорочка. Мастерица была поговорить – «слова-то словно жемчугом пересыпает, а рученьки свои под фартучком-передничком всё прячет».

Тётка Домна частенько заходила в нашу избу и подолгу разговаривала с нашей матерью. Да и дядя Илья нередко приходил к нам посидеть, с отцом поговорить. А несколько лет позднее, когда я учился на первых курсах Ярославского художественного училища и приезжал на летние каникулы в деревню, я писал масляными красками в нашей избе его портрет, его характерную живописную голову – белый, восковой, с синеватыми прожилками голый череп с отблеском оконного света, по бокам над ушами венчик тёмных коричневато-серых всклокоченных волос, охристо-землистый с розовато-голубыми от-

тенками морщинистый лоб, красно-коричневатые нос и скулы, тёмно-каштановые усы и короткая широкая густая борода с проседью. В раскрытом воротнике сине-изумрудной косоворотки виднелась охристая с зеленоватыми рефlekсами и тёплыми тенями мощная шея с сильными мышцами. Я и позднее часто любовался его головой.

Колоритной фигурой на нашем деревенском небосклоне выделялся дядя Илья!

А сзади следом за дядей Ильёй и тёткой Домной идут их дети. Младший сын с красноватым лицом, побитым оспой и веснушками, Ванюшка-пересмешник кроме серпа тащит в руках белую прутьяную корзину с полевым обедом. Курносенькая звонкоголосая, с круглым личиком, их доченька Мария в белой кофточке с чёрной юбкой, в стареньких туфельках в холщовых нарукавниках, чтобы не поцарапать свои лебединые рученьки. На голове горит факелом модный в то время красный платочек. Несёт она что-то в красной глины криночке, надёжно укрытой широким зелёным листом лопуха. Свежий квасок?

Два старших сына – Василий и Павел – отсутствуют. Первый со своей семьёй жил в деревне Вилловатик, ближе к Бежецку. Был он предприимчивым человеком. В двадцатых годах держал колбасную. Случились с ним какие-то неприятности. Самовольно ушёл из жизни, оставив жену с двумя маленькими девочками. Павел Ильич живёт в Ленинграде. Работает водителем автобуса. Иногда летом приезжает в Жарки. Я любил ходить с ним рано утром за грибами в Мальчиху, за красноголовыми боровиками – подосиновиками.

Все идут во ржаное поле. Солнце горячими лучами играет на фигурах жнецов. От них по земле стелются тёмные сине-зелёные тени.

За Румянцевыми, их иногда называли Десиными, идут соседи Николай Шелков со своей болезненной с желтовато-зеленоватым лицом в мелких морщинках женой Марфой. Одета она в тёмненькую кофточку да в серую юбку с чёрными клетками. На голове белый платочек с серыми мелкими цветочками. Жили они в маленькой избушке в два оконца по фасаду и одно окошечко с боку, в сторону нового золотисто-смолистого дома Александра Соколова. Идут они, словно молодые, ослеплённые лучами лучезарного утреннего солнышка. Дядя Николай высокий, плечистый, со смуглым лицом и с маленькими усиками. Славится он на деревне своими золотыми руками. Может он и сапоги кожаные сшить, и старенькие починить, в избе печь сложить, с топором и дом построить, и крышу дранкою покрыть, в ведре железном дырку запаять, посуду полудить и табурет смастерить. Но не держал

он своего хозяйства – ни коровы, ни телёнка, ни овцы, ни поросёнка. Даже лошадки не было. Меньше всего он думал о своём дворе, о житье-бытье, а больше скитался где-то на заработках. В послевоенные годы он работал в Градницкой средней школе, в том барском доме, который привезли в тысяча девятьсот тридцать пятом году из Слепнёва по воле учителя Александра Александровича Матушевича. Этот дом принадлежал матери поэта Николая Гумилёва, и в нём его жена, Анна Андреевна Ахматова, написала много прекрасных стихотворений.

*Ты знаешь, я томлюсь в неволе,
О смерти господя моля,
Но всё мне памятна до боли
Тверская скудная земля.*

*Журавль у ветхого колодца
Над ним как кипень облака.
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба и тоска.*

*И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры
Спокойных загорелых баб.*

С большим удовольствием я перепечатал это стихотворение Анны Андреевны. Какие простые и правдивые слова, а сколько в них поэзии! Хочется без конца перечитывать. Возникает большое чувство наслаждения: ты прикоснулся к чистому, благородному и великому искусству слова.

Николай Шелков работал в этой школе завхозом, истопником, печником, плотником и столяром. Он не только помогал школе, но помогал и жителям Градниц и градницким учреждениям. Добрым и душевным он был человеком. Уважали его люди за труд и бескорыстие. За это и любовь его к рюмочке прощали. Любил он родную деревню Жарки и, как бы поздно ни было, при любой погоде ночевать приходил в свой маленький домик. Когда он умер и где умер, я не знаю. Кроме своих родителей, к великому сожалению, я никого из Жарков не смог проводить из родной деревни в последний путь. Учился в Бежецкой

городской школе, потом в Ярославском художественном училище, работал в средней Большесельской школе Ярославской области, шесть лет служил в рядах Красной Армии и с первого дня до последнего был на фронтах Великой Отечественной войны. Сердце сжимается от боли, что не суждено было встретиться и после войны. Через несколько месяцев я снова уехал из Бежецка, в Киевский художественный институт. И теперь вспоминаю целые картины деревенской жизни родных Жарков.

Впереди нас идут и идут целые семьи, большие и малые. Все спускаются по деревенской дороге мимо пруда, мимо избы Семиона Липатова, через сияющее солнце проходят в настежь открытые ворота. За ними начинается море спелой ржи, колеблемой слабым ветерком. Нам с пригорка, от изгороди, которая отделяет паровое поле слева от ржаного, видна вся широта хлебного поля до западной изгороди, за которой виднеются кустики необозримого болота. А по левую руку поле тянется далеко, до самой Мальчихи, и огорода не видно. Только в синеватой дымке шепчутся на ветру ольхи и осины, окружённые высоким и густым кустарником, где изредка кукует кукушка. И там цветёт бледно-розовый нежный шиповник.

Все идут неторопливо, солидно, с достоинством. Находят свои полосы, останавливаются и на земле возле полос ищут выкопанные заступом или лопатой свои метки. Наконец полоса найдена. Оглядываются, как будто привыкают к полю, к месту. Ищут, где поставить в холодок кувшин с питьём и корзину с обедом. Не найдя место, их просто ставят в борозде и накрывают лишней одежкой, прихваченной на всякий случай от солнца.

А солнце поднимается выше от горизонта. Тени становятся короче и голубее. Оранжевые лучи поблёкли. Люди идут по пыльной полевой дороге вереницей, группами и в одиночку, представляя собой вместе с хлебным золотистым полем и голубым небом живописную картину.

Каждая семья помнит свою полосу. Не один раз приходили сюда посмотреть, вошли ли озимые, яровые, выходит ли рожь, жито, овёс в трубку, в колос, как колосится, цветёт. Как наливается колос и когда наступит восковая спелость зерна. Жали, к овинам снопы свозили, и так из года в год, на протяжении многих поколений.

Некоторые семьи уже подошли к своим полосам, приготовившись к началу жатвы. А нетерпеливые, согнувшись вдвое, блеснули серпами. И заскрипели золотистые стебли ржи на лезвии стального серпа. Другие, спрятав в тень свои кувшины и закуски, надевают нарукав-

ники, лапти на босу ногу, а кто и с портяночкой, чтобы лапти на ноге не болтались. Молодые парни и подростки снимают с себя рубашки, подставляя свои спины горячему солнышку. Старики садятся для начала на бугорок, опустив ноги в борозду, перекуривают.

Женщины снимают с себя кофточки, обнажая белые сорочки. Белые холщовые рубашки из тонкого полотна пластично облегают частыми небольшими складками женские плечи, полные груди, а пояс юбки стягивает складки и ещё ярче подчёркивает красоту женского бюста. Длинные широкие цветные юбки различных оттенков: синие, вишнёвые, пурпурные, зелёные, изрядно поношенные. Женщины и девушки берут их за нижний край подола и подтыкают его с боков за пояс юбки. На пластичных складках играет солнечная светотень, обнажая спереди подол белой рубашки до колен и белые незагорелые женские ноги.

Тёмные цвета юбок являются сильными живописными ударами по всем более светлым тонам и цветам неба, бескрайнего золотистого поля ржи и живописных цветовых голосов многочисленных жнецов, а также золотисто-землистого с зелёной травой жнивья. И если это всё помножить на вечерний золотисто-малиновый цвет, получится изумительная по живописному колориту и выразительности картина!

Я отчётливо помню эти картины, которые видел в Жарках, когда семьи подойдут к своей полосе и начинают готовиться к жатве. На зелёной траве возле изгороди, поперёк пыльной дороги члены семьи совершенно случайно, думая только о жатве и хлебе, создают собой удивительные по композиции, по живописной тональности, живые выразительные картины, выявляя законченные образы крестьянских типов и образы крестьянского труда. В этот момент и в период всей жатвы можно увидеть, найти много композиционных мотивов. Дело только за художником!

Велика беда начало! Мы подошли к своей полосе. Отец, сняв картуз, обнажив свою лысую голову, поправил рукой усы, нащупал ногой закрывшуюся травой выкопанную букву «К» и с уверенностью, что мы подошли к своей полосе, первым подошёл к ней с серпом, блеснувшим золотистым бликом. Большая прядь стеблей с тяжёлым колосом ярко золотилась на солнце и нагнулась в нашу сторону, словно волосяной вихрь на голове, накрывая тенью своей в тёмно-зелёной траве белые ромашки. Среди стеблей ржи то тут, то там выглядывают темными пятнышками сине-фиолетовые васильки. Их немного. Как хорошо они оттеняют золотистость спелой ржи!

Коляску с Маней поставили в тень к изгороди. В холодок поместили тёмно-красный кувшин с квасом и корзину с обедом. Мать сняла

кофточку, повесила её на огород, подошла к тележке, открыла полотно, посмотрела на дочь, что-то поправила рукой и отошла ко ржи. Ваня снял рубашку, обнажив загорелое тело, пошёл вслед за мамой. Петя остался возле Мани.

Отец резко нагнулся в пояс, как будто сделал низкий поклон земле и выростшему хлебу, левой рукой схватил горсть стеблей и быстро срезал их серпом, потом вторую горсть, третью.

Я стоял возле него и как заворожённый смотрел на его руки, пытаюсь понять, как он это так быстро может срезать рожь. Как он это делает?!

Но только и слышал я, как при взмахе серпа раздавался громкий хруст срезанных стеблей. Из первых двух горстей отец сделал пояс, свив вершинки ржи с колосьями в жгут, потом согнул этот виток вдвое, а стебли разделил на две равные части и, разъединив их, положил пояс на землю, на подросшую травку после покоса так, чтобы часть жгута с колосьями оказалась наверху. Потом он проворно повернулся снова ко ржи, быстро нагнувшись, стал молниеносно хватать левой рукой стебли ржи, а правая успевала резать с такой же быстротой. Движения его были точны и красивы. Набрав пучок срезанных стеблей в левой руке, он, поддерживая колосья серпом, в повороте к поясу выпрямился и снова земной поклон – он положил свою горсть на пояс. И снова быстро повернулся назад ко ржи.

Мать, высокая и стройная, подошла к полосе ржи вместе с Ваней. Они наклонились оба и начали быстро работать руками, отставив правую ногу назад, опираясь на левую, согнутую в колене. И закрипели спелые стебли ржи. С какой жадностью хватают кистью руки высокие стебли ржи в единую горсть отец и мать. И как ловко они срезают их зубристым гнутым серпом. Он словно зайчик мелькает перед глазами. Спина почти не разгибается, пока не нажнётся большая горсть срезанных стеблей, пока пальцы могут удерживать их.

Иногда ситцевая синяя рубаха с белыми полосками сползает со спины отца к лопаткам, к голове, оголяя белое с розовыми бликами тело.

Все трое работали быстро, не уставая, успевая класть сжатые горсти на свои пояски. Я стоял и любовался их умением быстро и ловко жать. Горы сжатой ржи на поясках росли. Отец уже вяжет второй снопок. На сжатом конце полосы, на жнивье лежат первые снопы – тяжёлые, блестящие на солнце, как будто слитки золотые.

В это время мимо нас идёт Степан Никитич Арапков, он же по бумагам Волков, со своей женой Ксенией Михайловной, которую в деревне называли Оксиньей. Она несёт на руках маленькую девочку Аню, почти ровесницу нашей Мане. Сзади, изогнувшись под тяжестью

глиняного кувшина, идёт их старшая дочь Мария, в розовом позолоченном солнышком платице, босыми ногами утопая в пыли.

– Бог помочь! Алексей Степанович и Анна Степановна! – громко приветствовал Степан Никитич, держа маленький окурочек двумя подгорелыми и пожелтевшими от никотина пальцами.

– Спасибо, Степан Никитич! И вам также! – выпрямляясь и поворачиваясь к приветствующим, ответил наш отец.

– Здравствуйте! – кланяясь, говорит тётка Оксинья.

– Здравствуйте! Как ваша девочка? Здоровенька ли? – приветствуя, спросила мать, связывая сноп на колене.

Степан Никитич выше среднего роста, с круглой широкоскулой головой. Маленькие глаза, глубоко спрятавшиеся под нависшей под бровями припухлостью. И почти всегда на его широком лице расплывается доброжелательная улыбка, а в глазах светится радужный огонёк с лукавинкой. Даже когда он говорит о серьёзных вещах, он приятно улыбается. Вместе с Василием Бусиным, Василием Платоновым и Николаем Мареевым дядя Стёпа работал в молодости, ещё до революции, на Путиловском заводе котельником.

Степан Никитич помнит и 9 января 1905 года, встречу с Михаилом Калининым. Помнит бойню первой мировой. Братание с немцами, немецкий плен.

После революции 1917 года – бегство из Германии к родной земле в Жарки! А жена его Ксения Михайловна родилась и выросла в деревне Белобородово Градницкого прихода. В юности была прислугой у бежецких купцов Лебедевых. Я хорошо помню их старенькую низенькую избушку в два окошка. Тяжёлая соломенная крыша её низко спускалась на правую сторону почти до самой земли, прикрывая старые серые ворота во двор. Зимой, бывало, вьюги наметали большие сугробы снега вровень с крышами домов. Они сливались с толстым слоем снега на крыше в один пологий скат, по которому можно было подняться на самый верх, до князька крыши. Однажды деревенские старшие ребята ради озорства под покровом ночи увезли сани-розвальни у дяди Степана. Сначала хорошо в них накатались с молодыми девками, а потом завезли их на крышу хозяина и, опрокинув вверх полозьями, поставили на князёк крыши. Утром Степан Никитич выходит на улицу, чтоб запрячь лошадь в сани, а саней-то нет. Он туда-сюда – нет саней! Пробежал вдоль деревни, заглядывал каждому крестьянину во двор – саней нет! Покраснело лицо у дяди Степана от досады, и в глазах заблуждал злой огонёк. Но нет саней!

Потом или он сам увидел, или ему кто подсказал, что его сани стоят на крыше собственной избы. Нетрудно понять, какая буря клокотала в душе дяди Степана. Долго в деревне смеялись над этой дерзкой выходкой наших деревенских парней. Ну, а Степану Никитичу было не до смеха.

Мимо нас проходят и проходят односельчане с серпами, корзинами и кувшинами. То и дело раздаются приветствия.

Вот идёт Иван Басов с Ульяной, с дочерью Шурой, с сыновьями-близнецами – Петром и Павлом. За ними, отставши, скорее бредёт, чем идёт, вся в коричневом с мелкими цветочками одеянии – в повойнике, сарафане, полусогнувшись в пояснице, заложив левую руку за спину, с серпом в правой руке, бабушка Дарья, наша деревенская повитуха. Она была милая старушка, добрая и внимательная, и люди её глубоко уважали.

Вскоре прошли Платоновы, тётка Матрёна и дядя Василий, с дочерью Татьяной, с маленькой доченькой Марией. Потом прошла семья Алексея Пучкова – жена Анна с маленькой Зиной на руках и мать его, бабушка Степанида.

Следом за ними идут Федины. Он, дядя Григорий, идёт и пылит босыми ногами, натянув чёрную поношенную кепчонку на глаза от солнца, в ситцевой фиолетовой в полоску рубашке-косоворотке. Нижняя челюсть его заросла длинной чёрной щетиной, которая торчит во все стороны, как у круглой щётки для чесания льна. За ним идут его дочери Нюша и Шура и сын Иван, а восьмилетний Колька, мой дружок, дома нянчит маленькую Верочку. Поравнявшись с нами, дядя Гриша остановился, повернулся к моим родителям и приветствовал их:

– Бог в помощь Вам, Алексей Степанович и Анна Степановна! Здравия Вам желаю!

– Спасибо, Григорий Фёдорович! И Вам желаем здоровья и доброго урожая!

И дети его, поприветствовав нас, пошли дальше.

– А где же твоя Марья-то? – спросила его мама.

– Вот матушка моя Марья-то заболела. Лежит вся в жару, горит, голова-то красная, глаза опухли. Ой, как больно ей! – ответил Григорий Фёдорович.

– Да надо же к доктору везти её, в город, к доктору!

– Да некогда, матушка ты моя! Некогда! Надо же рожь жать! А не то осыплется. Ужо, завтра утром пораньше отвезу. Ну, Господь с вами! Пойду, а то мои-то уже далеко ушли.

И дядя Григорий, такой высокий, как-то весь сжался, поник, стал беспомощным перед бедой.

Как мне научиться жать? У меня есть маленький серп. Я становлюсь рядом с отцом, наклоняюсь к земле, беру горсть стеблей ржи и пытаюсь их срезать серпом. У меня ничего не получается. Чуть-чуть руку не порезал. Второй раз пытаюсь срезать – не получается. У отца дело идёт ловко, быстро и красиво. Увидел мой отец, что я не умею жать, подошёл ко мне и стал меня учить: вот ты возьми, встань на левую ногу, согни её в колене, а правую отставь подальше назад, сам согнись в пояснице поклоном к земле, левой рукой возьми, сколько сможешь, в горсть стеблей, зажми их легонько в кулак и оттяни их от себя. Правой рукой держи серп горизонтально на два-три пальца ниже левой рук, закинь носик серпа за захваченные стебли ржи, почти до рукоятки, натяни серпом стебли к себе, оттяни от себя их левой рукой и сделай кистью руки вместе с серпом движение к себе, одновременно делай движение всей рукой назад. Медленно сначала попробовал я. Что-то стало у меня получаться. Потом я сделал так второй, третий, четвёртый раз. И дело у меня пошло.

Отец посмотрел на меня и строго сказал: вот так и работай! Поставил он меня слева от себя, ближе к борозде. Полоса наша широкая. Папа с мамой жнут на середине, где рожь гуще. И Ваня тоже жнёт правее матери, ближе к борозде. И мне из борозды лучше видеть, как работают наши родители. Мамины руки, словно лебединые шеи, снуют во ржи. Особенно меня поразила упругая линия движения всей её стройной фигуры, начиная от пятки отставленной левой ноги, полусогнутой в колене, по спине к голове и обнажённым рукам с горстью ржи и серпом, как будто великая птица нагнулась к земле. Она была настолько выразительна и красива, что я смотрел на неё как зачарованный.

А сколько надо снопов нажать и связать? Сколько поклонов землёматушке надо отдать? Раздумывать нет времени, снова поклон земле, подбородок вытянут вперёд и тоже к земле. Белый платочек совсем съехал на затылок, выбились волосы, а солнце палит из зенита беспощадно. Мокрая рубашка, и катится градом горячий пот по спине. От пота слиплись в мокрые тёмные пряди русые волосы на голове. И по носу струится горячий пот, каплями падая с покрасневшего кончика носа на землю. И снова одна нога отставлена назад, на вторую упор. Обе руки снуют возле ржи, то и дело раздаётся резкий звук серпа и сжатой ржи одновременно: «рраз, рраз, рраз!» И горсть сжатой

ржи готова. Только одно мгновение – вся фигура в прекраснейшем эс-образном классическом движении, о котором писал знаменитый английский художник восемнадцатого века в своей книге «Анализ красоты» Уильям Хогарт. Это движение пронизывает весь животный мир, всю фауну. Я бы сказал, что это движение есть иероглиф жизни.

Ещё в начале тридцатых годов мой учитель – художник Костенко Иван Малахиевич на уроке рисунка в школе рассказал легенду о древнегреческом художнике Аппелесе.

Однажды Аппелес пришёл навестить одного известного художника, которого не оказалось дома. «Как мужу передать, кто вы?» – спросила жена. Аппелес попросил восковую дощечку, стилет и на этой дощечке провёл лишь одну линию. Когда пришёл хозяин, жена подала мужу дощечку.

– Да, это же был великий художник Аппелес. Такую прекрасную линию мог провести только он! – с восторгом сказал художник. Я думаю, что Аппелес изобразил эс-образную линию. Древние греки, судя по искусству древнегреческой скульптуры, знали её!

И снова повороты. Мамина фигура вся в движении. То она тёмным тёплым силуэтом с голубыми рефlekсами повернётся напротив солнца, и золотисто-оранжевый свет контражуром скользнёт по ней, то вся её фигура полностью купается в свете, в золотисто-оранжевом цвете, наклонившись к земле. Землисто-коричнево-охристое с тёмно-голубыми рефlekсами от неба пятно, а на его фоне движется ярко освещённая золотисто-розовая рука. То фигура выпрямляется с тугой горстью длинной вибрирующей ржи, от которой упала тёплая желтоватая тень на серп, и он становится тёплой коричневато-охристой каймой поперёк ржи.

Движения отца были более угловатыми и тоже быстрыми, и в них чувствовалось, что он обладает большой внутренней силой. Время от времени мой отец, наверное, более для порядка покрикивал на меня:

– Колька! Не ленись, работай!

– У меня, папа, спина заболела.

– Ничего, привыкай! Скоро обедать будем, трудись!

Ваня не отставал от мамы. А рожь радовала нас всех своей высотой, большим колосом, густотой и спелостью.

Солнце поднялось выше. Тени стали короче. Радужные краски солнца почти исчезли. С неба лился желтовато-белесоватый свет.

Мы ушли от межи далеко. Пора Маню перевезти поближе. И отец поставил первую стойку ржи. Сначала взял два снопа, поставил их на землю колосьями вверх, на расстоянии полутора шагов друг от друга. Вершину одного снопа он раздвоил и в этот разъём вложил вершину второго снопа, а концы первого как бы перевил на вершине второго, чуть ближе к поясу. Получилась дуга из двух снопов. К этим снопам папа поставил третий сноп слева от этой дуги, перегнув колосья через неё. Четвёртый сноп поставил справа и тоже загнул колосья через дугу на колосья третьего снопа. Я подносил к нему новые и новые снопы, а он ставил пятый сноп к первому, шестой ко второму, седьмой к третьему, а восьмой к четвёртому. Получилась постройка, похожая на кубышку на четырёх ножках. Каждая ножка из двух снопов. Ещё четыре снопа он поставил в промежутки между ножками, а тринадцатый сноп комлем прижал к себе левой рукой так, чтобы удобно было правой рукой сломать стебли над пояском во все стороны.

Потом отец перевернул этот сноп комлем вверх, и я заметил к своему удивлению, что из снопа получился зонт. Вот этим зонтом папа и накрыл всё сооружение из снопов. Комель снопа оказался вершиной ржаной стройки, а стебли с колосьями распределились во все стороны и стали пологой крышей, способной защитить зёрна ржи от дождя. Получилась в лучах яркого солнца золотая, красивая, чуть выше человеческого роста, ржаная стойка.

Как она просто делается! Между ножками стойки остались проходы, а внутри под сводом снопов образовалось свободное пространство. Во время дождей или во время обеденного перерыва, прячась от жгучего солнца, чтобы немного отдохнуть, распрямить спину, расслабиться в тени, жнецы заходят под стойки.

От этой стойки упала лёгкая сине-фиолетовая тень. В неё и поставил отец Манину тележку. Потом воткнул в стойку длинную палку, повесил на неё лёгкое старенькое детское – из разноцветных клиньев – одеяльце над тележкой. Получилось что-то вроде полога.

– Спи спокойно, милая доченька, дыши воздухом русских полей, – подумал вслух наш отец, немного постояв, и снова, взяв серп в правую руку, вернулся ко ржи.

Уже большой конец полосы сжали. Солнце движется к обеду. Вдруг в коляске заплакал ребёнок. Мать, положив уже сжатую горсть на пояс, воткнув свой блестящий от солнца серп в недавно связанный тяжёлый сноп, лежащий на стерне, неторопливо подошла к тележке. Она откинула полог, развернула мокрые пелёнки, бережливо,

с любовью взяла на руки милую девочку, поцеловав её в пухленькую щёчку, и сильными, загорелыми руками прижала её к своей груди. Потом она села на приготовленную отцом грудю тугих золотистых снопов. Левой рукой, поддерживая свою любимую доченьку, правой рукой расстегнула белую холщовую рубашку, украшенную вышитым суровыми нитками скромным орнаментом по разрезу груди, и вынула полную, словно перламутровую с голубыми бликами, чуть-чуть розоватую, с нежно-красноватым соском, грудь. Средним, указательным и большим пальцами она обняла эту грудь выше соска, направляя его в рот Мани, а левой рукой прислонила её головку к себе и сунула сосок в плачущий рот ребенка. Маленькая моя сестричка схватила сосок своими деснами и начала торопливо сосать.

– Проголодалась! – ласково, с нежной любовью сказала мать, глядя на девочку. А она сосала и сосала, причмокивая. Мама долго любовалась ею, поправляя и глядя нежные коричнево-желтоватые волосы на головке долгожданной любимицы. Потом она опустила руку вниз и гордо откинула назад свою небольшую голову с приятными чертами милого лица, с русыми волосами, замотанными в тугой клубок на затылке. И, полузакрыв глаза, она как будто смотрела вдаль будущих годов, окрылённая гордой мечтой, как богиня, сидела на золотистом троне ржи, под жаркими лучами августовского солнца, обдуваемая лёгким ветерком. Позолоченные светом пряди волос слегка шевелились над розовым ухом. Контуры её фигуры вместе с головой плавно и выпукло спускались вниз к земле, к её ногам и вместе со снопами образовали большой треугольник. Он подчёркивал спокойствие, умиротворённость, торжество материнского счастья и человеческого достоинства. Всё это можно выразить двумя словами: «Как хорошо!»

Рядом с нами слева жнут Чумаковы. В центре полосы, в длинной серой рубаше, в поношенных чёрных портках, обутый в кожаные опорки, жнёт высокую рожь Сергей Андриянович большим серпом с крутым эластичным изгибом. Он нетороплив в движениях. Слева от него в цветастой длинной и широкой подоткнутой юбке, в ситцевой с мелкими цветочками кофточке быстро работала маленькими руками тётка Марья, жена дяди Сергея. А правее него, ко мне ближе, – две их дочери. Нюша – высокая, тёмноволосая, с белым приятным продолговатым лицом, Катя – круглолицая, светло-русая, с розовыми щёчками, припорошенными веснушками. Они обе в белых платочках с узелками на затылках, работают быстро и ловко, как будто они со-

ревнуются и между собой, и с нашей семьёй. От них веет здоровьем, задором, силой и молодостью.

Кипит работа! Нам с пригорка видно, как мужицкие спины чернеют во ржи, как белыми облачками мелькают платочки и женские рубахи. Раскрасневшиеся их лица словно пылают огнём. Многие крестьяне уже в половине полосы. До вечера надеются дожать полосу-то до конца. Дойти до луга, который граничит с рожью. И ещё хранит на себе светло-бирюзовые прокосы со времён недавнего сенокоса.

Вот уже полдень. Солнца шар уже перевалил через зенит в западную сторону. Жар стоит невыносимый. То и дело крестьянки и мужики прикладываются к прохладным кувшинам с квасом или с колодезной водой, утоляя жажду. Чаше разгибаются и потирают свои спины. Они с непривычки стали побаливать.

Мой папа в этот год был избран деревенским старостой, и он пытался вводить в жизнь и труд крестьян какой-то ритм и организованность. Посмотрев на свои воронённые плоские карманные часики, сложив ладони рупором, он громко приглашал жнецов:

– Пора обедать!

Дожав начатые снопы, жнецы втыкают свои горячие серпы в тело тучных золотых снопов, поправляют свои причёски или перевязывают свои платочки. Потом расстилают свои немудрёные скатерти-самобранки на жнивье. Достают из корзины краюху ржаного хлеба, съестные припасы и, усевшись всей семьёй в кружок, с аппетитом хлебают деревянными коричневатými с облешей позолотой или вообще без покраски ложками окрошку из кислого кваса с кусками хлеба, картошки, зелёного лука, свежих или солёных огурцов, с кусочками варёной говядины, если она была.

Наша мама захватила ещё с собой кислое молоко. Нет, нет, не простоквашу. Она ещё с ранней весны готовила кислое молоко к жнивью. Каждый день она выливала кринку топлёного молока с коричневой золотистой пенкой в чан, который стоял в погребе, в яме, на снегу, им мы с Ваней набивали её ещё в марте месяце. Мать опускала в чан вместе с молоком немного творога. Получалось кислое, сытное, приятного вкуса молоко, которое ели в жнитво, во время тербления льна и молотбы. И это делали на то время, когда корова запускалась – прекращала давать молоко и готовилась к новому отёлу.

Ели мы все из одного блюда, черпая ложками по очереди, не спеша, с достоинством. А после обеда, как говорят, перекур, небольшой отдых – полежать в тени стойки на спине, вытянуться, уперев в синее

бездонное небо свой взор, на несколько мгновений уйти от тяжёлого труда в мир мечты или просто, закрыв глаза, вздремнуть немного. А иногда, как только закончат обедать, соседи по полосе собираются в один кружок. Усядутся на снопы или прямо на стерню и обменяются впечатлениями о жатве, деревенскими новостями. Частенько бывало и любимую песню запоют. И, как всегда, тётя Поля Рябинкина встанёт головой, украсит своё лицо улыбкой и высоким сильным приятным голосом, запоёт любимую:

*Раз полоску Маша жала
Золоты снопы вязала –
Молодая, эх, молодая.*

*Истомилась, разомлела
То-то наше бабье дело –
Доля злая, эх, доля злая.*

*Тяжело, да ничего бы
Коли в сердце нет зазнобы,
Да тревоги, эх, да тревоги,*

*А с зазновой толку мало,
На снопах и задремала,
У дороги, эх, у дороги.*

*Парень тут как тут случился,
Усмехнулся, наклонился,
Стал ласкаться, эх, стал ласкаться.*

*Целовать, а полоса-то
Так осталась недожатой –
Обсыпаться, эх, обсыпаться.*

*Муж с свекровью долго ждали,
Рожь-то всю чай, рассуждали,
Выжнет Маша, эх, выжнет Маша.*

*А над Машей ночь темнела,
То-то наше бабье дело, –
Глупость наша, эх, глупость наша.*

Женщины и девушки тут же подхватывают песню, и несётся она по раздолью, по ржаному полю. Все отдались песне. Лица сияют в улыбке. А мужской пол собирается на меже, в низине, подальше от женщин, сидя на корточках или вытянув ноги, дымит махоркой. Они рассуждали об урожае, о политике. В разговоре нет-нет да и проскочат непонятные нам, мальчишкам, слова – колхоз, фашизм, социализм. Но, услышав задорную песню и попав под её обаяние, они тут же подхватывают и с большим воодушевлением поют вместе с женщинами.

Любили в деревне песню! Не успев её закончить, люди словно обновленные, радостные, позабыв усталость, с шутками и прибаутками, снова берутся за серпы.

И люди работают целый день внаклонку, целый день в движении.

К вечеру, когда солнце спустилось к горизонту, на землю спустилась долгожданная освежающая прохлада. Стало легче дышать. По земле потянулись сине-фиолетовые длинные тени. Пришло время убирать снопы в оранжево-красные стройные стойки.

Наш отец, отложив серп в сторону, начал ставить стойки и позвал меня подносить ему снопы. Мама с Ваней дожинали полосу. Осталось совсем немного. Сквозь несжатую рожь уже виднеется травка недавно скошенного луга. В лучах заката появились уже малиновые оттенки.

Стойки ржи получились стройными и величественными, в один ряд, как будто выстроился строй богатырей на каждой сжатой полосе, спускаясь вниз, к лугу, на встречу красно-малиновым лучам уходящего солнца. Синие густые длинные тени поползли на восток, попадая на освещённые красно-малиновым светом соседние стойки. Но эти ряды мифических хлебных богатырей пока перемежаются полосами ещё не сжатой ржи. Но скоро всё это обширное пространство будет уставлено ржаными стойками. И ещё мне было интересно видеть, как возвращаются из поля домой крестьяне, как они медленно идут между стоек снизу на гору тёмными величественными силуэтами сильных уставших людей. Они идут с освещёнными солнцем спинами, держа в руках пустые корзины, кувшины с серпами, а кто несёт на руках у груди или на плечах маленького ребёнка, словно воины-богатыри после битвы. По их плечам, по платкам и по помятым картузам, по волосам, по разной рухляди в руках сверкало красно-малиновое солнце.

Вдали, за полем, из дальней Мальчихи, купаясь в малиновых лучах, идёт деревенское стадо, протяжно мыча, сгоняя хвостами назойливых мух и слепней и поднимая красно-малиновую пыль ногами.

Мы поднялись наверх, к изгороди, откуда начинали жать. Там ожидал нас Петя с Маней в красной тележке, и мы все вместе пошли домой. Все идут! А кругом нас царит малиновое очарование!

Двигается страдная пора. Сухо. В воздухе пахнет хлебом. Выстаивается в золотистых стойках сжатая рожь. Грачи и галки большими стаями летают над ними, садятся на поле и роются в стерне, собирая выпавшие из колосьев зёрна.

Пришла пора и жито жать, так у нас называли ячмень с коротким толстым колосом, с длинными усами. Теперь уже вместо серпа в ход пошла коса с опахалом. Отец сделал из толстой проволоки дугу и в просверленные отверстия на нижнем конце косья – одну у самой косы, а другую на две с половиной четверти выше – воткнул концы проволоки. Потом мама обтянула эту дугу куском сурового холста серо-охристого цвета, подтянула его к деревянному косью толстыми нитками, и получилось опахало. Оно стоит перпендикулярно косе. Теперь можно и жать жито, и овёс косить, опахало будет помогать косцу собирать в валок стебли с колосом жита один к одному, не путая как траву. Иные крестьяне прибивали гвоздями к косью деревянные планки или толстые, в палец толщиной, стебли кустарника или сучки берёзы, крепили другой конец к проволочной дуге тонкой верёвкой или тонкой проволокой. Такие опахала всегда напоминали мне растопыренные перья крыльев большой загадочной птицы. И это будоражило моё воображение!

Папа первым подошёл с косой к спелому житу, а золотистые усы жита, словно живые, шевелились от слабого ветерка. Кажется, что они повернулись в нашу сторону и чего-то ждут. Отец опустил косу на землю, развернул плечи и замер на мгновение, как спортсмен перед тяжёлой штангой. О чём он думал? Потом, как будто очнувшись, круто отвёл косу вправо и широко взмахнул ею, описывая полукруг вокруг себя, с треском срезая сухие, золотистые стебли жита. Ещё и ещё взмах косы. Отец удалялся от нас вдоль борозды, вглубь ячменного поля, ведя широкий прокос. Вся его фигура, движения его рук были легки и свободны и гармонировали с его внутренним состоянием. Я люблю отцом, его пластичными движениями, его стройной фигурой, прочно стоящей на земле. Отец уходил от нас, не оглядываясь. Он косил легко, и вся его фигура выражала чувство радости и восторга. Ему нравилась эта работа. Он любил её! Наверное, он был счастлив в эту минуту. Его сильные взмахи, сопровождаемые свистом косы и треском стеблей, ритмично и быстро собирали жито в валок, который всё время удли-

нялся и был сплошь покрыт колючими усами, напоминая длинный строй ежей. Только из него нет-нет да и покажутся тёмно-зелёные широкие листья, увенчанные редкими иголками сорняка.

Житное широкое поле было похоже на золотистую матовую замшу с серо-коричневыми оттенками. Оно чуть-чуть волновалось и своими бесчисленными длинными усами дробило солнечный луч на мириады крохотных светлячков. И только на отдельных колосках вспыхивали золотистым пламенем, как зайчики, солнечные блики.

А иногда набежит ветерок, наляжет всей грудью на поле, прижмёт колос к колосу, и полыхнёт волна солнечным радужным светом, и с напором ветра промчится поперёк поля, и тут же гаснет, как далёкая вечерняя зарница.

Мама тут же вслед нагнулась к валку и взяла горсть скошенного пожелтевшего жита руками, спрятанными в холщовые нарукавники. Сделав поясок и положив его на тёмно-зелёную траву возле полосы, она стала собирать из валка жито. И вот уже первый невысокий толстенький сноп! Колосья с колючими усами торчали во все стороны, и верхняя часть снопа была очень похожа на пышную шапку. Мать поставила его комлем на землю. На тёмно-зелёном фоне травы сноп ярко звучал золотисто-зеленоватым, кой-где с легкими красноватыми оттенками цветом. А сама шапка – вершина снопа – имела больше красновато-серо-охристых тонов. Есть начало!

Солнце поднялось выше. Его горячие лучи испарили ночную росу, и белое чуть желтоватое светило начало палить.

Уже многие семьи перебрались в яровое поле. Справа и слева от нас только и слышишь звон кос, шорох собираемого жита, треск падающих стеблей и редкие голоса людей.

Крестьяне трудились с великой жадностью и с великим желанием поскорее убрать урожай, пока вёдро стоит.

Справа от нас косят жито Чумаковы – дядя Сергей с тёткой Марьей, с Нюшей и Катей, а слева – Рябинкины, Василий Матвеевич с тётей Полей в белом платочке с завязанными концами вокруг шеи, закрыв рот и нос. Недалеко от нас жнут косами Бикины, Тяпиловы, Румянцевы. И дальше в голубоватой дымке купаются цветные фигурки крестьян. Всё в движении! Мужчины машут косами, а женщины то и дело наклоняются вниз, подбирая скошенное жито.

Ваня стоит с опущенной косой и ждёт, пока мама соберёт жито и даст ему возможность начать новый прокос. Я тоже жду с нетерпением. Мне так хочется быть и работать наравне со взрослыми!

Вот и Ваня сделал первый взмах косой. Упали первые стебли подкошенного жита. Они не шелохнутся. К ним с каждым взмахом косы добавляются всё новые и новые стебли. Свистит коса, трещит спелая солома. На земле остаётся низкая колючая стерня. Босыми ногами очень неприятно по ним ходить, словно по ежу шагаешь. Но колючие остатки жита колют и щекочут подошву, ранят циколотки до крови. Надо что-то надевать на ноги. Там в борозде мама положила для меня на всякий случай старенькие верёвочные лапти. И я, как мать, беру горсть жита, делаю поясок, кладу его на стерню и начинаю выбирать из валка жито. Как неприятно собирать его! Колючие усы лезут в лицо, в нос, рот и уши. Щекочут и царапают руки. Я слышу терпкий землистый запах, и пыль лезет в нос. Хочется чихать. Как же мама собирает? А она вслед за отцом быстро продвигается вперёд, и на отцовом прокосе уже лежат новые снопы. Я с горем пополам кое-как связываю первый сноп. Он получился неуклюжий, вот-вот расплзётся. Хоть плачь! Я стал приглядываться: как же мать вяжет снопы? А она крепко стянет концы пояска, да ещё прижмёт сноп коленом и, быстро завив концы петлёй, просовывает с большой силой его под поясок, и сноп получается тугим. Мой пятый сноп как будто получился похожим на материны снопы. И от этой удачи мне на душе аж легче стало! Я даже вспотел. Но всё же я научился вязать снопы. И работа пошла!

Жатва косой идёт быстрее, чем серпом. И так же к вечеру ставят стойки – десятки, из десяти снопов. Шесть снопов ставят в два ряда, наклоненные друг к другу. На вершинки этих снопов кладут сначала два снопа. Их связывают между собой, чтобы они не скатились вниз, а сверху кладут третий сноп. Все три снопа вершинками в одну сторону, словно рюхи для игры в городки. А десятый сноп ставят на землю к двум крайним снопам и прячут его под вершинками верхних снопов. Как бы под крышу.

Десятки стоят стройно, в одну линию вдоль полосы, как муртиры на параде.

Закончив жатву жита, крестьяне идут косить звенящий сергами овёс, уже поспевший, белёсый, с нежным салатovým оттенком. Его легче косить и приятно собирать. И так же, как ячмень, вяжут в тугие шумящие снопы и так же ставят в низкие десятки.

Тянутся на юг большие клинья журавлей. Примеры близкой осени перед глазами. Впереди ещё бабий летний день, и холода уже не за горами. Но лён ещё стоит, головками качая, широким оливково-коричневым полем. Полно работы впереди!

Молотьба

Мне было лет шесть, не больше. Я впервые попал в подовин, где ярко горел костёр из больших поленьев берёзовых дров. Вверху был бревенчатый закопчённый потолок, и мне казалось, что колючие языки пламени касались и кололи его. По бокам вдоль стен были пазухи, через которые тепло-горячий воздух, нагретый костром, понимался по стене в верхнее помещение овина, где сушилась рожь в снопах, посаженная на колосники.

Вокруг костров сидели неизвестные мне люди. Их лица были в тени или на короткое мгновение освещались ярким пламенем костра. Кто-то из них рассказывал страшную сказку о домовых и леших. У меня иногда от страха мороз по спине пробегал, а прыгающие тени по бревенчатым закопчённым стенам ещё больше усиливали впечатления страха и сознание того, что на улице уже темно. А за овинами лежало сжатое поле, уставленное стойками сжатых ржаных снопов, и каждая стойка в темноте казалась живым чудовищем, и это поле катилось вниз, к болоту, которое все называли Мохом. Мне чудилось в этой глухой темноте, что там во Мху что-то таинственное, неизвестное, копошащееся, ползущее живёт и приближается, и нам становилось жутко, и мы плотнее прижимались друг к другу.

Когда рассказчик окончил свою сказку шуткой-прибауткой, все громко засмеялись и вспомнили о картошке и брюкве, что пеклись в горячей золе костра, и начали весело со смехом разгребать, кто чем мог, горячие угли, искать печёную, наполовину обуглившуюся картошку. Она как шарик прыгала в руках людей, обжигая кончики пальцев, а на старых бревенчатых стенах плясали удивительные загадочные тени.

Костёр догорал. Пламя сделалось низким. Стало темнее. Мы доели вкусную картошку и сладкую брюкву. Мне захотелось домой. Низко нагнувшись, мы с братом вылезли из-под прокопчённой стены и через боковую дверцу вышли под навес овина, где большой грудой лежали прижатые к левой стене ржаные снопы. Держась крепко за руки, мы с Ваней вышли из-под навеса, и нас до дрожи охватил холодный мрак ночи. Для меня снова ожила та страшная сказка. Долго и молча мы шли до дома, а я в памяти своей перебирал коварства лешего и домового.

В нашем окне тускло горел огонёк. Мать ещё не спит, ожидает нас. Тихо вокруг. Всё погрузилось в сон.

Позднее я уже сам стал ходить к овину. Мне было интересно узнать, что там, внутри. А что дальше за овином, за изгородью?

Это уже было летом. Уже цвели луговые цветы. От нашего дома до овина было недалеко. Надо было поперёк пройти улицу нашей деревни с пыльной дороги, перелезть через огород, – так называли у нас в деревне изгороди, пройти межей вдоль длинных полос с цветущей картошкой. Одна из них упиралась прямо в нашу житницу, под стрехой которой вили свои гнёзда звонкоголосые галки. В сусеках житницы хранили зерно, а наверху, как бы на втором этаже, под самой крышей, в сундуках на полу хранили яблоки. Они очень вкусными были в снежную пору. В житницу с улицы вели маленькая, в несколько ступенек, серебристого цвета деревянная лестница и дверь с маленьким окошечком внизу для кошки, украшенная большим железным причудливый формы кованым замком.

Как только кончились наши картофельные полосы и высоко вскопанные грядки с картошкой и овощами крестьян, раскинулись, радуя глаз своим удивительным разнотравьем, крестьянские усадьбы, на которых стоят, словно вросшие в землю, посеребрённые временем, солнцем и непогодой, покрытые старой ржавой соломой или старой, иссечённой ветрами и дождями, дранкой, крестьянские житницы и сараи.

Трава поднялась высоко. Затянулись свежей буйной зеленью тропинки и проезжие дороги по усадьбам. Порхают бабочки, гудят над ромашками пчёлы, шмели.

Я иду по тропинке мимо житницы, осторожно ступая ногами, боясь помять траву и цветы. Тот тут, то там сверкают на тёмно-зелёном, словно малахитовом фоне травы нежно-красные луговые гвоздики. Звонят под ветерком голубые колокольчики. Манят к себе из зелёной глубины маленькие голубоглазые незабудки. Всё преисполнено нежности, чистоты и буйной силы природы.

Сразу же за житницей стоит наш старенький сарай, в котором отец прятал на зиму весь свой крестьянский инвентарь – веялку, сделанную своими руками, деревянные лопаты, волокуши, старые цепи, вилы деревянные, железные, деревянную долблёную меру, лукошко, огумённые корзины из лозы и мякину для скота.

Справа от нашего сарая стояли старенькие сараи – один дяди Фёдора Орлова, а другой, почти вплитык к нему, – сарай дяди Ильи

Румянцева. Через три усадьбы от этих сараев, в сторону Горней – большой сарай Анны Мякошиной (Бусиной по мужу), за которым находится большой деревенский пруд. Приятно было в нём купаться в сенокосную пору.

А после нашего сарая мне надо пройти мимо длинного тёмного с синеватым оттенком сарая Михайлы Филина. Он казался мне мрачным, потому что я всегда смотрел на него с северной стороны, которая никогда не освещалась солнцем. Я иду дальше и дальше. Заросшая травой проезжая дорога привела меня к двум старым высоким берёзам, мимо которых поперёк проходила канава. Я дальше меряю шаги босыми ногами. Здесь трава реже и ниже, меньше цветов. А впереди слева, словно громадный великан, вросший в землю, опустив низко плечи свои, стоит угрюмо овин Филиных. Из-под его навеса навстречу мне выдвигается широкая, углублённая в землю, ладонь, на которой молотят рожь, овёс, жито и обкатывают лён. Она заросла дикой сорной травой. Тихо! Под навес порхнула какая-то птичка, а может быть летучая мышь. В глубине навеса темно, и от этой темноты, от неизвестности мне как-то не по себе. Кругом никого нет. Но мне хочется идти дальше, к нашему овину. Он уже недалеко. И я иду. Вот справа лежит старый омет прошлогодней соломы, которую брали для подстилки скоту. А потом уже и наш овин.

Он закрыт старыми поблекшими заслонками. Какой-то одинокий, нелюдимый. Князёк навеса поднялся высоко в небо. На ладони росла незнакомая мне трава. Валялся мусор. Ладонь была вся просверлена крохотными дырочками с грудками кругленькой землицы, чуть больше маковых зёрен. Везде следы запустения. На старой соломенной посеревшей крыше выросли маленькие берёзки. Солома крыши покрылась изумрудно-зелёными, с коричневатым оттенком, лишайниками.

Я проник в щель между серыми соломенными заслонками под навес овина. Некоторые паутинки золотом сверкали от луча солнца, проникшего через дырочки в крыше. Там было темно, сыро и неудобно. Чем-то пахло. Я открыл боковую дверьцу в подовин. Там совершенно темно. Пахнет сырой гарью. Я побоялся идти дальше, вспомнив прошлогоднюю сказку.

А что там за овинком? Я прошёл между нашим и Чурбановым овинами по сочной изумрудной траве, подошёл к огороду между ними, который отделял поле от усадеб. Влез на него, ухватился за вершинку кола, поднялся, встал во весь рост и увидел большое поле бледно-зелё-

ного овса. За ним далеко в синеватой дымке росли какие-то деревья, а на горизонте слегка виднелись небольшие голубоватые горы. Это были Свиные горы. За что их так народ назвал, не знаю.

Много лет позднее в карьере этих гор я накладывал в телегу крупный песок с мелкими камешками и возил его в Бежецк на стройку. Такой песок у нас в деревне называли дресвой. Им хорошо мыть пол в избе. Справа за Румянцевой ригой, вдали на бугре стояла большая великая мельница, а за нею деревня Горни. В эту деревню зимой с отцом и матерью я ездил в гости к Гурушкиным и четыре года ходил в начальную школу. Школа тогда стояла рядом с избой дяди Ильи Гурушкина.

Овинов в деревне было немного. Поэтому для обмолота ржи, жита, овса и обкатки льна крестьяне объединялись по несколько семей на овин. В нашем овине с нами всегда молотили Чумаковы – Сергей Андреевич с женой тёткой Марьей и с двумя дочерьми – Ньюшей и Катей. Старшая дочь их Мария была уже замужем в деревне Белобородово, вторая – Настя и их старший сын Иван жили и работали в Ленинграде.

Однажды в конце августа или в начале сентября обе семьи собрались к овину, взяв с собой топоры и пилы, железные лопаты, заступы, которыми копают гряды, вёдра для воды и котлы для ила. Пришли готовить овин к молотье. Она не за горами. Тётка Марья и наша мать, Ньюша и Катя стали заступами чистить ладонь овина, срезать и выдергивать траву, заделывать глиной ямки. А наш Ваня, мой старший брат, трамбовал ладонь торцом большого куска бревна с прибитой сверху деревянной ручкой.

Наш отец с дядей Сергеем ладили крышу, чинили заслонки. А потом мы с братом ходили на пруд за водой и илом. Ох, и тяжёл этот ил. Все руки оборвали. Да и воды из пруда пришлось вёдрами поносить немало. Женщины разводили ил водой и как густой сметаной руками смазывали ладонь овина. В самом овине на втором этаже, куда сажали для сушки через маленькую дверцу, тоже пол смазывали илом или глиной. Когда снопы за ночь подсохнут, зерно начинает осыпаться из колосьев или как говорили крестьяне, будет зерно течь на пол. И пол должен быть ровным и гладким, чтобы удобно было зерно веничком собрать и вынести. Когда ил высыхал, ладонь получалась красивая и гладкая, не приминалась, и когда молотили хлеб, зерно не вминалось в землю. Плотность и твёрдость ладони была близка к асфальту.

По ней можно было ходить босиком. Много лет позднее на Украине я встречал подобные полы в крестьянских хатах.

День уже клонился к вечеру. Отец и дядя Сергей закончили ремонт крыши и заслонок. Теперь можно закрывать навес со всех трёх сторон от ветра и дождя.

Заслонки делались просто. Сначала делали решётку из кольев и длинных реек. На решётку ровным слоем накладывали ровную цепями обмолоченную солому, прижимали её плотно рейками, их прибивали гвоздями к деревянной основе. Я был самый маленький в нашем трудовом коллективе, но трудился, как мог. Чувство участия вместе со взрослыми в этом труде меня очень радовало. Жаль, что не было у меня в то время у овина товарища.

Самой первой для обмолота поспевала рожь. Её жали серпом и косили косой с опахалом. Потом она выстаивалась в стойках из тринадцати снопов, а затем её из поля вывозили к овинам и складывали в большие золотистые скирды. Так возле каждого овина вырастало много золотистых скирд. На фоне глубокого синего осеннего неба, когда лучи заходящего солнца освещали скирды тёплым золотисто-красноватым цветом, они казались нам золотыми сторожевыми башнями. От них на зелёные позолоченные солнечным светом усадьбы, на овины падали тёмно-синие длинные тени. А когда в небе догорали последние лучи вечерней зари и наступали глубокие сумерки, все овины и скирды сливались в единый тёмный героический силуэт. Они выглядели величественно, словно пришедшие к нам великаны из древних народных сказаний и былин. Всё это вместе было похоже на богатырскую заставу.

Часть ржи складывали под навес, вторую часть – в овин на колосники для сушки.

Если крестьянину была нужна солома для кровли крыши, то для этого рожь жали серпами, бережно вязали аккуратные снопы. Её молотили цепями, а прежде её хорошо высушат на овине. Она там постоит целую ночь, а рано утром её снимут крестьяне и положат на ладонь в два ряда колосьями вовнутрь, длинной лентой, которая замыкалась в продолговатый круг.

Крестьяне брали в руки древко цепа, на одном конце которого была шейка. На шейку надевался кожаный хомутик с крепким кожаным ремешком, на втором конце которого был ещё хомутик, он также надевался на шейку круглого деревянного цилиндра-валька длиной чуть более двух четвертей и толщиной немного больше самого древка. С этим цепом крестьяне становились парами друг против

друга через полосу ржи. К ним присоединялись другие пары крестьян, они начинали молотить рожь цепами в такт друг другу. И цепи взмывались вверх, вальки крутились на древке, как мотыльки мелькали перед глазами. С силой ударяли по колосьям, выбивая из них спелые, воскового цвета зерна. При этом стуке вальков вылетали приглушённые, приятного тембра звуки, похожие на первый взгляд на барабанную дробь. А солнце во всю светит и греет теплом бабьего лета. Горит изумрудом осени усадебная трава. На небе ни облачка. Синь голубая ласкает крестьянскую душу. А в тактах молотбы слышится задор и слаженность оркестра и неукротимость крестьянской воли. Красота природы и красота человеческого труда. Всё слилось в сентябрьскую симфонию – симфонию торжества жизни!

И я до сих пор помню эту цепную музыку и вижу перед глазами этот нелёгкий, почти первобытный крестьянский труд. Вижу целые прекрасные пластические картины человеческого труда хлеборобов. В этом труде можно было наблюдать целые выразительные сцены крестьян в труде, в движении. Вижу их мокрые от жаркого пота спины, вспотевшие и красные лица, запорошенные золотистой ржаной пылью, которая лезет повсюду, забивая нос и рот.

По несколько раз пройдут цепами крестьяне ржаной круг. Потом снопы переворачивают и снова с той же последовательностью и настойчивостью молотят рожь. Потом каждый сноп вытряхивают, чтобы все зёрна, выпавшие из колосьев, выпали на ладонь. Затем берёзовой метлой и деревянной волокушей зерно сгребают в одну кучу и начинают его веять. С древности глубокой веяли крестьяне свой урожай убогий широкой деревянной лопатой, бросая горсть зерна вверх. Лёгкая мякина ветром относится в сторону, а тяжёлое зерно падает тут же вниз, на земляной пол. Но не так давно люди изобрели веялку – она облегчает труд крестьянина. Засыпая зерно ведром или лукошком сверху в кузов веялки и, вращая ручку, приводя в движение большие лопасти, которые сдувают пыль и мякину вон из веялки, а зерно сквозь систему подвижных сит падает чистым вниз, в ящик, из которого деревянными совками его выгребают в долблённые деревянные меры. Из меры оно высыпалось в мешки. Деревянная мера была единицей измерения урожая. Она примерно равнялась одному пуду. В конце дня обмолоченный хлеб, измеренный мерой, подсчитывали, записывали и в конце обмолота всего урожая подводили итог: каким нынче вышел урожай – или сам-пятый, или сам-восьмой. Это значит, что из посеянной меры зерна выросло пять мер или восемь мер нового урожая.

Насыпанные мешки со свежей рожью увозили на телегах в житницу и высыпали в сусек. Солома же в снопах после молотбы цепями осталась ровной, не поломанной, не измятой. Она хорошо послужит в кровле крыши избы или двора. Остальной урожай молотили на молотилке с конной тягой.

Я хорошо помню то раннее, серое прохладное сентябрьское утро. На траве лежал холодный белесоватый туман. Мы с отцом спешим к овину. Пять часов утра. Первый раз в моей жизни меня разбудили так рано. Мне не было и шести лет, а я уже сидел на большой чугунной крышке конного привода молотилки и погонял кнутом лошадей. Я это говорю не в укор моему дорогому отцу, за это и многое другое я часто говорю ему спасибо, он приучил меня к труду!

В эту массивную литую тяжёлую крышку привода вставлялись четыре деревянных крепких ваги, которые крепко крепились болтами, а противоположные концы ваг, на аршин отступя от конца, крепились между собой длинными и тонкими брёвнами. За противоположные концы ваг привязывался валок, за его концы цеплялись двойной петлёй длинные толстые верёвочные постромки от хомута лошади. Привод приводил в движение большое маховое колесо, которое при помощи широкого ремня вращало барабан молотилки со стальными зубьями и ещё приводило в движение соломотряс.

В машину, в барабан подавал рожь горстями из развязанных снопов наш отец. Он крепко стоял на ногах, ловко горсть за горстью совал в барабан, словно в пасть зверю, порции длинной ржи, а барабан ревел и гудел, как прожорливый зверь. Солома, вытрясенная от зерна, кучей копилась за соломотрясом на ладони, которую женщины тут же граблями или деревянными вилами отбрасывали в сторону, а мужчины выносили из овина и складывали её на усадьбе в омёт. Работа кипела! Отец часто покрикивал на меня: – «Колька, не спи, погоняй лошадей!»

А машина гудела, и не было времени на передышку.

Осеннее солнце золотило своим светом фигуры крестьян, овины со старой почерневшей соломой, золотистые скирды ржи, стога свежей обмолоченной соломы и ядрёную зелень осенней травы. Ветер уносил опавшие жёлтые листья берёз. Птицы огромными стаями носились над сжатými и побуревшими полями. Улетали на юг большие клинья журавлей.

Когда отец уставал от этой адской работы возле барабана молотилки, он объявлял перерыв, и люди с радостью оставляли работу, мочили горло водой или квасом. Женщины садились на бережок ладони, вытирали потные лица головным платком или фартуком, а мужики от-

ходили подальше в сторону от соломы и закуривали махорку, садились на траву или на корточки. В минуты отдыха к нам приходили соседи от овина Чурбановых и от риги дяди Ильи Румянцева. Приходила и тётка Домна Румянцева со своими шутками и прибаутками и дочерью Марией. Приходил и дядя Вася Чурбанов с высоко поднятой головой в русских кудряшках. В этих коротких встречах люди расцветали: улыбались, шутили и смеялись, высказывали свои суждения об урожае, делились опытом и радовались хорошему удачному урожаю.

За Чурбановым овином стоят в золоте осени высокие и толстые осины, и трепет их пожелтевшей листвы наводит невольно на тихую грусть. А за этими осинами ближе к Моху стоят постаревшие овины, и там раздаётся стук цепов и гул, и рокот молотилки!

Крылатые мельницы

Мне посчастливилось родиться в краю ветряных мельниц на древней земле Бежецкого Верха, который упоминается в летописи ещё под 1137 годом, в бывшей колонии господина Новгорода Великого.

Мельницы были кругом, мельницы, мельницы. Каждый день они были перед глазами, со своей красотой и необыкновенностью формы на фоне крестьянских изб. Они казались мне сказочными великанами, загадочными и таинственными сооружениями. Они поражали меня стройностью и строгостью своего силуэта, своим величием, поэтичностью и одухотворённой связью с окружающей природой, с деревней, с небом, с землёй. Я восхищался ими как произведениями искусства, восхищался умением крестьянских плотников-умельцев с одним топором строить эти удивительные сооружения.

Вот от нашего дома видна одна красавица, как красная девица с опущенной за спину косой. А если выйти из деревни, из Жарков за околицу, к Горням на север, она стоит в свой исполинский рост, как на ладони, на пологом бугре, который медленно спускается вниз к Моху. В одной версте от нас, чуть-чуть левее Горней. И всё-то время она машет крыльями. Рожь на муку мелет. С самых малых лет я видел её в просвет между жердями, подолгу не спускал с неё глаз. Как завораживающе крутились её крылья! Как она устроена? Почему у неё крылья вертятся? Что у неё внутри? Как люди могли построить такую высокую мельницу?

Мне очень хотелось к ней поближе подойти, заглянуть в её открытые, тёмные двери, но получалось так, что всегда мы спешили в школу, а на обратном пути торопились домой к обеду и на помощь к своим родителям. В то время так и не исполнилось моё желание, загадка долго оставалась неразгаданной.

Направо от нашей деревни, за избой Василия Рябинкина, тоже в одной версте от нашей деревни, на другом конце длинного земляного кряжа, на высоком холме его рядом с большой краснохолмской дорогой, почти у самого Заручья стоит одинокая мельница. Её называли Заруцкой. Стоит она печальная, как сирота безродная, возле дороги с тяжёлой думой в голове, как неживая, с одним, как у подбитой птицы, наискось опущенным крылом. Никто к ней не идёт, и не едет. Она вызывала жалость и желание, чтобы поскорее у неё появились новые крылья. Больно мне было за эту брошенную мельницу.

Эти мельницы, Горнинская и Заруцкая, были похожи друг на друга как две капли воды. Теперь их нет! Люди говорят, что одна из них сгорела, а вторую разобрали и увезли в музей под открытым небом, где-то под Торжком, древним городом России.

В голубой дымке на горизонте за Мохом, левее Свиных гор тёмно-синим силуэтом, как далёкий маяк, маячит ветряная мельница возле деревни Молодка. Она была хорошо видна с высоты от наших овинов или от избы Марьи Ефимовой с другого конца деревни. Она вызывала во мне желание бежать к ней, заглянуть ей в глаза, а потом посмотреть дальше, за горизонт, нет ли там ещё мельниц высоких.

Много лет позднее мой брат Николай Ильич Гурушкин, сын моего любимого дяди Ильи и племянник моей матери, рассказывал, что возле деревни Евлево недалеко от Градниц, в четырёх верстах от нашей деревни, стояло пять ветряных мельниц, и все они работали. Мне было приятно это слышать. У меня появилась ещё большая гордость за наш прекрасный край, за тружеников-крестьян. Раз столько построили люди мельниц, знать этого требовал урожай, получаемый с крестьянских полей. Значит, хорошо поработали крестьяне, да и земля наша рождала обильные урожаи. И там, на высоте возле Евлева, простору много. Ветер гонит воздух без остановки, без препятствий. Только мели и молоти!

Один из краеведов Бежецка И.Н. Постников в 1921 году писал: «Новгород исстари дорожил своей Бежецкой колонией. Край богат озёрами и реками, покрыт был непроходимым лесом и всегда отличался тем плодородием почвы, которое в наше время создало ему

характерное название «Вторая Украина». Богатство хлебом, в котором Новгород так всегда нуждался, делали Бежецкую колонию Новгородской житницей».

Эти слова были сказаны в период Гражданской войны. И точно также в годы Великой Отечественной войны наш край называли второй Украиной. Не зря в старину из-за нашего Бежецкого Верха воевали между собой московские, тверские и новгородские князья.

Сожалею, что не видел Евлевских мельниц своими глазами. Их тоже давно нет.

Однажды в воскресенье, рано утром, когда ещё роса не спала с некошенных трав, отец повёз меня в Бежецк – показать город и навестить тётю Марию Степановну Неворотину, мою крёстную мать. Я ещё никогда не видел города и был вне себя от радости. Это было в 1925 году. Мне тогда было всего около шести лет.

И вот едем мы с отцом на Егорке через ржаное поле в сторону города. Потом по бревенчатому мостику через ручей, дальше снова в гору, и снова нам в ноги наклонилось высокое поле ржаное.

Проехали меж кустарников и опять по деревянному мостику над извилистой Чёрной речкой, бегущей по дну старого русла широкой реки, меж крутых берегов, одетых в роскошную, цветущую одежду разнотравья. И вскоре выехали на большую каменную дорогу, ведущую в город, украшенную столбами.

Стоит над дорогой цокот подков крестьянских лошадей по булыжнику. Стучат по камням колёса телег, одров, двуколок. Гудят телеграфные провода. Длинными вереницами едут крестьяне на базар – продавать овёс, жито, рожь, картошку в мешках, баранов со связанными ногами, а иные ведут за собой привязанных к задку телеги или одра корову или молодую лошадь. Рядом с ними по обочине дороги по извилистой тропинке идут пешие люди с ношей за плечами. А утро разворачивается в красивый пригожий день. Плывёт навстречу нам церковный благовест.

Мы с папой едем на белом Егорке в зелёно-голубой телеге, сидя на мягком и душистом сене, накрытом холщовой дерюгой, и поднимаемся в лучах восходящего солнца в гору. Я оглядываюсь по сторонам. Мне всё незнакомо, всё интересно. Вот справа на пригорке приютилась маленькая деревенька. А отец мне подсказывает: это деревня Сгубово! По обеим сторонам дороги широкие поля с высокой колосистой рожью, золотистым льном, с голубовато-зеленоватым овсом. И жаворонки сопровождают нас утренней песней. Я еду первый раз

так далеко от родной деревни. И вот перед нами открылась широкая и красивейшая панорама. Все поля как-то поползли вниз, слева из глубины тянется к дороге утопающая в высоких зелёных кущах деревня. Я вглядываюсь, не могу глаз оторвать, радуюсь её красоте, а на правом конце её, почти у самой большой дороги, стоит великая мельница и крыльями машет. Я от такой диковины обомлел. Не свожу с неё глаз своих. Она больше и толще Горнинской мельницы. Она какая-то коренастая, массивная, мощная. Восьмигранный стояк её немного бочкообразен. Грани её в середине немного выпуклы наружу. Подъехали к ней ближе, она показалась мне старой. Весь её стояк и крыша по плечикам бревенчатого основания покрыты зеленовато-коричневым и белесоватым мохом, словно бархатом, обтянута мельница с северной стороны. Возле мельницы стояли крестьянские подводы с мешками.

Позднее я многие годы эту мельницу видел, проходя мимо неё из Жарков в город и обратно. От неё всегда веяло суровостью и непонятной огромною силою.

Пролетели многие годы. Уже давно нет этой мельницы. И место её заросло травой. И деревня как-то плотнее прижалась к земле. Поредели и постарели красивейшие деревья. Осиротела деревня без мельницы. И не видно движения тут крестьянских подвод. Только мимо мелькают по асфальту большой дороги автомобили-лимузины. Вместо мельницы торчат из-под земли какие-то куски громоздких бетонных конструкций, чуждые полю, земле, человеческом глазу и сердцу.

Отец оборачивается и говорит:

– Это, Коля, деревня Виловатик! Скоро и до города доедем. Осталось только две версты. – А я всё вперёд да по сторонам гляжу. Вот из-за деревни Виловатик тянется лента вечнозеленых, тесно стоящих друг к другу елей с подрезанными сверху вершинками, как будто великан их подрезал по линейке. И тянется она поперёк нашей дороги вправо, за холм высокий, на котором из вековых деревьев роща стоит. Папа и тут мне подсказывает:

– Коля, смотри! Направо, на высоте, парк барский Шеломень – остатки когда-то богатого имения князей Давлет-Кильдеевых.

Над этой тёмно-зелёной лентой елей купола бежецких церквей, и колокольный звон густо висит над нами. За еловой стеной, сверкая рельсами, бежит дорога, шагая шпалами по земле. И в просвете еловой стены, словно в широких настежь распахнутых воротах, проходит переезд через железную дорогу со шлагбаумом.

За железной дорогой шоссе поворачивает вправо. А влево от поворота в низине видны крыши крестьянских домов неизвестной мне деревни.

– Папа! А что это за деревня?

– Трофимцево! – ответил отец.

И вдруг я заметил, что правее этой деревни, в верстах трёх от неё на горе стоят рядом две мельницы! Я громко воскликнул:

– Папа, папа, гляди! Вон там, на горе две мельницы стоят рядом, и обе мелют!

– Это Городищи! Старое село, – отец стегнул вожжём старого Егорку, и наша телега мягко покатила по пыльной обочине дороги в сторону города.

Теперь и этих мельниц нет! В конце сороковых годов мне удалось зарисовать в походном альбоме только одну уцелевшую мельницу.

Моей судьбе было угодно распорядиться так, что с 1932 года я по воле матери и её сестры Марии Степановны оказался в Бежецке, в фабрично-заводской семилетке. Домик тётки, у которой я жил, находился по улице Володарского, 61. Окна кухни его выходили на большой огород, на котором работала Мария Степановна, выращивая огурцы и капусту на продажу, а картофель, помидоры, морковь, свёклу и лук для своей надобности. Обедая на кухне, я каждый день через окно видел мельницу Новой деревни. Она всегда мне напоминала Горнинскую и Заруцкую мельницы, как будто была им родная сестра. Мне было приятно и радостно видеть её. Вернувшись после фронта в 1945 году, я стал готовиться к вступительным экзаменам в Художественный институт. Переживая трудное время, систематически рисовал и писал масляными красками. В один из мартовских дней, в сырую оттепель я написал этюд огорода под сырым снегом, домики на Всполье, а между ними мельницу Новой деревни. Этот этюд и сейчас висит в моей мастерской, напоминая мне о родном крае, о тётке и о чудесных мельницах Горней и Заручья.

Будучи уже студентом Киевского художественного института, каждое лето я приезжал в Бежецк. Помогая тётке по огороду, в свободное время я рисовал и писал этюды. Но однажды мне захотелось пойти в Новую деревню, которая расположена недалеко от тёткиного дома, от города, с юго-восточной стороны его, навестить друга школьных лет по бежецкой семилетке Мишу Егорова.

Только я вышел в город, увидел Новую деревню, растянувшуюся по равнине, и был удивлен тем, что из деревни, из её середины, между крыш крестьянских домов и высоких зеленых деревьев как будто

вырастала вверх новая, словно из золотистого дерева, освещённая солнцем мельница, крылатая красавица, очень похожая по силуэту, по гармоничным пропорциям на Горнинскую мельницу. Не скрывая своей радости от встречи с мельницей, я тут же зарисовал её в походный альбом с Новой деревней

В деревне я разыскал родную сестру Миши. Она рассказала, что Миша погиб, защищая Ленинград. Он был студентом кораблестроительного института в Ленинграде. Так радость всегда живёт рядом с печалью.

Совсем недавно знакомые мне бежечане рассказывали, что этой мельницы давно уже нет в живых.

В последние десятилетия, приезжая в родной Бежецк из Киева, я часто останавливался в гостинице «Ленок». Она стоит на берегу чудесной реки по имени Остречина, по берегам которой выросли рукотворные заросли белой берёзы. По другую сторону гостиницы находится глубокая и обширная песочная яма, из которой когда-то брали песок строители Бежецкого Благовещенского женского монастыря. При виде этой ямы я всегда с болью вспоминаю фотооткрытку, изданную Варшавским книжным магазином ещё до революции на основе фотографии Бежецкого фотографа П.М. Дружинина. На ней запечатлены стоящие за песочной ямой ветряная мельница со светлыми полосами по граням шатрового стояка и чудная, белая на фоне тёмных деревьев, церквушка с шатровым покрытием, венчающимся маленькой главкой с крестом, ростом чуть ниже мельницы. Какое интересное сочетание духовного и материального! И эти две свечи человеческого духа давно погасли. Поразительно: один человек создаёт, а другой следом идёт и разрушает!

Эту бежецкую мельницу рисовали бежецкие художники Иван Михайлович Костенко и Александр Николаевич Самохвалов.

Незадолго до своей смерти 20 февраля 1951 года Иван Малахиевич передал мне часть своих работ. Большую их часть я передал в Бежецкий городской музей, а среди малой части, которая хранится у меня, есть его пейзаж небольшого размера на картоне, написанный маслом. На нём изображена ранняя весна. На втором плане обнажённые от снега холмы земли оливкового цвета. На переднем плане берега речки затянуты старым грязным глинистым смёрзшимся снегом. Слева между отвесных обрывов снега течёт тёмно-синяя холодная, переходящая в свинцово-серый тон, отражающая вертикальные стенки сугробов снега, весенняя река. На горизонте на фоне узкой

полоски холодного серо-охристого неба с синеватыми облаками написаны тёмным силуэтом две мельницы ветряные возле неизвестной деревни. Мне думается, что этот пейзаж изображает верховья реки Остречины. Судя по характеру письма, этот пейзаж написан во времена революции или в начале двадцатых годов.

Бежецкий район большой. К сожалению, мне не довелось путешествовать по его благодатной земле. Поэтому я многое не видел, в том числе и ветряных мельниц. Это не значит, что на остальной части района их не было. Я убеждён, что они были и где-то, быть может, ещё есть. И может быть, кто-нибудь их и опишет на память нашим потомкам.

Прошли годы. В один из осенних дней меня послали на мельницу молоть муку. И вот я с внутренним волнением, с неодолимым желанием разгадать загадку детства подъехал к широкому основанию Горнинской мельницы. Остановившись возле распахнутых настежь ворот, я увидел гигантскую махину. Над моей головой мерно крутились со скрипом великие крылья. Я смотрел на них снизу как замороженный. Дух захватывает от высоты. Как же всё это можно сделать, удивлялся я. Потом, отпустив поводья лошади, отвязав чересседельник, чтобы ниже опустить оглобли, бросив лошади охапку сена, я стал приглядываться к высокой, почти в два моих роста, уже постаревшей от времени бревенчатой стене (с голубоватыми отсветами от неба) нижнего основания мельницы. Пытаюсь заглянуть в открытые ворота, но после улицы сплошная темнота, и до моего слуха оттуда доносится шум, шорох, приглушенный мерный стук. Слышу запах муки. Я подошёл к воротам, несмело перешагнул заветный порог. Я был изумлён величием внутреннего пространства мельницы, не сравнимого ни с размерами наших изб, ни с нашими обширными дворами, ни с овинами!

Передо мной выше моего роста возвышается помост. Я упёрся взглядом в иссиня-чёрно-коричневатое кондовое мощное бревно. Позже я узнал, что из четырёх таких длинных брёвен, срубленных «в лапу», образуется венец, покоящийся на высоких массивных столбах. Этот четверик брёвен, как обруч, схватывает со всех сторон помост из толстых, прочных половин, на котором расположены, если мне не изменяет моя память, три жернова. В центре помоста я увидел огромный, почти в три моих обхвата, высоченный лоснящийся тёмно-золотисто-коричневатого цвета вертящийся столп, а вокруг него висят три прикреплённые к отдельным столбам конусообразные, квадратные воронки-кузова, высотой выше моего роста, вершиной вниз,

с небольшим отверстием, через которое струйкой сыплется зерно, как в песочных часах. Эти воронки-кузова сделаны из толстых золотистого дерева досок. В них засыпают зерно ржи, овса, жита. К каждому кузову-воронке привинчены толстые, диаметром десять-двенадцать сантиметров подвижные кольца, через которые просунуты деревянные пестики. Они опираются на каменные жернова, и при вращении камней пестики подпрыгивают и издают своеобразную однотипную дробь. А зачем этот пестик был нужен, я ещё не знал.

Снизу, с пола, я не видел каменные жернова. Они были закрыты вокруг тонкой деревянной обечайкой. Потом я заметил: от этой обечайки идёт деревянный лоточек, перекинутый от жерновов ниже толстого венца, по которому струйкой сыплется в высокий узкий ящик – сусек тёплая ароматная мука. Тут же на ящике, справа, сбоку в деревянном зажиме покоится деревянная квадратная словно отполированная лопаточка, которой выгребают муку из ящика в мешок. Тут и пестик деревянный стоит, чтобы трамбовать в мешке рыхлую муку. Кругом осадки мучной пыли. Скрипят от ветра стропила. Свистит ветер сквозь щели.

Ко мне подходит маленького роста человек, весь запорошенный мукой, с короткой щетинистой бородой, с благородной формой удлиненного носа, напоминающего вытянутую каплю. Маленькие глаза изучающе смотрят на меня через запылённые мукой ресницы. Он мне показался гномом из скандинавских сказок. Этот «гном» неторопливо подошёл ко мне. Черты лица его напомнили мне чудную девушку Лиду Мельникову, с которой я учился в одном классе Горнинской школы. Я понял, что мельник – её отец, зовут его дядей Николаем. Он приглушённым голосом спросил меня:

– Зачем пришёл? Откуда ты?

– Я привёз рожь молоть! Из Жарков.

– Чей ты будешь?

– Родин.

– А, Алексея Степановича сын? Да! Знаю, знаю. Много ли привёз?

– Пять мешков.

– Ну, вот тут, левее, ставь мешки-то, к стене. Скоро молоть будешь.

Удачно приехал.

Не спешил я носить мешки. Мне хотелось прежде посмотреть кругом. Как всё интересно! А вокруг помоста, вдоль длинных стен коридором тянется свободное пространство с деревянным полом,

по которому хоть на тройке гони! По стенкам, в углах стоят мешки, мешки. С зерном и с мукой. И всё покрыто мучной пылью.

Я глянул вверх, скользя глазами по огромному вертикальному висящему столпу из многовековой сосны, гладко выстроганному, золотисто-коричневого цвета, который тянется вверх в своеобразном, сужающемся кверху, гранёном футляре и, как я позднее узнал, привезен из «девственных лесов сохранившихся обрывков первозданной тайги к началу двадцатого века», с берегов красавицы реки Мологи. Каким чудом, на каких лошадях, какими руками добывали и привезли великое сосновое дерево в три обхвата толщиной для главного мельничного вала? Какими руками и приспособлениями поставили это гигантское дерево в его гнездо под помостом вертикалью, как Александрийский столп в Петербурге?

С чувством восхищения я заметил, как высоко в поднебесье, в этой деревянной трубе из брёвен и тёса крутятся деревянные шестерни. Одна большая укрепена на поперечном валу, в конце которого снаружи вставлены великие крылья. Сбоку этой шестерни выступают золотистые, почти как новые, зубья-клинья из кленового дерева, собранные на внутренней стороне деревянного обода, хитро укрепленные коричневым толстым жгутом, словно вожжами. Наверное, это были сосновые крепкие эластичные корни. Кленовые клинья большой шестерни цепляются за высокие деревянные цилиндры, смонтированные плотно к телу, вокруг верхнего конца главного вертикального вала, подобно маленькой колоннаде, вращая гигантский вал. А под мостом находится целая система шестерён, при помощи которых можно перевести движение вертикального вала на один из трёх жерновов.

Стучит, не умолкая, на шуршащих жерновах деревянный пестик. Но вдруг пестик запрыгал по камню быстрее. Его стук стал громче и тревожнее. Мельник встрепенулся. Он подбежал к сусеку, потянулся к деревянной вертушке, укреплённой на толстом бревне, соединённой с верёвочным кручёным канатиком. Этот канатик, как я заметил, подвешен на деревянных роликах-блоках и тянется над жерновами к деревянной лодочке, похожей на ковш и как бы надетой снизу на нижний конец деревянной воронки-кузова. Если вертушкой скручивать верёвку-канатик, она станет короче и поднимет вверх рыльце лодочки-ковша, струйка зерна потечёт вниз тоньше, и можно даже её совсем перекрыть, закрыв отверстие поднятием до отказа лодочки.

Дядя Николай щупает муку на своей ладони, перетирает её между пальцами – проверяет качество помола. Напор ветра усиливается.

Крылья увеличивают скорость вращения, сильнее стучит деревянный пестик по великим каменным серым жерновам. Мальчик вновь забеспокоился. Он крутит вертушѣк с верѣвочным канатиком, опуская вниз лодочку-ковш у кузова, опуская в жернова более полную струю ржи, и тут же бегом выскакивает на улицу и смотрит на флюгер, понимая, с какой стороны дует ветер. Нет ли опасности, что ветер может разогнать вращение крыльев, вала, жерновов, до опасного предела. Тут и до беды один шаг.

Скрипят громче под ветром перекладины, стропила, боковая обшивка шатрового стояка, в котором вращается большой вал. Скрипят лопасти крыльев, сквозь щели в оперении свистит холодный воздух, гонимый ветром. А дядя Николай подбегает к столбам, врытым в землю вокруг квадратного основания мельницы, на которые надеты деревянные барабаны или трубы, как цевки из бересты с ниткой утка в ткацком челноке – толстые брёвна с выдолбленным насквозь вдоль бревна отверстием, надетые на более тонкие столбы. Эти столбы с барабаном стоят для поворота крыльев «на ветер». Наш мельник быстро разматывает толстую железную цепь, одним концом намотанную на барабан со столбом. Второй её конец завязан накрепко за хвост поворота «на ветер» из композиции длинных, тонких брёвен, укрепленных за выступающие слуги шапки-воробино. Размотанный конец цепи он тащит до другого столба, находящегося на расстоянии десяти-пятнадцати метров. Тут же делает из цепи петлю, просовывает в неё длинный крепкий кол и, как рычагом, накручивает цепь на барабан нового столба, упираясь крепко в землю, таща за собой хвост мельницы, уводя крылья из-под лобового напора ветра, подставляя ему боковую их часть. Пестик тонко реагирует на силу ветра. Теперь он снова постукивает в спокойном ритме. А из-под могучего каменного жернова по деревянному лоточку течёт струйка тёплой ржаной муки, и пьянит тебя её хлебный запах. Будет зимой в крестьянской семье хлеб!

– Ну, Коля! Готовь мешки к засыпке и помоги мне выгрести муку из высокого сусека. Хозяин её почему-то не пришѣл. Он сам-то с Сокольникова. Небось, скоро придѣт, – сказал с сожалением мельник.

Я с азартом выгребаю чужую муку из сусека в мешок.

Сегодня у меня праздник! Я на мельнице словно в храме! Исполнилась моя мечта! Радостно видеть, как сыплется в сусек белая мука. Я переполнен радостью, легко снял с нашего высокого одра шестипудовые мешки и перенѣс их на своей спине в амбар, поставив их к стене возле ворот.

Мельник кричит мне:

– Готовь рожь! Сейчас будешь засыпать в кузов!

Поднять с пола полный мешок ржи мне одному тяжело. Тогда я в запасной порожний мешок отсыпаю половину мешка, за устье поднимаю его на плечо и несу к правой стороне помоста, к лесенке. Не спеша преодолеваю её. Иду дальше к кузову. Поднимаюсь на подставку в три ступеньки. Спокойно понимаю груз мешка на правое плечо. Потом опускаю устье мешка в кузов, зажав его левой рукой, чтобы прежде времени не высыпалась рожь.

Приготовился. От волнения и тяжести перехватывает дыхание. Я жду сигнала дяди Николая. Проходят томительные мгновения. И вот наконец:

– Высыпай! – крикнул мне мельник. Из устья мешка с шумом потекла вниз рожь. Одно мгновение, и у меня в руках остался пустой мешок. Я поднимаю второй узел ржи и точно так же высыпаю его в кузов. Жернова крутятся живо. Ветер хороший. Пестик выстукивает дробь по жернову. Дядя Николай щупает рукой нашу свежую муку. Нюхает её, перетирает пальцами и подкручивает вертушёк. Не спеша снова пробует её. Отвернув вертушёк немного назад, сказал:

– Ну, Коля, пошёл! – и отошёл в сторонку, повернулся к открытым воротам, заложив руки за спину. И, глядя в осеннее поле, о чём-то задумался.

А меня вновь охватывает радость. Как хорошо! В приподнятом настроении я ещё высыпаю ещё мешок в кузов. Подойдя к третьему мешку, хотел было и его засыпать. А дядя Николай, подойдя поближе, по-отечески хлопнул меня по плечу:

– Ну, пока хватит! Чуть позже!

Я подошёл к сусеку и глазам своим не верю: из-под серого жернова течёт струйкой наша мука! Из нами выращенного зерна. И пьянит меня её хлебный запах. Просунув устье пустого чистого мешка в деревянный обруч и загнув устье наружу вокруг обруча, взяв деревянную лопаточку, я выбираю муку в мешок и пестиком трамбую. И в моей голове возникают вопросы:

– Кто же научил крестьянских плотников с одним топором делать подобные мельницы? Делать деревянные шестерни, способные вращать громадный вертикальный вал и тяжёлые каменные жернова. Передавать движение с горизонтального вала, на котором крепятся могучие крылья, на вертикальный столп.

Бежит струйка муки в сусек, и я с лопаточкой всё кланяюсь и кланяюсь, кладу и кладу муку в мешок.

Длинный путь от зерна, брошенного в землю, до этой струйки тёплой ржаной муки. В моей голове, как в калейдоскопе, одна картина сменяется другой. Начало июня. Навозница. Я со двора увожу Сокола с тяжёлым мокрым «душистым» навозом в телеге в поле. Вот мать, Ваня и я через день-два растряхиваем кучки навоза маленькими стальными вилками с длинным деревянным древком. Ваня запахивает навоз красным деревянным плугом со стальным блестящим лемехом, пока он ещё сырой.

Август. Почти сжата спелая рожь, на полях длинными рядами, подобно солдатской рати, стоят стойки ржанных снопов. Мужики с плугом и бороной, с мешками семенной ржи на навозных телегах выехали в паровое поле. Пашут, боронят, сеют из деревянного лукошка, повешенного на широком ремне через голову на левое плечо, медленно шагая крупными шагами, левой рукой поддерживая лукошко, а правой, взяв полную горсть зерна, широким взмахом руки рассеивают по земле. Как красиво это делал наш отец до тридцатого года!

Стаи грачей и галок опускались на пашню, выклёвывая червей, жучков, зёрна. И я, как всегда, заборанивал зёрна деревянной бороной. Я любил видеть наших крестьян на пашне, целое поле пахарей и поле целое лошадей. Само поле со всеми пахарями-сеятелями – великий крестьянский образ! И издали кажется мне, что шагают они друг другу навстречу. Слышно, как мужики и вдовы, махая кнутом, понукая лошадей словом, шагают за плугом и бороной взад и вперёд по полю.

После сева у крестьянина появляется много новых забот и тревог за будущий урожай. Прошло несколько дней, как засеяно поле, мельница этому свидетель безмолвный. Приходят крестьяне, смотрят. Садятся на корточки, чтобы ближе видеть животворящую землю – нет ли тоненьких, еле заметных всходов зелёных на пашне? Подходят к соседним полосам, сравнивают всхожесть семян. Пробуют влажность земли. Взор свой к небесам обращают: а как там погода? Будет ли солнце? Дождь? Ветер?

Октябрь впереди. Что он принесёт с собой? Дожди со снегом или холода с морозами придут? Как снег ляжет на поле? Прикроет ли он озимые? Или будут оттепели большие? Выживут ли посевы от лютых морозов в чёрное бесснежье? Слава Богу! – радуется крестьянин, – зима прошла благополучно.

Наступила весна. С оливковым цветом обнажилась земля сенокосная от снега. Изумрудом озимые радуют сердце крестьянина. Бархатом смотрится чёрно-бурая пашня под зябь. Но какая будет весна, затяжная с непогодой или с солнцем, с засухой? Не прихватил бы мороз озимые. Не вымокли бы они. И весна тоже прошла без ущерба. Озимые хорошо подросли. Время идёт, рожь уже сворачивается в трубку. Вот-вот уже и колоситься начнёт. Уже цветёт! Зеленовато-бледная с голубизной рожь волнами, как гладь морская, волнуется и перекачивается через всё поле. Красота! Радуетса крестьянин! Любимая моя пора! Уже колос наливается злагом. Тяжелеет он, наклоняется.

Вот уже и стебель ржи желтеет. Начинается спелость. И всё-то крестьянин видит – то любитса, а то вдруг задумывается: а каков урожай будет. Эх, как бы вёдро постояло!

В первые дни августа, после Ильина дня начинают жать рожь-красавицу серпами, косами, жнейками. Жарко. Выстраются в поле стойки. Возле овинов вырастают скирды снопов ржаных, как башни крепостные. Сырые снопы в овин сажают, сушат. Молотят деревянными цепами, молотилками под навесом овина. И новый урожай в житницу, в сусек отвезут и часть его на мельницу – на муку смолоть. Такова одиссея ржаного хлеба!

Как в барабан постукивает пестик по жерновам. Мельник присел на мешок и задремал. Скрипят от ветра стропила стояка и шапки «воробино».

Свистит ветер через щели. Крутятся каменные жернова. Течёт по лоточку свежая ржаная мука. Но это ещё не венец крестьянского труда. Надо муку с мельницы в мешках домой привезти. Вот тогда стряпуха-мать испечёт в русской печке новый ржаной каравай! И поставит она с радостью свой тёплый хлеб на стол, на льняную скатерть белоснежную, украшенную по кромке вышитыми конями. И наполнится изба ароматом хлеба нового урожая. Вот это настоящий венец крестьянского труда!

Горнинская мельница была очень красива. Мастер нашёл гармонию пропорций этой мельницы: мощного основания из квадратного сруба, шатрообразного восьмигранного стояка, в котором вращается мельничный вал, и шапки, которую в народе называли «воробино». Найдены им и внутренние пропорции каждой части в отдельности – высоты к ширине и глубине. Части эти ладно скроены по силуэту, словно строитель был архитектором-художником, тонко чувствующим гармонию пропорций и форм и красоту линий. Одним словом, как говорили древние, «строил так, как красота и мера подсказывали».

А посмотрите, какой красивый шатровый стояк у Горнинской мельницы!

Как он прочно крепко стоит на широком основании, бревенчатом срубе мельницы, как монумент на пьедестале, с наклонёнными плечиками крыши, покрытых дранью. Как пластично он соединяется с наклонной линией плечиков крыши и как его наклонные грани к собственной оси стремительно поднимают к небу шапку-воробино! Как вертикали углов основания, вместе с невидимой осью мельницы, с вертикалями ворот и с короткими вертикалями шапки-воробино, создают впечатление общего движения мельницы вверх. Наклонные же плоскости шатрового стояка вечно движутся вместе с собственной осью, в невидимую точку собственной вершины, которая мысленно находится намного выше шапки-воробино. Вот это движение граней шатра ещё больше усиливает движение всех вертикалей мельницы и создает впечатление безостановочного движения мельницы вверх.

Но шапка-воробино это движение гасит, тормозит, закрывает своими горизонталями и верхними наклонными гранями и направляет это движение вниз, к основанию мельницы. И наш взор вместе с этим движением, коснувшись земли, вновь с вертикалями основания и гранями стояка – вместе с мельницей, поднимается вверх. И опять вниз. Я склонен считать, что архитектурная композиция мельницы является решённой, законченной.

Если присмотреться к широкому бревенчатому срубу мощного основания мельницы, к его горизонтали в целом, к его горизонтальной линии венцов и всех брёвен сруба, положенных на горизонтальную плоскость земли, вместе с горизонталью карниза крыши, то они, эти horizontals, ограниченные вертикалями слева и справа углов основания, создают впечатление покоя.

Это состояние ещё усиливается горизонталями шапки-воробино. И точно также все вертикальные линии, все наклонные линии плечиков крыши, шапки-воробино, вечно меняющих свой наклон линии крыльев, как в покое, так и в движении связывают мельницу с окружающей природой, с деревьями, линиями ландшафта, постройками.

Переплетение всех линий мельницы одухотворяло мельницу, как мельница в свою очередь – окружавший её пейзаж. Вот тут и слилось воедино творение природы и творение рук человеческих. И мельницы наши стали частью природы.

Я смотрел на эти чудесные мельницы и думал, какими же руками строили этот храм труда! Какой мастер, не оставивший своего име-

ни, задавал тон крестьянским плотникам! Надо же, наверное, быть смелым и даже дерзким человекам, чтобы возводить подобные сооружения на широких открытых просторах, на высотах, подставляя своё творение испытанию необузданной стихии?

Когда видишь работающую Горнинскую мельницу, чувствуешь, как от её красоты, от её величия поднимается настроение. И у крестьян наших добротой наполнялись лица, гордостью светились их глаза. Ведь надо же такое сделать!

В конце XX века этих мельниц почти не осталось. И место их затёрло время. И не найдёшь, где они стояли. И люди вправе задать вопрос, а были ли они.

Над нашей страной пронеслась опустошительная, как огненный смерч, война. Многие мельницы погибли. Горнинская и Заруцкая мельницы уцелели. Но, к сожалению, подошло новое время, и их не стало. Мне часто в голову приходит мысль, что люди, переместив в далёкий район уцелевшую мельницу, в так называемый музей под открытым небом, сделали не совсем доброе дело. Они вырвали мельницу из её родной среды. Её оторвали от места, где она родилась, жила среди полей, среди людей, населявших этот край, как живой одухотворённый организм. Мельница была тут не только географическим центром, но и той осью, вокруг которой вращалась материальная и духовная жизнь крестьян.

Теперь наш край сделался убогим, приземлённым. Земля наша стала беспредельной, без начала и конца. И не на что душе и глазу опереться. Не стало той духовной и нравственной опоры, не стало красоты, а без неё наш край потух, как будто сумерки над ним спустились.

Осиротел наш край,

Разрушен храм...

Крылаты мельницы исчезли...

Любимый Сокол

Я любил вихрем пролететь вдоль деревни на любимом золотистобуланом Соколе. Это было великолепно!

Но мои первые шаги были очень тихими. У моего отца в начале двадцатых годов был старый конь белой масти Егорка. Он был высокий. Мне казался он великаном. Вначале я его водил за уздечку. Иногда отец посадит меня Егорке на спину и на ходу поддерживает меня рукой,

чтоб я не упал. Жёсткая у него была спина, как ребро толстой доски. Сидеть на нём было неудобно и страшно: а вдруг упаду я с такой высоты. Но мне хотелось ездить на белой лошадке не только шагом, но и рысью, как взрослые.

И вот однажды летом, в красивый солнечный день папа приехал из города и говорит:

– Отведи, Колька, Егорку в выгон к лошадям. Пусть пасётся.

Он посадил меня на спину лошади. Я взял поводья в руки, крепко ухватился за чёлку Егорки и шагом поехал вдоль деревни.

Еду на Егорке, а спина-то его подо мной то вниз, то вверх, то вправо, то влево. Как же взрослые ездят? Ведь так неудобно сидеть на этой жёсткой спине.

На конце деревни большой пруд возле избы тётки Марьи Ефимовой и напротив двух изб дедушки Семиона Липатова. Мой Егорка повернул к пруду, вошёл перед ними ногами в воду. Я как глянул вниз, а в воде-то небо с белыми облаками! Как глубоко! Страшно! А вдруг я упаду? Что тогда? Как далеко я буду лететь туда вниз? От страха сердце моё заколотилось. Я подвинулся назад по Егоркиному хребту и крепче ухватился за чёлку гривы. А он низко нагнул свою большую голову и начал пить. И от Егоркиной головы по воде пошли круги, сначала маленькие, а потом большие, по всему пруду. Долго пил Егорка. Поднял голову, фыркнул и медленно вышел из воды, вытаскивая высокие ноги из прибрежной грязи. Потом мы обогнули пруд и вошли в прогон для скота – в Мох или дальнюю Мальчиху, дикую землю с большими кочками и жалобно кричащими, словно плачущими вижюльками, как называли чибисов в нашей деревне. Мне захотелось пошибче прокатиться на Егорке. Для этого я стегнул его ремешком повода уздечки, и мой Егорка, как Росинант Дон Кихота, сначала потряхнул меня, а потом понёсся рысью. Как было неудобно, нехорошо сидеть на нём! Спина Егорки меня подбрасывала, я снова падал на неё. Я пытался прижать свои маленькие ноги к его бокам, но у меня не хватало сил. А он трусит и трусит. Я прыгаю и прыгаю на его остром хребте, как на доске. Вдруг я почувствовал, что съезжаю в одну сторону, вправо, с Егоркинова хребта. Я пытаюсь поправиться, снова сесть ровно на его спину, но сил моих не хватает, хоть плачь, и, чтобы не упасть на землю, я падаю на шею Егорки, обхватываю её своими короткими ручонками и тихо сползаю с Егорки на землю. Егорка понял меня и тут же остановился. И я подумал: какой умный у нас Егорка! В знак благодарности я погладил его по шее, взял уздечку в руки и в поводу повёл его дальше прогоном.

Мы прошли по прогону, обогнув большое широкое поле слева. За изгородью зеленела разноцветным ковром луговая трава и шумела по легкому ветерку цветущая рожь. А направо, за такой же изгородью, расстиралось шумящее кистями овсяное поле. Впереди внизу огромным зелёным ковром с голубоватой дымкой низкорослых берёзок и сосёнок, разнообразного кустарника и можжевельника, с клюквою, с гонобобель-ягодой и куманикою, как называли у нас морошку, лежало старое торфяное болото с мягким с розовато-охристым мохом. Это болото в деревне называли просто Мох. Этот Мох для меня и моих детских товарищей в то время был загадкой, а позднее – местом приятных прогулок за ягодами, грибами, за берёзовыми вениками.

Спустившись вниз, выйдя из прогона, повернув налево вдоль изгороди, отделяющей поле от Моха, я увидел, что возле пруда, около огорода стоит табун наших деревенских лошадей, махая длинными хвостами, сгоняя с тела ненасытных мух и слепней. Я подвёл к ним Егорку. Расстегнув ремешок на шее, я снял с него уздечку. Егорка, подняв высоко голову, громко заржал. Мне показалось, что он своим голосом приветствовал лошадиный табун. Как мне показалось, он сказал им:

– Здравствуйте! Я пришёл к вам! – Потом, посмотрев кругом, он опустил свою голову вниз и своими розовыми губами стал щипать короткую травку.

Над болотом летали вижюльки, и весь воздух наполнен множеством песен мне невидимых птиц. С пруда юркнула стая диких уток. Было тепло, приятно, и кругом меня всё радовало. Собрав уздечку, я перелез через огород и напрямую к деревне, по цветущему лугу, босиком направился домой.

Я ощутил неописуемое очарование цветущим лугом, мягкими голубоватыми далями, пением жаворонков. Моя душа ликovala. И думалось, что так очаровательно будет целую вечность!

Прошло два года. У отца уже другая красивая лошадь, молодая, золотисто-буланой масти. Умная, гладкая и общительная. Я хорошо помню, как её объезжал старший брат Ваня. Мама очень боялась за него. Переживала, как бы он не расшибся. Но всё обошлось хорошо. Ваня вернулся в деревню из поля, где он катался, спокойным, довольным и подъехал к нам на ней шагом. Мы все полюбили её и радовались этой красавице. Я уже стал ездить смелее на ней, чем когда-то на Егорке. Звали её Соколом. На нём хорошо было сидеть, и ноги мои выросли, ими я мог держаться крепче за туловище лошади.

Вот однажды утром, часа в четыре, уже солнце встало, но в воздухе было ещё прохладно, меня разбудил отец. Это было в воскресный день. Папа собрался в город на базар. Приготовил он зелёно-голубую праздничную телегу, смазал колёса и оси дёгтем, а меня послал в выгон за Соколом.

Табун лошадей гулял в дельней Мальчихе, среди высоких и больших кочек. И я босиком по полевой дороге, по росистой траве, напрямую, через поле, которое лежало в сторону деревень Сгубово и Рыкулино, пошёл за Соколом с уздечкой и куском чёрного хлеба. Я быстро добежал до выгона, ведь расстояние-то не больше двух километров. Перелез через изгородь из поля в ближнюю Мальчиху, пересёк её мокрый луг между кустами и снова через изгородь в выгон и по кочкам доскакал до табуна. Издали зову: Сокол! Сокол!

Он щипал траву и, услышав мой зов, поднял свою изумительную по своей красоте голову, посмотрел на меня несколько секунд и снова опустил её и продолжал щипать траву. Я спокойно подошёл к нему, дал ему кусок хлеба, погладил его по голове, шее и надел на его голову уздечку. С высокой кочки я сел на него верхом и поехал прочь от табуна по направлению к деревне.

Выход из выгона был огорожен от болота до огорода ближней Мальчихи, а проход из выгона был загорожен только одной жердью на уровне от земли чуть ниже аршина. Эту высоту Соколу легко перешагнуть. Но когда я подъехал к этой жерди, мой Сокол остановился перед ней, встал как вкопанный и не хочет её переступить. Я стегнул его поводком уздечки – он нейдёт. Я стегнул ещё раз его, Сокол не тронулся. Я стегнул его в третий раз, а он неожиданно для меня поднялся на дыбы, на задние ноги, а передние поднял высоко вверх, да так, что я потерял равновесие и упал головой на круп. Но уздечки из рук не выпустил и держусь крепко ногами за его бока. Сам он мгновенно повернулся на задних ногах в обратную сторону и пустился галопом по ровной сырой земле вдоль изгороди к болоту с водой, в которое упирался огород.

И вот я в таком положении на нём лечу и думаю, если он сейчас свернёт влево к табуну, в кочки и будет среди них прыгать, я могу упасть ему под ноги. Не ожидая, когда он повернётся к лошадям, я коленом правой ноги стукнул ему в бок и кубарем слетел с него на мягкую землю, перевернувшись по земле не один раз. Тут же вскочил на ноги, не ощущая никаких болей, а мой Сокол направился рысью к табуну. По его бегу я почувствовал, что он бежит с радостью, и, наверное, ему

не хотелось куда-то ехать или работать в поле и жаль было ему расстаться с лошадьми. Он прибежал к табуну. Я немного подождал, очистил свои холщовые штаны от земли и не спеша направился за Соколом. Я поехал там, где огород своим концом упирается в воду болота. Проехав по воде, я рысью направился к прогону, и мы быстро доскакали до дома. Отец уже приготовил сбрую: хомут, седёлку, дугу, вожжи и, как только я приехал, стал запрягать Сокола в телегу. Он велел мне быстро переодеться и позавтракать: мы вместе поедем в город.

Я был вне себя от радости, быстро поднялся в избу по высокой лестнице. Мне хотелось поскорее увидеть город с красивыми многоэтажными домами, с прекрасными величественными храмами, шумным базаром, с каруселью, с множеством магазинов, наполненных товарами и людьми, приехавшими из близких и далёких деревень, проехать по большому красивому деревянному мосту через реку Остречину. А с базара можно спуститься вниз ещё к большому деревянному мосту через широкую красавицу Мологу. Меня всё там радовало. Быстро выпив кружку молока с ватрушкой, что испекла мама, я переоделся и бегом спустился вниз во двор к отцу. И мне ещё очень хотелось увидеть свою тётю, мою крёстную мать Неворотину Марию Степановну и её мужа дядю Серёжу – Сергея Николаевича Неворотина, который работал весовщиком на льноскладах, в высоких красных зданиях из кирпича на Кашинской улице на берегу Мологи. В их доме снова увидеть красивые картины, которые оставил после своего отъезда в Ленинград Шура Сусленников, племянник дяди Серёжи.

Всё готово. Сокол стоит запряжённый в телегу. Папа положил в неё душистое сено и накрыл его чистой дерюгой. Мы сели в неё. Мама вышла проводить нас на порог калитки. Последние напутствия. Отец тронул Сокола вожжами, и телега мягко покатила по живой земле. Любимый Сокол повёз нас в любимый Бежецк. До него, как считают люди, восемь вёрст, а до центра до базара и все десять будет.

Наш любимец Сокол был не только умным работником, но и хорошим озорником.

Как-то раз отец поехал в Бежецк на базар или по каким-либо другим делам. Запряг он Сокола не в телегу, как обычно, а в одёр с высокими пялами-решётками спереди сзади. На одре обычно крестьяне возили сено, снопы, зерно в мешках и меньше всего ездили на базар, если, конечно, была выездная телега.

И вот уже отец проехал на Соколе одно поле в сторону города, потом второе поле. Проехал он и по деревянному мостику через Чёрную речку и через триста-четырееста метров выехал на большую Краснохолмскую мощёную булыжником дорогу. Иногда мужики её называли каменкой, трактом, большаком или столбовой дорогой.

В воскресный день по этому большаку едут на базар целые вереницы крестьян на подводах из разных деревень, вёрст за сорок. Знакомых мужиков у отца во многих деревнях было немало. Отец был общительным человеком и любил ходить в поседки. Вот и на этот раз, как только он выехал на большую дорогу, встретил знакомых крестьян из далёкой Сулеги. Подъехав к ним поближе, спрыгнул он со своего одра на мостовую и подошёл к телеге знакомого крестьянина. Завязался разговор о жизни, об урожае, о политике. Да мало ли у крестьян животрепещущих вопросов!

Мужики разговаривают, рассуждают, разводят руками, иногда и выругаются, а наш Сокол идёт за ними и слушает. Но сколько можно слушать эти мужицкие разговоры? Всё одно и то же. Видно, надоело ему, и он стал помаленьку отставать. Чем дальше уезжают мужики, тем больше он отстаёт и наблюдает за отцом, который в пылу горячего разговора не обращает на него никакого внимания.

И вот Сокол видит, что хозяин уехал вперёд, и не раздумывая поворачивает оглобли в обратную сторону, в свои любимые Жарки. Отца везёт другая лошадь, зачем же ему везти пустой одёр?

А папа наконец вспомнил, что едет не на своём одре. Он, словно очнувшись, оглянулся назад и был поражён: Сокола рядом нет. Отец соскакивает с чужой телеги и бегом пытается догнать беглеца. Чтобы остановить лошадь, он начинает кричать:

– Сокол, Сокол! – Но сокол идёт и в ус себе не дует, только уши наострил да хвостом помахивает. Папа бежит, резко сокращая расстояние, почти уже догнал, вот-вот ухватит за пята одра. Но Сокол, зорко следивший за действиями отца, рванул рысью вперёд и оставил своего хозяина далеко позади. А когда золотисто-буланый красавец проехал через мостик на речке, он не поехал почему-то по дороге прямо в деревню, а взял крен вправо от дороги и через заросли кустарника поехал со своим одром к Выгорде, оставляя за собой след в поломанных кустарниках и в глубоких колеях от колёс, в высокой, уже поспевшей к сенокосу траве.

Вот тут-то ему кусты и помешали следить за отцом. Папа сумел подбежать и ухватиться за задние пяла одра. В последний миг Сокол его увидел и рванул одёр, да так, что тот снялся со шкворнем с передней оси и опрокинулся на отца. Всё обошлось благополучно. Папа вылез из-под одра, поймал проказника с передней осью и всыпал ему кнутом по первое число. Сокол надолго запомнил урок. Так отец и вернулся домой, не побывав в городе.

С табуном в ночной Мальчихе

Лошади мирно паслись на зелёной ложбине, похрапывая и пощипывая траву и отмахиваясь хвостами, встряхивая гривой от назойливых слепней и комаров. Солнце уже село. Облака, вытянувшись, сели за горизонт. Над головой бледно сиял серпик луны. В лугах перекликались перепёлки. Наступает ночная прохлада. Чтобы обогреться, отогнать комаров и взять огонь в собеседники, я раскладываю костёр. Лошади подошли ко мне ближе и под треск огня в костре, стоя или лёжа на росистой земле, беспечно дремали. Некоторые из них положили свои головы друг другу на спину и так долго стояли. Такие лошади всегда ходят парами. Они тоже умеют дружить. Тихо кругом. И кажется мне, что умерло всё. Я пригрелся у костра и незаметно для себя заснул.

Просыпаюсь от холода и утреннего света. Костёр давно погас. Лошадей нет! Неужели убежали через сломанный огород? Ушли в чужое поле? Без пастуха они могут и огород сломать. Меня охватила тревога. Заколотилось сердце. Я начинаю метаться то вправо, через кусты, то влево, через осинник – нет! Бегу дальше, мимо толстых осин и ольховых зарослей. Ветки кустарника хлещут мне по лицу. И вдруг – глазам своим не верю – на поляне, где отдельными кустиками растёт цветущий шиповник, похрапывая, неторопливо своими бархатистыми и подвижными губами ловят сочную росистую траву мои милые лошади. От радости сердце забилось ещё сильнее. Я передохнул и, немного успокоившись, вышел из-за кустов к лошадям. Они тут же повернули свои красивые головы в мою сторону. Мне казалось, что они смеются надо мной, что я проспал их пробуждение. Весь мокрый от росы, снова пытаюсь разжечь костёр. Но лошади не стоят на месте. Они всё дальше и дальше уходят от меня, и я бросаю ещё не разожжённый костёр и иду за ними.

Как-то раз у одного из пастухов убежал табун наших деревенских лошадей. В табуне их было тридцать – это же сила! Сколько хлеба они могут потравить?! И это случилось во время теребления льна. Крестьянам каждый час дорог и каждый человек в поле нужен. Идёт страдная пора. А тут выходит, что от каждой семьи должен идти человек, чтобы найти свою лошадь и весь колхозный табун. У кого есть подростки – идут подростки, у кого – идёт хозяин. Но когда табун лошадей топчет чужое поле, травит чужой урожай, хозяева поля пытаются их поймать. И будут ждать, когда придут хозяева выкупать своих лошадей. А пострадавшие составят акт потравы урожая, подсчитают количество убытка и предъявят виновникам счёт. Вот тут-то и нужны не подростки, а взрослые, чтобы уладить дело миром и возместить убытки. Я не помню, кто пас в ту ночь наших лошадей. Думаю, ему было не очень приятно. И когда мы, мальчишки, собрались идти искать лошадей, взрослые были против нас. Они ругались и даже грозили нас выпороть уздечками.

– Пусть приходят взрослые, – грозно говорили они.

Но мы вовремя от них увернулись и ушли. Нас было трое: Вася Бикин, Николай Федин и я. Мы пошли в ближнюю Мальчиху и отыскиали сломанный огород. Вошли в этот пролом и на другой стороне, на земле, обнаружили следы наших беглецов. Мы пошли по этому следу, и он нас привёл в деревню Захарово, по другую сторону болота, в пяти верстах от нашей деревне, недалеко от Свиных Гор. В местном выгоне с чужим табуном гуляли наши лошади. Они обнюхивали друг друга, как будто знакомились, готовые к дружбе, а некоторые показывали пришельцам свои сильные зубы или задние ноги. Мы поймали своих лошадей, но они не сразу нам поддались. Они словно одичали, не давались нам в руки. Наконец мы их поймали и помчались в родные пенаты, аж дух захватывало. Очень много раз я ездил на Соколе рысью и галопом. Я любил ездить так, чтобы ветер звенел в ушах, чтобы сердце замирало в груди, когда конь подо мной, как стрела, летит, стелется, вытягиваясь в нитку над землёй, когда земля быстро бежит навстречу, когда курицы летят от тебя во все стороны. Когда люди останавливаются и восхищенным взглядом провожают тебя, удивляясь отваге и удалству. Так ездили все мои товарищи по деревне, и удалства нам было не занимать.

Мы летели по прогону между полями, мимо льняного поля, где теребили лён наши крестьяне и, несмотря на их крики, влетели в родную деревню, словно на крыльях. И радости моей оттого, что Сокол дома, он во дворе и жует в яслях сено, не было предела.

Я вбегаю в избу. Невестка Шура дома, я говорю ей второпях, что Сокол во дворе! Она очень удивилась и сказала, что наш Ваня с мужиками ушли искать лошадей в Сулегу, в противоположную сторону, за двенадцать вёрст по прямой от нашего дома. Кто-то им сообщил, что там гуляет неизвестный табун.

Опять о Соколе

Хорошо помню, как я возил в Бежецк песок из карьера Свиных гор, что по другую сторону болота, напротив нашей деревни. Это небольшие высоты, которые над строго горизонтальной линией болота выделяются своим рельефом, если видеть их с большого расстояния. Из нашей деревни они производили впечатление гор.

Было тяжело носить песок в телегу, да и Соколу было не легче тянуть нагруженный воз по ухабистой с глубокими колеями дороге. Но он был упорным, терпеливым, выносливым и, я бы сказал, трудолюбивым животным. Настоящий крестьянский конь, как говорили о нём отец и деревенские мужики. Мне особенно ярко запомнился случай, когда вместе с нашими деревенскими мужиками я зимой возил на Соколе прессованный, морозом схваченный торф с нашего торфоболота на Бежецкий винзавод.

Чтобы возить в зимнее время торф, на сани-розвальни привязывали задок из досок и кольев. Сооружение напоминало собой что-то вроде большой корзины. Оно и было большой корзиной, так как на санях лежал сплетённый из прутьев большой – во все сани поддон. В этот сосуд и накладывали торф до самого верха. Когда подъедешь по заснеженному замороженному болоту к штабелю торфа, в первую очередь развяжешь чересседельник и отпустишь ниже оглобли, распустишь на хомуте супонь-ремень и положишь Соколу на землю сено, он тут же наклонится и своими мягкими губами захватывает горсточки душистого сена и не спеша начинает его пережёвывать. Теперь можно грузить торф. Я надеваю шитые матерью из грубого холста рукавицы, называемые голицами, и беру первую, чёрную, промёрзшую, со снегом и льдом торфяную болванку.

Эта первая болванка показалась мне такой тяжёлой, что стало страшно. Ведь сколько сил надо вложить, чтобы набросать полный воз такими тяжёлыми торфяными чурками. Почесал затылок и, как говорится в народе, велика беда – начало, начал грузить торф

в сани. Работать надо быстро, иначе, если ты со своею подводой окажешься один среди заснеженного и пустынного поля, некому будет помочь. Начинаю бросать одну за другой тяжёлые чушки корявого, с острыми углами, словно звериные зубы, торфа.

Я уже вспотел. Мокрые на голове волосы, спина и рубашка тоже мокрые, а торфу я набросал только половину саней. Смотрю по сторонам, пытаюсь увидеть, как идёт работа у мужиков. Летят в сани чёрные болванки. Мусором ложатся торфяная пыль и осколки на белый снег. Грязным рукавом вытираю мокрое от пота лицо и я с радостью замечаю, что мой воз растёт. Уже осталось немного, я скоро закончу. И вот я кладу последние чёрные слитки, которые мне показались самыми тяжёлыми. Полный воз! Сколько в нём жару! Сколько в нём заключено тепла! Меня охватывает радость, и я с приятной усталостью подхожу к своему Соколу. Он давно уже съел своё сено и как будто дремлет, опустив вниз нижнюю губу. Погладил его по голове, потрепал по щекам, погладил по шее, выправил гриву из-под хомута, подвязал повод уздечки за дугу, засупонил хомут, подтянул чересседельник, поправил вожжи. И снегом умыл своё лицо. Мы с Соколом выехали вместе с мужиками на наезженную дорогу.

Идёт, бежит дорога вперед! Все подводы вытянулись в одну длинную вереницу. Хрустит под ногами и повизгивает под полозьями морозный снег. Мужики идут рядом с санями. У некоторых блестят на солнце сосульки, как дорогие украшения в усах и бороде. У лошадей шерсть и грива с хвостом покрылись серебристым инеем. Груз в санях лежит немалый, и на подъёме в гору лошади устают и потеют. Мой Сокол – большая умница. Он шёл хорошо, быстро и его не надо было понукать.

Когда он устанет, он сам остановится, отдохнёт, сколько ему надо, постоит, а потом поворачивает сани в сторону, и они тут же отстают от ледяной дороги. И Сокол легко увозит сани вперёд. Приятно было работать с ним. Он был настоящим помощником крестьянина.

Уже два года, как организовали в нашей деревне колхоз. Ожилилась деревня. Работать стало веселее, и люди стали дружнее. И наши мужики стали вперёд заглядывать. Потянуло их к технике. Стали покупать инвентарь, машины. Вот однажды купили льнотеребилку на двуконной тяге. Вывезли её в поле, где посеян был лён. Он к этому времени поднялся сантиметров на сорок. Вывезли её на льнополосу и пустили её в дело. А она такая тяжёлая, железа в ней много, и захватывает она во время теребления полосу в двадцать сантиметров. Помучались, помучались с ней, да и бросили. Обратно отвезли в дерев-

ню. Но на этом наши мужики не остановились. Они задумали купить трактор. Решают на колхозной сходке вопрос, где взять денег. Судили-рядили и придумали: продать крепких лошадей и на вырученные деньги купить трактор. И продали девять лучших лошадей колхоза, в том числе и нашего Сокола.

В тот день я был в деревне Горни, у дяди Ильи Гурушкина, моего любимого дяди, старшего брата моей матери. Он подарил мне пару белых чудесных мохноногих голубей с хохолками – венчиками на голове. Как прекрасна была линия их формы, а белизна, а чистота их! Я был от них в восторге. С великой радостью я нёс этот бесценный для меня подарок и с надеждой, что мама тоже будет рада таким чудесным голубям. Но когда я вошёл в избу, я увидел свою мать сидящей на лавке напротив окна, возле стола. Она была вся в тёмном. Сидела мама, словно в трауре, в слезах. Я остолбенел. Стою перед ней с голубями в руках и пытаюсь понять, что же произошло. А она сквозь слёзы мне с укором:

– Нашу красавицу молодую лошадь продали, нечем кормить, а ты голубей принёс!

Мою радость как рукой сняло. Я выпустил голубей на чердак, вскоре они от нас улетели. И не стало Сокола.

Трактор наши мужики-колхозники так и не купили. Более всего обидно было то, что деньги, полученные за проданных лошадей, отчасти пропили, а остальные разошлись по мелочам. Одним словом, пили и веселились всем колхозом. Были, конечно, люди против этих пьянок, но у них, очевидно, не хватило духа горой встать за колхозное дело!

Через год из Ленинграда к Никифоровым приехал их сын Пётр Николаевич, товарищ моего старшего брата Ивана. Он работал в Ленинграде шофёром. Как-то при встрече он сказал нам, что видел нашего Сокола в Ленинграде. На нём возят пивные бочки.

После этого случая я прожил много лет. Прошёл сквозь многие испытания, но любимого Сокола забыть не смог. И с болью и гневом вспоминаю неумный поступок полуграмотных мужиков с продажей нужных колхозу молодых сильных лошадей. Если бы жив был мой отец, он бы встал против этого безрассудства.

Городские гости

Наступило июньское лето. Тепло. Кругом зелено. Деревья блистают яркой свежей листвой. Каждая былинка радует глаз и душу человека. Вся природа тебя очаровывает своей красотой и свежестью, и самому хочется раствориться от радости в самой природе – стать травой зелёной, чудным цветением сирени, снежно-белой черёмухой, шумящей берёзовой листвой, луговыми цветами, воздухом, который вдыхаешь всей своей грудью, словно пьёшь парное молоко. Или быть водой проточной, чистой и прохладной. Как хорошо!

Давно уже изумрудом взошли яровые. Вскопаны и засажены в загарах высокие гряды. И всё растёт и соком наливается. Радость-то какая!

Старшие женщины мелкими делами по дому занимаются. Мужики одры готовят к сенокосу. Вставляют новые деревянные зубья в поношенные грабли.

Косы ладят и точат, и лезвие молотком на бабке отбивают. Старушки и молодухи последние вытканые холсты на солнце белят, раскинув их по зелёной траве усадеб. А мы, мальчишки и девчонки, бежим в Мох ломать пахучие берёзовые ветки для веников. После в сенях или на крыльце вяжем их и парами вешаем на верёвку под крышей во дворе или на потолке. Чтобы сохли к зиме для бани.

По деревням ходят мастеровые бондари с нехитрым своим инструментом: у мастера за спиной висит фуганок, топор за поясом, клещи специальные для натягивания обручей на бочки и чаны. На плече несут пучок перевязанных верёвкой еловых заготовок – стеблей, разрезанных вдоль на две половинки для обручей. Идут они вдоль деревни и громко кричат:

– Бочки чинить, обруча натягивать! Обруча натягивать, бочки чинить!

Вот в это время между весенней посевной и сенокосом обычно к нам в Жарки съезжаются гости из Москвы, из Ленинграда. Не так далеко от нас – всего шестьсот километров. Едут оттуда мужья, сыновья, дочери. Кровь от крови крестьянские.

Вот дядя Сергей Чумаков везёт по деревне из города со станции Бежецк на своём одре, погоняя вожжами грузную карей масти кобылу Смигду, свою дочь Настасью – звонкоголосую красавицу, симпатичную Настю, приехавшую родителей, сестер своих проведать, соседей

и подруг навестить, деревенским воздухом подышать, красотой полей и лугов налюбоваться, в соседних деревнях побывать и на беседах вечером повеселиться. А через пару недель дядя Сергей привезёт ещё сына Ивана с женой Катей и с маленькой девочкой. Успевайте поворачиваться мать с отцом!

На чалой лошадке с рыжеватой гривой, под стать рыжим усам и волосам хозяина, привёз дядя Николай Никифоров приехавших из Ленинграда старшего сына Александра, инженера-химика, специалиста по пластмассам, с женой Нюшей Морохоновой из Горней с маленькой девочкой Галей, для которой я вырезал из дерева перочинным ножом коровушек и уток.

Скоро и младший их сын Пётр отправится в Ленинград. Он там будет работать шофёром при Путиловском заводе, ныне Кировском.

Приехали и старенький ленинградский рабочий Арсений Павлович Чумаков с дочерью Татьяной к своей семье, к жене Настасье, к дочери Марии и сыну Михаилу, в свой новый дом. Радует дядя Арсений и новому дому, и нашей красавице Мальчихе. Зачастит он туда спозаранку. И красных боровичков-подосиновичков в корзиночке домой на жаркое приносить будет.

А немного позднее и к Марье Бусиной – Кошихе, как её бабы по деревне величали, придет муж её Василий Александрович Бусин, рабочий с Путиловского завода. Дядя Василий – скромный и самостоятельный человек.

К Фединым редко приезжала их старшая дочь Дуня. Раньше она жила в Старой Руссе, позднее переехала в Ленинград. Дядя Гриша, отец Дуни, как-то зимой привозил из Старой Руссы вкусные яблоки с красными боками. Они были очень ароматные, и он продавал их крестьянам нашей деревни. Наш отец тоже купил эти яблочки.

У Фединых в обеих стареньких избах, по окна ушедших в землю, всегда пахло духами. Когда-то в молодости дядя Гриша тоже жил в Петрограде. Говорили, что работал приказчиком в парфюмерном магазине. У Григория Федоровича проскальзывала страсть к дамским украшениям и парфюмерии. Во время разговора его туловище слегка наклонялось вперед. После войны его дети разъехались. Старший сын Иван, вторая дочь Шура и младшая дочь – красавица Вера уехали в Ленинград. А младший сын Николай уехал на Донбасс, в Кадиевку.

К Филиным, к нашим соседям напротив, к родной матери – тётке Пелагее иногда приезжал из Ленинграда их сын Василий, такой высокий, глухонемой, с золотыми зубами и маленькими усиками-кнопоч-

ками по моде. Он всегда привозил с собой фотоаппарат гармошкой и фотографировал односельчан – деньги зарабатывал на обратную дорогу. Когда он пытался говорить, его сипящую речь можно было понять, а говорить с ним надо не спеша, тогда и он мог нас понять. Это было году в тридцать втором. В этот год дядя Вася почему-то жил не в доме своих родителей, а в новой избе Марьи Кошихи. Её изба была как куколка. Приятно было посмотреть на неё. И вот однажды, когда уже наступили сумерки, я попросил Василия Михайловича показать, как он делает фотокарточки. И провёл с ним всю ночь до утра. Я восхищался, как на кусочке белой бумаги, которая плавает в тарелке в каком-то растворе, словно из тумана возвращается изображение. Я очень удивлялся, когда с листка такой же бумаги проявились мы – я с книжкой в руке, задравши нос, в кепке. Рядом со мной на венском стуле, вся в белом, босиком, пристально смотрит в фотоаппарат маленькая моя племянница Валя, старшего брата Вани дочь. А за ней в большой кепке стоит младший братец Петя. Все мы стоим на фоне бревенчатой нашей избы. Как в сказке! Изображение всё ярче, всё отчётливее проявляется на бумаге. Меня охватывает восторг! Ведь фотокарточка останется на память! Замечателен миг жизни! И у меня появилось желание научиться делать фотокарточки. Сколько можно запечатлеть интересных моментов из жизни крестьян! Но где взять фотоаппарат? У кого можно научиться? Дядя Василий Михайлович Филин скоро снова вернется в Ленинград.

К Румянцевым, к Илье Поликарповичу и Домне Дементьевне к брату меньшому Ивану, к сестричке Марии приезжал второй сын и брат Павел, друг детства и юности нашего Вани, ленинградский шофёр. Эта специальность в деревне особенно почиталась. Не каждому в то время дана была возможность управлять автомобилем.

Я любил ходить с ним ранним утром по свежей росе босиком в Мальчиху за грибами, за красноголовыми боровиками, обабками, маслятами. Иной раз мы с ним успевали не только набрать полные корзины грибов, а и брусники или костяники пощипать. Приятно с ним было грибы собирать, да грибы-то всё ножичком срезали, потом травки горсть-другую сорвёшь и грибницу-то прикроешь от солнца. Он мне ещё и о Ленинграде рассказывал, о крепости на Неве, о дворцах и музеях.

Из Москвы с улицы Люсиновской приезжали братья Бикины – высокий, белолицый, с тонкими чертами лица, похожий на своего отца дядю Василия интеллигентный Иванушка. При игре в лапту он очень

красиво и точно бил по резиновому чёрному арабскому мячу. Мяч его летел высоко и далеко, и трудно было поймать его руками. И Вася, среднего роста, смуглолицый, на мать, тётку Анну больше похожий. Оба учились в московской школе ФЗУ. Позднее в тридцать девятом – сороковом годах Иванушка был тяжело ранен в лицо. В Великую Отечественную он погиб смертью храбрых. Вася вернулся инвалидом, без руки. И сейчас он в Москве живёт. Приезжали они в родную трёх-оконную избу к своим братьям-сиротам, старшему Алексею, который был у них за отца и за мать, к младшим – Мише и Володе, к маленькой единственной сестричке Вале.

Тяжело им было без родителей. Приехали Ваня с Васей не только проведать родных, но и помочь им, помочь Алексею по хозяйству, по уходу за маленькими сиротами. Конечно, им хотелось встретиться со своими друзьями детства, с односельчанами, подышать родным деревенским воздухом, полюбоваться хлебными полями, зелёной раздольной Выгордой, с шелестящей листвой, с красноголовыми боровиками, с клюквой, пахнущей мохом. Подслушать разговор усадебно-луговых обворожительных трав. Услышать шёпот колосистой, золотом отливающей ржи. Или нежный звон сережек овса и шелест долгоусого жита. Тайный ропот осин, шум берёзовых косм, что росли под их окнами. Полакомиться яблоками, морковью, огурцами, брюквой, горохом, бабуном – всем, что рождала родная земля. Вдоволь выспаться на свежем душистом сене и погулять на деревенских праздниках.

В их же доме под одной четырёхскатной крышей, крытой дранкой, уже успевшей за свой долгий век почернеть, но в другую избу, двух-оконную, по правую сторону от низенького в две ступени крылечка, почти каждое лето приезжала старшая дочь Алексея Степановича Бикина, Мария Алексеевна, по мужу Виноградова. Стройная, красивая и обаятельная, она украшала собой деревню, как будто новое солнышко, тёплое, лучистое среди людей появилось. С ней приезжали её дети – Нина, Тамара и маленький мальчик Вова. Настоящие городские дети – стройные, худенькие, воспитанные, общительные, все в белом и в белых носочках-чулочках.

– А Мария-то красивая. Ой, какая красавица – глаз не отведёшь! – говорили бабы у колодца. Она и мне, десяти-двенадцатилетнему мальчишке, тоже очень нравилась. И я искал с ней встречи – хоть бы чуток на неё взглянуть!

Справлялись соседки у Натальи:

– Скоро ли Мария-то придет? Поди, соскучилась она по родителям-то, по деревне-то? – к самому не обращались, боялись.

– Уж больно он груб, Алексей-то Степанович! Ещё отругает или ба-лаболками нас назовёт! – сторонились его бабы.

– Мария-то с мальчиком на руках, словно Богородица, на нас гля-дит. Уж больно красивая и умница. Дурного слова не скажет никому. Всё спокойно и ласково!

Много гостей соберется, деревня становится праздничной и ве-сёлой. Идёт приятное и, надо сказать, полезное общение горожан с земляками-крестьянами. Да и в поле-то работа спорилась. Гости наши брали в руки косы, грабли, серпы, а то и лопату с заступом, как будто они и в городе не жилали. В деревне люди привыкли к ним и каждое лето их ожидали.

И вот, наконец, в воскресный день привёз Алексей Степанович дорогих гостей от Бежецкого вокзала, приехавших с ленинградским поездом. И дотащились до Жарков по каменному большаку, потом через Чёрную, по мягкой земляной просёлочной дороге, через ши-рокое поле льна на старенькой гневой лошадке и на стареньком одре с высокими решётчатыми пятами.

Понукает старую лошадку Алексей Степанович, везёт к себе в гости старшую дочь Марию с детьми – Нину, Тамару и маленького Вову. Рядом с ними вторая его дочь Таня. Две сестры наглядеться друг на друга не могут. И всё разговоры, воспоминания.

– А вот и Мальчиха! Шумит под ветерком, и листочки её как будто переливаются. И птичий гомон оттуда слышится. Скоро и за грибами пойдём, за дикими розами, – высказала свою мечту Ниночка.

– А вот справа – видите, дети, – Выгорда зелёная, травой мягкой цветущей стелется. И скоро зазвенят на ней косы стальные.

– А помните, дети, заруцкую мельницу однокрылую? Вот уже и крыши Жарков видны над морем спелой ржи.

Воскресный день в деревне всегда был как праздник, а приезд гостей в этот день был праздник вдвойне.

Женщины подходили к Марии, разговаривали с ней, стоя перед до-мом. Каждой хотелось поздороваться с ней, поздравить с приездом её и детишек, перекинуться словом. Мария Алексеевна говорила с ними скромно, задушевно, с уважением к ним, не чувствуя превосходства над ними, крестьянками.

В конце двадцатых и в начале тридцатых годов она приезжала в Жарки ежегодно в летние месяцы. Сначала с одной девочкой Ниной,

потом с двумя – с Ниной и Тamarой. После у неё уже появился маленький мальчик Вова. И целое лето они жили у родителей, украшая собой всю деревню. Они дышали с нами одним воздухом.

У неё был мужем чудесный человек Георгий Матвеевич Виноградов. На лице через правую щеку он носил чёрную повязку. При встрече в Москве Василий Васильевич Бикин, двоюродный брат Марии Алексеевны, очень высоко отозвался о Георгии Матвеевиче: тот занимал какой-то высокий государственный пост в Ленинграде. При мне он дважды приезжал в Жарки.

После отъезда из деревни бывшего председателя колхоза «Новая жизнь» Александра Соколова наши колхозники избрали новым председателем колхоза Алексея Степановича Бикина. Мой старший брат Ваня работал счетоводом. Дочь Алексея Степановича Таня не так давно мне рассказала, что её отец очень любил Ваню и высоко ценил его за его честность, трудолюбие и знание дела.

В октябре 1941 года при обороне Ленинграда погиб наш Ваня. В декабре 1941 года умер Алексей Степанович Бикин. Под неприглядной внешностью в нём было благородное сердце крестьянина-труженика, сердце доброе и сострадательное к людям.

Мария Алексеевна

После смерти отца в тридцатом году, а матери в тридцать третьем я учился в Бежецке, в фабрично-заводской семилетке. Жил у крёстной матери Неворотиной Марии Степановны, на летние и зимние каникулы возвращался в Жарки и жил со старшим братом Иваном. У него уже была своя семья. Наш Петя тоже жил с ним.

С июня 1930 года наша семья была принята в колхоз. И мне надо было зарабатывать хлеб для себя на трудодни. Приходилось выполнять самую разнообразную работу, благо отец научил меня трудиться, в том числе пасти одному по ночам колхозных лошадей в ближней Мальчихе. В нашей деревне давно уже не было нанимаемого со стороны пастуха.

Каждый раз вечером после того, как пригонят стадо, я отправлялся в Мальчиху. Я чувствовал себя взрослым и не видел в этом беды. Так надо было!

Я был одет в домотканый старый, с большим полукруглым воротником, серый отцовский армяк, длинные полы которого тянулись по мокрой росистой траве.

Идя вдоль деревни и от дома Басовых, мимо дома Платоновых, через площадку, на которой играли в лапту, городки, в шар-бабу, а ещё раньше водили хороводы, и издали я замечаю, что возле Бикина дома, под его белыми окнами, под ветвями высоких белоствольных берёз, в белом, гуляет с детьми Мария Алексеевна Бикина. Во мне появляется робость, а идти к лошадям надо, и надо пройти мимо их дома. Желание увидеть её придает мне силы и уверенность.

И я иду, завернутый в старую хламиду, в старой поношенной кепке, большой козырёк которой сломан пополам и всё время спускается на глаза. Мне стыдно за мой пастушеский наряд, но я иду через площадку за Платоновым домом, мимо двора Василия Бикина, скотного двора, мимо душистого тополя. Иду и не свожу с неё глаз. Она – как изваяние светлое на фоне потемневших бревенчатых стен давно уж не новых изб. Стоит, не шевелясь, как Богоматерь с сыном на руках, под полукруглым навесом крыльца, на площадке в две ступеньки.

Мария Алексеевна опустила маленького мальчика на пол крылечка, придерживая его за плечики обнажёнными пластичными руками, немного повернула свою прекрасную голову в мою сторону, и мне кажется, что она ожидает меня. Я подхожу к ней ближе, и меня охватывает внутренний трепет. Я радуюсь, что снова вижу её, её красоту, её одухотворённое лицо, её чудную по форме голову, покрытую гладко причесанными волосами, заплетёнными в косу, свитую в тугой клубок на затылке. Её высокая шея в красивом движении, в лёгком повороте держит она свою голову. Я снова вижу её глаза. Я хотел бы их видеть все время, всю жизнь! И нет у меня слов, чтобы выразить всю их притягательную силу! Какая божественная форма носа с закруглённым кончиком. Вправо и влево от него над серо-голубыми глазами разлетелись темно-русые брови. Над ними – высокий чистый лоб. Губы её похожи на нежный и строгий цветок. Поравнявшись с ней, я сказал ей «Здравствуйте!» И от смущения пытался быстрее уйти к ночному табуну.

Мария Алексеевна спокойным, мелодичным грудным голосом, который всё время хочется слышать, ответила мне:

– Здравствуй, Коля!

Больше она не сказала ни слова и ни о чём не расспрашивала. Она только смотрела на меня своими большими всё понимающими глазами. Она как будто спрашивала меня: «Ну, как? Трудно?» И я чувствовал её душевную поддержку. После встречи с ней я чувствовал себя счастливым, ободрённым, уверенным в себе и в своем будущем.

И, уходя в тёмную ночь, уходя вдаль от родной деревни, в непроходимые кусты, в осиновые и ольховые заросли, к полчищам прожорливых комаров, в сырой туман, в холодную росу, в глухомань, где много было жути, где пугающие звуки ночного филина, где на Чёрной речке ревел водопад могучий, я уносил с собой её необыкновенно милый образ, равный образу Беатриче. И до сих пор горит во мне неугасимым пламенем огонь памяти о любимой женщине, о русской красавице из Жарков. Позднее, когда меня привлекали девушки, в каждой из них я искал её черты. Мне хотелось в них видеть её обаяние и слышать чарующий голос её.

PS. В 1971 году в городе Калинин – в древней Твери 20 февраля стараниями художников А.И. Садиковой и Е.Д. Святогорова была организована персональная выставка моих творческих работ.

После моего отъезда в Киев Мария Алексеевна Виноградова (Бикина), эвакуированная с детьми из осаждённого Ленинграда в дни Великой Отечественной войны и проживавшая в городе Калинин, посетила мою выставку, была приятно удивлена и обрадована ею. К великому моему сожалению, я не смог с ней встретиться. Мы только обменялись с ней письмами. Такова судьба.

Часть II

Это было в тридцатом



Накануне

Наступил тридцатый год. Трещали крещенские морозы. Снежные метели и вьюги намели сугробы, подобные огромным застывшим морским волнам. Остриём своим смотрели в наши окна, упирались в крыши крестьянских изб, житниц, овинов. По ночам снег засыпал двери, ворота и калитки домов. Было трудно выйти из избы на волю, за водой до колодца. Ограды полей и загард потонули в снежных заносах.

Утром надо идти в школу в Горни, а через сугроб не перелезешь. Он в два-три раза выше моего роста. Старший брат, на скорую руку, сделал проход в сугробе вроде лесенки, по которой можно выбраться наверх, словно из сухого колодца – из пустого пространства, образованного стенами домов и изогнутой снизу вверх, как у крутой волны, стеной сугроба. А там, наверху, снежная пустыня, как будто скатерть белая накрыла землю, спрятав все дороги и тропинки, нависла над избами, дворами, сараями, повисла над изгородами и на кронах деревьев, образуя удивительные, белые, неповторимые кружева. Только непоседливые сороки на вершинах кольев изгороди машут чёрными хвостами, да каркает ворона, пролетая над деревней. Колышет утренние сизые дымки над крышами домов холодный ветерок.

За воротами околицы белым-бело, и небо слилось с землёю. Только чернеют вдали ветряная мельница, маленькая кузница, отдельные овины да полузанесённые снегом горнинские задворки.

Тёмными цветными силуэтами растянулась по белому полю целая вереница мальчишек и девчонок, идущих в школу. Тяжело идти. Ноги вязнут и ползут в рыхлом снегу назад. Лица у всех раскрасневшиеся. Растрепались во все стороны тёмные и светло-русые волосы. Незабудками горят глазёнки, а губы блестят, словно вишенки, и руки спрятаны в рукава. Школьные сумки, сшитые из грубого серого холста, в виде обыкновенной торбы, в каких дают овёс лошадям, наполненные учебниками, папиросной или обёрточной бумагой вместо тетрадей, грифельными досками и другой детской всячиной, переместились с боков на живот, бьют по ногам и ещё больше затрудняют движение.

Утром, после метели, от каждой избы летели большие комья белого снега. Это хозяева расчищают подъезды ко двору, прорывали тропинки, похожие на глубокие траншеи, до колодцев и соседей.

А берёзы, что стоят под окнами нашего дома, утонули в глубоком снегу, и ветер чуть-чуть шевелит их длинные посеребрённые инеем ветки. Воздух чист. Легко дышится. Над нами холодное голубое небо. И светит солнце, яркое солнце. А деревья, словно невесты, стоят по деревне, покрытые бело-розовым инеем с голубым сиянием неба. И стоят наши избы в золотисто-соломенных запеледках, словно в праздничных лисьих шубах, украшенные серебристой паутинкой инея или запорошенные снежком и обнесёнными высокими белыми сугробами, как крепостными стенами.

Мне часто приходилось помогать старшему брату откидывать снег. От работы становилось жарко. Щёки горят. Рубашка на спине мокрая. Стоять нельзя – замёрзнешь. Но я любил эту работу и всегда испытывал радость от неё. И даже тогда, когда вьюга сыплет пригоршнями мне снег за воротник, когда он забивает глаза, нос, уши, а пальцы в рукавицах коченеют от холода, всё равно я любил эту работу и нашу русскую снежную зиму, с катаньем на санках, на льдом подмороженных козлах и на самодельных лыжах, на лошадях в широкую Масленицу – в санях-розвальнях или лёгких беговых фигурных санках, в настоящей сбруе с блестящими бляхами, яркими, цветными, вплетёнными в хвост и в гриву, с расписной дугой с колокольчиком, со звонкою гармошкою и с песней удалою. Сколько было зимой радости!

Иногда снегу столько наметёт, что сани проезжали высоко от земли, на уровне окон нашего высокого дома. Вязли глубоко лошади. Кричали от досады мужики.

– А как же соломушку-то привезти для подстилки скоту во двор? Ан до овина-то и не дойдёшь по глубокому снегу! Да и на лошадке с санями-то не проедешь – застрянешь, и лошадь-то измучаешь, а солома-то далеко в омете лежит под снегом возле овина. Хорошо тому, кто по осени её привёз про запас к своему двору. Беда! Придётся из запеледки солому-то брать, дак самому-то будет холодно – хоть плачь! – плохо нерасторопному мужику-то.

А вместе с морозами и вьюгами, снежными заносами, словно предвестниками весны, новой, доселе неизведанной жизни, шагала по стране коллективизация.

Идёт и ширится неотвратимо во все концы от западных границ до Сахалина, от кромки Баренцева моря до горячих круч Афганистана. Не избежишь! Словно катится огромный вал, от которого нет спасения – или примешь, или сломаешься. Во главе этого движения стоит несокрушимая партия большевиков.

Как обычно, в зимнее время, в голубые сумерки собираются деревенские мужики человек по пять-шесть у кого-нибудь из своих товарищей в избе в поседки, со своим ремеслом: кто лапти плести из льняных верёвок, кто старые валенки подплетать, а кто верёвки сучить из льняной кудели на сучильне, а заодно и новостями поделиться, или просто повидаться и за компанию покурить.

На этот раз они пришли в избу к Александру Соколову, участнику гражданской войны. Жил он с женой, краснощёкой, миловидной пышногрудой, Дуней, с маленькой доченькой Ниной и со старенькой матерью, всё бледное лицо которой было покрыто мелкими и длинными морщинками, словно вспаханное поле. В старой, низенькой избушке, с посеребрённой и потемневшей от времени дранью крытой четырёхскатной крышей, с белыми низкими окнами, заставленными горшками душистой герани, с небольшим палисадником под окнами, на красном посаде, второй дом от края, в сторону Горней, рядом с Мякошиными (Бусиными).

Первая их доченька Валя, чудная девочка лет шести, умерла от скарлатины. Она мне очень нравилась. Её бледное личико, украшенное белыми цветами душистой черёмухи, спокойно лежало в деревянном гробике. Скорбно провожали её односельчане. Женщины углами головных платков утирали слёзы печали. Мужики, сняв свои картузы, молча постояли возле неё.

А ещё я помню, как к Александру Ефимовичу Соколову приезжал его родной меньшой брат Василий Ефимович из Бежецка, тоже участник гражданской войны. Высокий, стройный, в длинной серой шинели, в тёмно-серой с синеватым оттенком будёновке со звездой, с блестящими шпорами на сапогах, на светло-карем коне под жёлтым кожаным седлом, как древнерусский витязь.

Я во все глаза смотрел на него, на его высокого, стройного, подтянутого коня. Он не был похож на наших деревенских лошадей с обвислыми, словно бочки, животами. Как мне тогда хотелось быть таким всадником и иметь такого красивого коня! Я мечтал стать кавалеристом. Также носить саблю на боку, надевать длинную шинель с будёновкой и рубить шашкой врагов революции. А привязанный конь под жёлтым седлом спокойно не стоял. Он мотал головой, жевал удила и рыл землю коваными копытами.

Люди говорили тогда, что Василий работает чекистом в ОГПУ. Но я не знал и не понимал, что это такое. Я верил этому человеку. И сквозь всю свою жизнь сохранил к нему глубокое уважение. Много,

очень много лет прошло, вдруг я вновь встретился с ним в Бежецке, но уже с глубоким стариком. Поговорили. Вспомнили деревню Жарки, наших крестьян и моего отца. У него по-прежнему горел орлиный взгляд.

Вот сидят мужики по лавкам да по скамейкам, смолят и смолят сигарку за сигаркой, отставив своё ремесло. Коптят потолок и бревенчатые стены, золотисто-коричневые да щелястые от старости, с тараканами и клопами, и передают друг другу свежие новости.

Делились они новостями, привезёнными с горнинской мельницы, где мололи рожь на муку, с горнинской кузницы, куда водили ковать лошадей, с бежецкого базара, куда ездили торговать овсом, из Сулеги, с маслобойни, где из льняного семени били ароматное льняное масло.

Приносили новости и из сельского совета, из Градницкого погоста, из других деревень, от родственников, от знакомых крестьян из Высоки, Высочка, Евлева, Пылей, Борискова, Хотены, Воронихи, Заручья и других деревень. Узнавали и от случайного путника, который мог что-то рассказать о коллективизации. При постройке дома наши мужики ездили в далёкое село Поречье за брёвнами. Оно от нас в верстах тридцати будет. Так, бывало, и оттуда привозили новости о колхозном движении и о других крестьянских делах. Могли им верить и не верить, но они давали им пищу для ума, для разговоров, пересудов и споров.

Попадали в нашу деревню и газеты. Некоторые наши крестьяне в базарный день, будучи в Бежецке, покупали их, а мой отец выписывал газеты «Известия» и «Бежецкую жизнь». А газету «Правда», журналы «Крокодил», «Красную новь» покупал в городе. Мне очень нравились эти журналы, и особенно «Крокодил» с острыми, выразительными рисунками художников Моора, Черемных, Дени. Невозможно забыть сатирические рисунки, портреты десяти министров-капиталистов Временного правительства. А из журнала «Красная новь» помню фото-репродукцию к рассказу Ивана Бунина. На ней был изображён белым силуэтом на фоне тёмного леса удивительно прекрасных пропорций и пластичных движений молодой белый конь арабской породы, с гордо поднятой головой и с пристальным взглядом на нас, свободно гуляющий по белому снегу. Вот он и стоит передо мной как символ свободы.

Поздним вечером, когда наша семья уже спит, папа, прикрыв огонь на настольной лампы, долго засиживается над газетами и журналами. Ему до всего было дело. Да и у нас нередко мужики устраивали поседки со своим ремеслом.



*Родители художника:
Родин Алексей Степанович,
Родина Анна Степановна,
сын Ваня. 1912 г.
Фотограф П.М. Дружинин*



*Семья художника:
отец, мать, сыновья Ваня,
Николай, Пётр.
1925 г. Фотограф
П.М. Дружинин*



*Дядя художника
и его крёстный отец
Панов Пётр Степанович
и его жена Анна Михайловна.
Дер. Заручье*



*Дом пятистенков, в котором родился художник.
1925 г. Фотограф П.М. Дружнин*



*Храм Святой Троицы . Село Градницы. 1794 г. постройки.
Фотограф неизвестен*



*Бригада №2 колхоза «Новая жизнь». 1934 г.
Фотограф В.М. Филин*

*Сергей Николаевич Неворотин.
«В канун нового 1932 г.,
после болезни, возвращаясь из
больницы, в голодовку был
схвачен беспризорниками
и убит за городом»*



*Родная тётя Неворотина
Мария Степановна.
«До революции жила
в Москве. Работала
горничной у заводчика
по отливке
церковных колоколов»*

Справка.

Настоящим свидетельствую, что ученик батейской Н.С.Ш. №2 Родин Николай, имея природные способности и любовь к графическим занятиям - особенно к рисованию, благодаря дисциплинированности и выдержке, к систематической упорной работе (что очень ценно и не часто встречается) - оказал хорошие успехи в рисовании и черчении и имеет горячее желание совершенствоваться еще в области графических искусств по окончании нашей школы.

Способствуя желанию Родина Н. - утилизировать свои природные способности, я, учитель изобразительных искусств Бей. Н.С.Ш. №2, прошу Дирекцию Ярославского Художественного техникума, в случае большого конкурса при испытании - при равной оценке знаний и навыков с другими поступающими, - отдать предпочтение в приеме техникума - Родину Н.



исполн. зав. худ. отдел. Костенко И.
10/5 - 1935 г.

принд. Костенко И.
10/5 1935 г.

Рекомендация учителя изобразительного искусства
И.М. Костенко для поступления Николая Родина
в Ярославский художественный техникум. 1935 г.



Киевский государственный художественный институт. 1949 г.



В мастерской. Работа над женским портретом. 1971 г.



*В мастерской над своими
замыслами. 1971 г.*



*В мастерской у офортного
станка. 1971 г.*



*На фоне картины «За Советскую власть». 1974 г.
«Работа подарена Бежецкому музею,
но её так никто и не увидел»*



В мастерской. 1976 г. «Каждый Божий день в трудах»



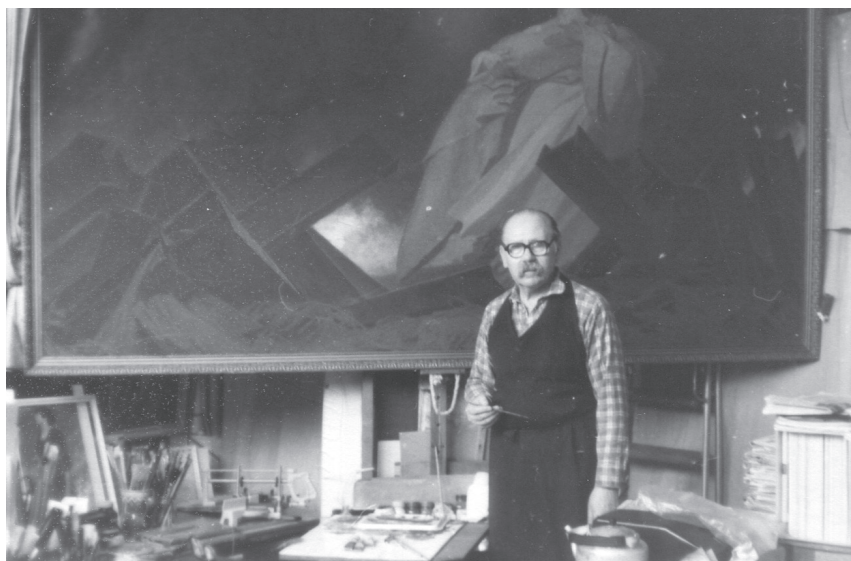
Бежецк. С семьёй Г.М. Синицына. 1978 г.



Бежецк. Гостиница «Ленок». 1978 г.



В мастерской за гравировальным станком. 1980 г.



В мастерской. Работа над картиной «В тяжёлый час». 1989 г.



*Киев. За рабочим столом.
90-е годы*



*Киев. В мастерской возле
портретов, посвящённых
А.С. Пушкину. 2001 г.*



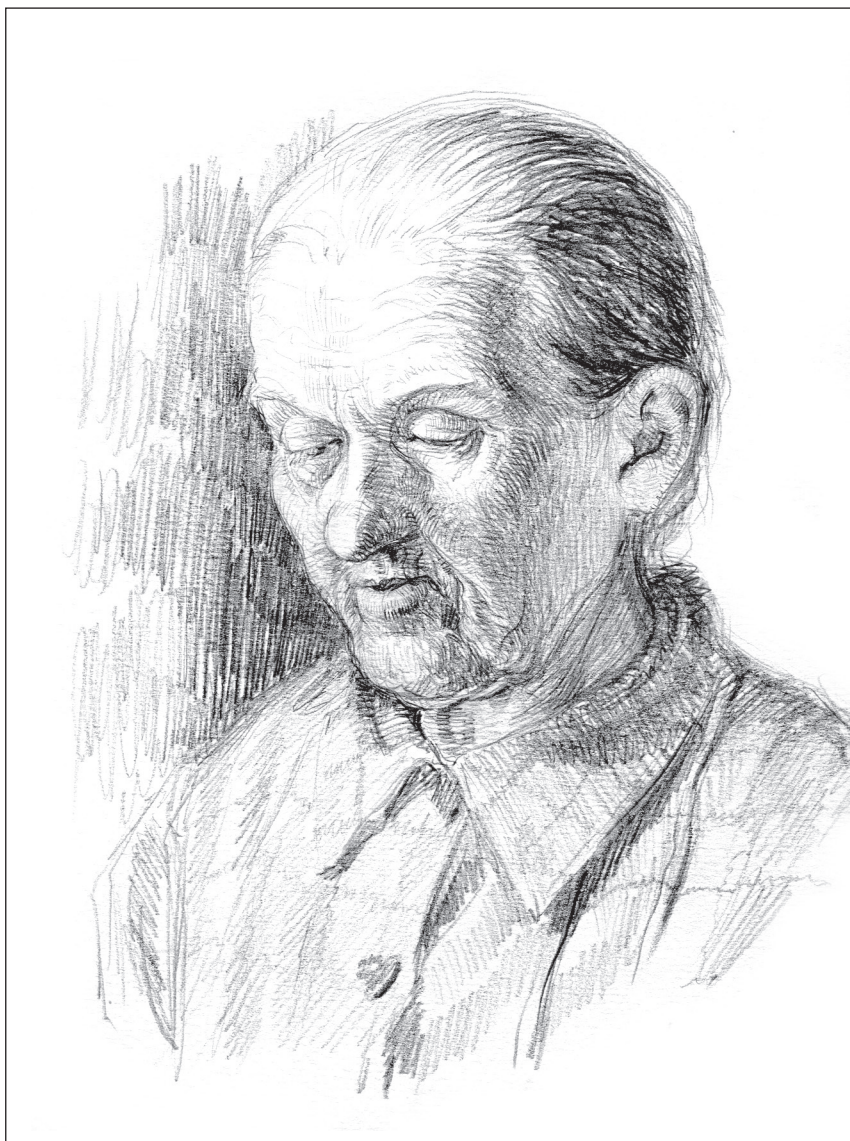
Киев. Ботанический сад. 2000 г.



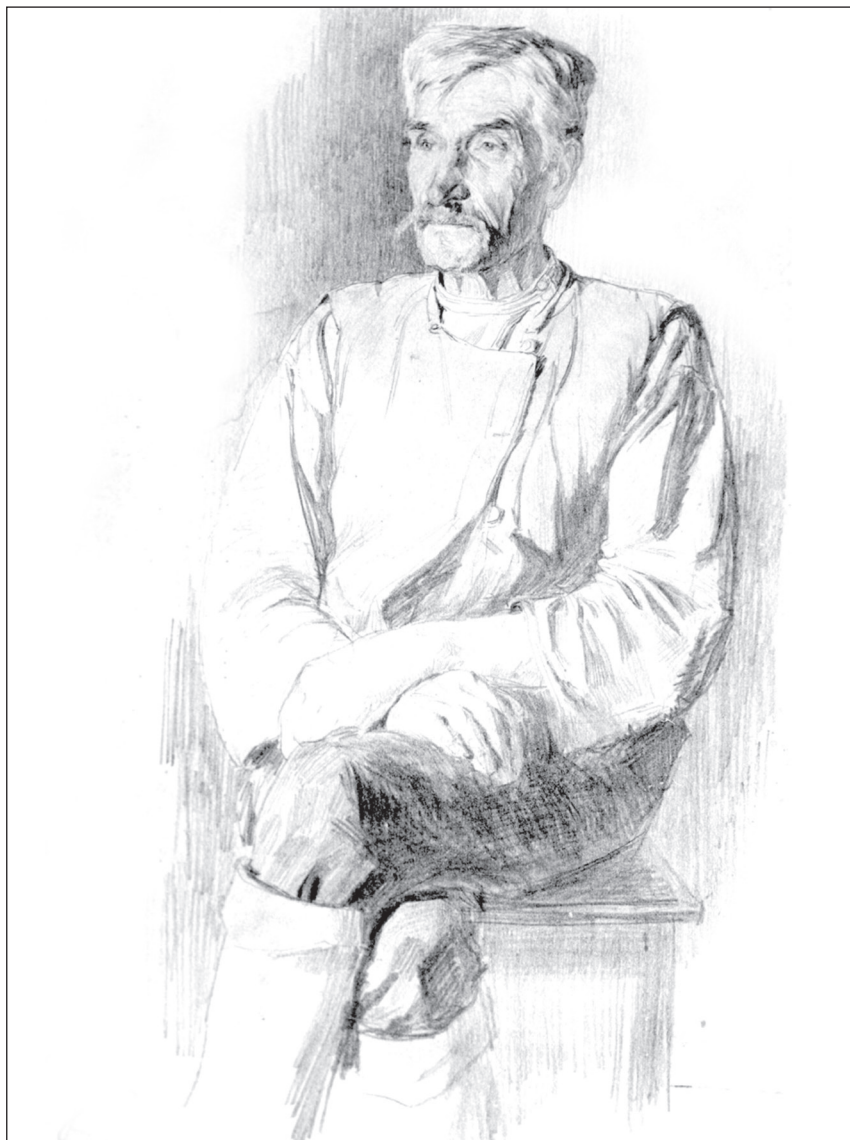
Киев. День Победы. 2002 г.



*Портрет Неворотиной Марии Степановны.
Бежецк. 1947 г. Офорт*



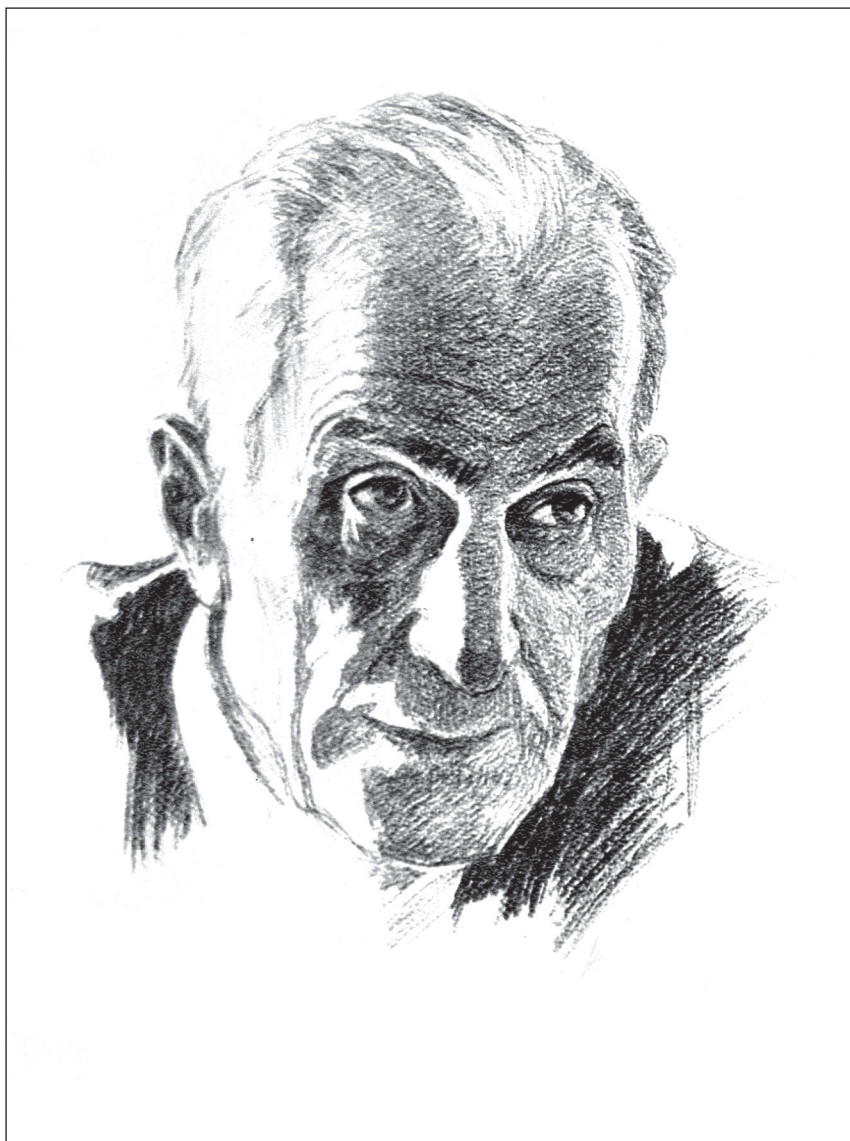
*Портрет Неворотиной Марии Степановны.
Бежецк. 1947 г. Карандаш*



*Портрет Чумакова Сергея Андрияновича.
Бежецк. 1951 г. Карандаш*



*Портрет Волковой Марии Степановны.
Учитель истории средней школы Бежецка.
Уроженка дер. Жарки. 1978 г. Карандаш*



*Портрет Гурушкина Николая Ильича – двоюродного брата
художника. Бежецк. 1978 г. Карандаш*



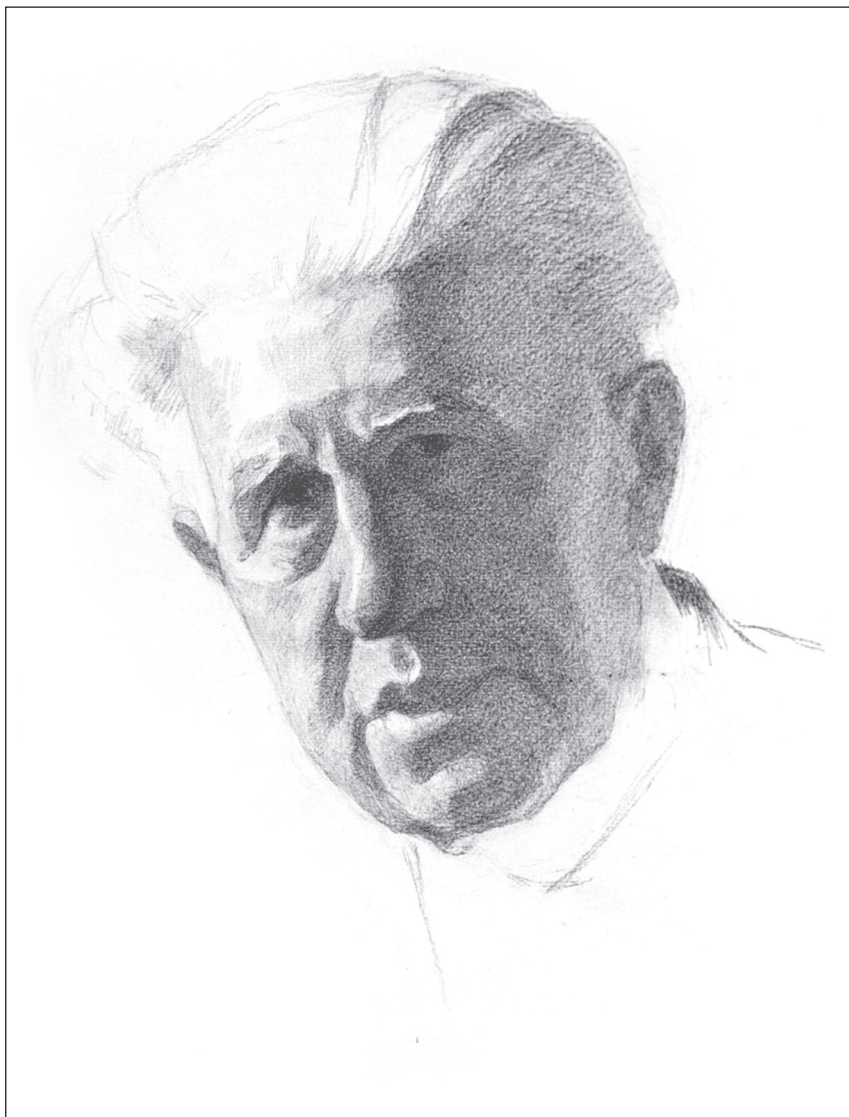
*Портрет Гурушкиной Прасковьи – тёти художника.
Бежецк. 1951 г. Карандаш*



*Портрет Синыцына Георгия Михайловича.
Бежецк. Карандаш*



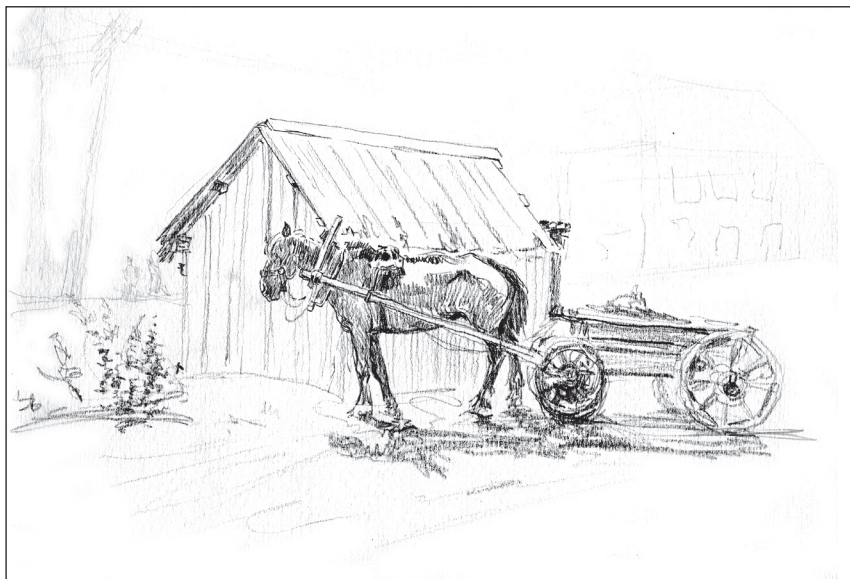
*Портрет Синицыной Антонины Павловны.
Бежецк. Карандаш*



*Портрет художника и музыканта
Кузнецова Михаила Ивановича. Бежецк. 1978 г. Карандаш*

Бежецкие зарисовки. 1949 г.







Вот и идут к нам мужики друг за другом. Под ними грозно скрипят морозные ступеньки на крыльце. Они обообьют ноги веником от снега и входят в избу. Сначала в чулан. Разденутся. Заходят в комнату:

– Здравия желаем! Добрый вечер Вам! Здравствуйте!

Вместе с ними в избу входит и морозный воздух с улицы. Свежо становится в избе. Иногда человек десять соберётся. Все лавки, скамейки, стулья будут заняты.

Сначала все оглядываются, смотрят на развешенные по стенам картины-репродукции под стеклом, иконы, семейные фотографии в чёрных рамочках, сделанные руками отца. Не пропустят и попытаются прочесть отцову грамоту, написанную каллиграфическим почерком, выданную за участие в сельскохозяйственной выставке. Но больше всего они смотрят на два больших портрета Михаила Ивановича Калинина, что висели рядом на переборке из тонкого, золотистого от времени, хорошо отстроганного тёса. Правый портрет – Михаил Иванович в белой рубашке с узким галстуком, в пиджаке со значком члена ВЦИК, очень представительный. На левом портрете показана только одна крупная голова, как будто она по контуру из фотографии вырезана и наклеена на белую бумагу. Непослушные волосы спереди падают вниз широкой прядью с чуть наклонённой вниз головы и закрывают часть лба и глаза. Вот над этим портретом наши мужики всё время, любя его, подтрунивали:

– Наверное, Михаил-то Иванович, после похмелья. Поди-чай у него и голова-то болит.

И по-дружески посмеивались над ним. Но они его уважали и любили.

– Это наш, Михаил-то Иванович! Наш!

– Наш Калинин!

На первом портрете Михаила Ивановича вставлена за рамку под стеклом маленькая фотография, чуть больше почтовой открытки, с портретом Петра Алексеевича Кропоткина.

– Алексей Степанович! А кто это у тебя за рамкой-то сидит на портрете Калинина-то? Уж больно бородастый-то он, как бог Савооф! – спросил отца Степан Никитич Арапков.

– Этот? – отец рукой показал на фотографию. – О, это Пётр Алексеевич Кропоткин, революционер, великий учёный. Он даже в Петропавловке сидел. Бежал. Сам-то он из дворян будет.

– Во как! Из дворян, говоришь. Видно, мужик-то с умом! – отозвался Василий Павлович Чурбанов, – борода-то, как лопата!

– Вона! С какими людьми ты знаешься, Степаныч! – широко улыбаясь, заметил Степан Никитыч.

– Слышь ли! Интересный же ты мужик, как я погляжу, Алексей Степанович! Ведь ни у кого из нас в избах-то не висят портреты таких людей, как Калинин или Кропоткин. А у тебя висят! Ведь это что-то значит! И где же ты всему научился? – с глубоким уважением к отцу отзывался дядя Вася Чурбанов, – и почему мы так мало знаем?

Мы с Петей с полатай слушали все разговоры наших мужиков. Лежали мы тихо, притаясь, чтобы они думали, что мы спим. Тогда они всё, что хотели, говорили без стеснения. Слушали мы, как наш отец читал крестьянам интересные книги, которые Ваня приносил из Градницкой библиотеки-читальни, газетные статьи, которые мужики горячо обсуждали. Иногда под монотонное чтение отца мы и засыпали, но громкий разговор крестьян будил нас, и нередко до нас долетали незнакомые нам слова: «колхоз», «коллективизация», «мелиорация». Бывало, эти беседы доходили до громкого спора, а заканчивались эти поседки пением любимых песен. Мужики много знали народных и революционных песен, да и петь они умели. Но мне из всех песен больше всего понравилась песня про буров. Кто они и где они, эти буры, живут? Я тогда этого не знал, но песня о них крепко врезалась в мою память, и я всю жизнь ношу её в себе. Очень часто хотелось мне вновь услышать эту песню.

В тот вечер эту песню вёл своим изумительным бархатным басом крестьянин-охотник Сергей Андриянович Чумаков. Он жил со своей семьёй в старенькой избе недалеко от нас, через дом, за избой нашего соседа Якова Тяпилова, в сторону Горней. Она тоже низко опускалась окнами к земле. С левой стороны избы, в сторону Рябинкиных, находилось низенькое, на тонких столбиках, примитивное крылечко без перил, с лесенкой в две ступеньки. Огород его загарды резко отличался от вех крестьянских огородов и состоял из наклонных, близко поставленных друг к другу кольев, который отделял от соседей зелёный, словно бархатный, участок луговины, в центре которого пышно, изумительно красиво цвели единственные в нашей деревне, а быть может и в нашей округе, необычайно высокие цветы мальвы, а вокруг них стояли жёлтые, оранжевые, голубые пчелиные домики с жужжащими пчёлами. В его избе на тёмно-коричневой, бревенчатой, тёсаной старой стене висело двуствольное воронёное ружьё. А возле полатай над потолком – чучело, серый сокол с широко расправленными крыльями. Он держал правой лапой крупное яйцо, нагнув к нему свою хищную

голову. Когда мне приходилось бывать у них, я не спускал глаз с этой удивительной птицы. Формы её, пропорции и общее движение птицы были прекрасными.

Дядя Сергей сидел на лавке, в простенке между окнами, под зеркалом, в своей длинной распахнутой шубной телогрейке, положив ногу на ногу. Его выразительную голову, покрытую густой шапкой иссиня-чёрных волос, и характерные вытянутые формы его лица освещала тусклым, красновато-жёлтым светом висевшая под потолком керосиновая лампа. Светотень чётко лепила его форму. Орлиные брови казались ещё шире и гуще. Руки с толстыми натруженными пальцами лежали крест-накрест на колене и держали дымящуюся «козью ножку».

Справа от него, напротив окна, сидел, согнувшись в пояснице и облокотившись руками на свои колени, с сигаркою возле самых пожелтевших ногтей, Степан Никитич Арапков, а слева – Василий Чурбанов, в чёрной жилетке и серой рубаше навывпуск. За столом, рядом, привалившись к косяку окна, сидел Николай Никифоров, блестя золотистой бородкой, с короткими усами, в тёмно-красной рубаше, с оранжево-красным лицом. В самом красном углу, под большой иконой Спаса Нерукотворного, сидел «гаршиновский глухарь», дядя Василий Платонов, родом из деревни Пыли, взошедший в дом Матрёны Платоновой и принявший её фамилию. Чтобы услышать разговор, он часто подставлял ладонь к правому уху. Он казался таким маленьким, щупленьким в сравнении с большой головой Христа. В тени падающей от абажура висящей под потолком лампы он казался каким-то зеленоватым. Рядом с ним, на скамейке за столом вдоль боковой стены красновато-золотистого оттенка, под настенным календарём и дешёвыми под стеклом иконами, сидел мой отец, с большими светло-русыми усами, в старой, зеленовато-охристой, суконной, с красноватыми бликами от лампы, гимнастёрке. Он только что закончил читать, сворачивает газету и вместе с книгой кладёт на середину стола. Сразу же возле дверного проёма в переборке сидит ко мне спиной Илья Поликарпович Румянцев. На его сократовском черепе широко блестит желтовато-оранжевым отсветом лысина, и тусклые блики светятся на скуле, кончике усов и на всклокоченной густой бороде с левой стороны. Вся его сгорбленная фигура казалась мне с полатей тёмным, коричневатым, неопределённой формы пятном. Он часто кашлял. А там, за Румянцевым, справа и слева я ничего не видел, а только знал, что там сидит дядя Василий Рябинкин, Николай

Шелков, дядя Гриша Федин, дедушка Василий Карпов. Может быть, и ещё кто-то был, но я просто не помню. Ещё тогда приходил дядя Николай Мареев.

Мужики устали от напряжённого внимания за отцовским чтением, от разговоров и горячих споров. Им нужна какая-то разрядка. Все зашевелились. Курящие взялись за махорку, хотя в нашей маленькой избе от табачного дыма и так тесно, хоть топор вешай.

– Мужики! А не спеть ли нам песню? – распрямившись в пояснице, в широкой улыбке оглядев всех, словно заранее испрашивая согласия на свою идею, предложил Степан Никитич.

– Слыш ли, давайте споёмте! – поддержал дядя Вася Чурбанов.

– Давайте Трансвааль! – предложил дядя Николай Никифоров. – Запевай, Сергей Андриянович! У тебя хорошо получается. – хотя и Николай Никифорович тоже был отменным мастером петь песни.

Все мужики оживились и как будто внутренне собрались к чему-то большому и важному делу. Все приосанились и как будто помолодели.

Сергей Андриянович немного подождал, как бы собираясь с силами, глубоко кашлянул и сильно, мужественным голосом, запел:

– Трансвааль, Трансвааль, страна моя – эти первые звуки меня поразили. Каждое слово строки, исполненное глубоким басом, как удары колокола-набата, оповещающего людей о несчастье, гудели в нашей маленькой избе. Мурашки забегали по спине. Потом певец словно раздвинул рамки звучания своего удивительного голоса, а хор крестьян усилил его звучание, и передо мной звучит новая строка:

– Ты вся горишь в огне! – красота очаровательного голоса вызвала в моём воображении море полыхающего огня. Становилось жарко, страшно. Всё горит. Мечутся люди. И тут же певец, изменив тембр своего голоса, задумшевно поёт:

*Под деревцом развесистым
Задумчив бур сидел.*

Кажется, что в буре заключается огромная народная сила, которая вот-вот вырвется, встанет и постоит за себя. И дальше дядя Сергей спокойно, как будто сам спрашивает Бура:

*О чём, о чём задумался, детина.
О чём горюешь, седина?*

*Горюю я по Родине,
И жаль мне край родной.*

Поразительно! По щекам мужиков катятся слёзы. Я закрываюсь одеялом и начинаю рыдать. Ведь эта песня так нам всем близка. Ещё так свежи в сердцах крестьян воспоминания о гражданской войне. Прошло всего каких-нибудь восемь-десять лет, как оттремели бои Красной Армии с белогвардейскими полчищами и интервенцией. С великим напряжением поётся эта песня крестьянами. Становится жарко. А в голосе певца звучит отеческая гордость и твёрдо, звонко бас поёт:

*Сынов всех девять у меня
Троих уж нет в живых,
А за свободу борются
Шесть юных остальных.
А старший сын, старик седой,
Убит был на войне,
Он без молитвы, без креста
Зарыт в сырой земле.*

Этот весь куплет Сергей Андриянович пропел ровно, как молитву, как эпитафию, как надгробный плач. Сжимается сердце от пения дяди Сергея и хора крестьян. И дальше, искренне и нежно, с тревогой:

*А младший сын, двенадцать лет,
Просился на войну.
Но я сказал, что нет, нет, нет –
Малютку не возьму.
Отец, отец, возьми меня
С собою на войну –
Я жертвую за Родину
Младую жизнь свою.*

Как близки эти слова нам, бывшим солдатам Великой Отечественной войны. Среди нас было очень много юных бойцов, да и мне тогда был двадцать один год. Были подростки и дети. Многие из них погибли в неравном бою. А некоторые из них, жертвую своей жизнью во имя победы над фашизмом, бросались на вражеские амбразуры дотов.

Следующий куплет он поёт спокойно, как будто бывалый солдат рассказывает о простом боевом эпизоде:

*Однажды при сражении
Отбит был наш обоз,
Малютка на позицию
Ползком патрон принёс.*

И в последнем куплете бас звучит в тембре, близком набату, как в первом, проникновенно, тревожно и с болью:

*Настал, настал тревожный час
Для Родины моей,
Молитесь вы, женщины,
За ваших сыновей!*

Эти последние две строки дядя Сергей поёт дважды. Впечатление от песни было сильное. У присутствующих крестьян на лицах были слёзы. У некоторых дрожали губы. А мы с Петей плакали под одеялом. Песня хватала за сердце.

Когда все успокоились после песни, Степан Никитич Арапков сказал:

– Слушай, Сергей Андриянович! Я в Питере-то долго жил. Ещё мальчишкой туда уехал. До девятьсот пятого года. Приходилось мне певцов-то слушать. И много. Но так, как ты поёшь, право не вру, я там никогда не слыхивал. Уж больно хорошо!

– Да! Хороша песня! Нечего сказать. У нас петь умеют! – затянувшись махоркой, сквозь дым подтвердил Илья Поликарпович.

– Слышь ли! Что можно сказать? Ничего не скажешь – здорово! – ответил Василий Чурбанов и начал махать сучильней.

Это были удивительные вечера. На них я много узнавал, и мне казалось, что им не будет конца.

Но иногда отец заранее приносил из морозного прируба граммофон с пластинками, чтобы его просушить и вечером проиграть для мужиков интересные грамзаписи. Больше всего заводили русские народные песни: «Было дело под Полтавой», «Казнь Степана Разина», «Из-за острова на стрежень». Играли вальс «На сопках Маньчжурии» или «Марш лейб-гвардии Преображенского полка». Ещё крестьяне очень любили песню «Не слышно шума городского». Она и мне очень

нравилась. Кроме этих записей, проигрывались и другие. Много их было у отца. Слушая с самозабвением звучание граммофона, некоторые крестьяне воспринимали его как диво, как чудо. Шутка ли сказать, чёрный круг на ящике крутится. Над ним словно куриная голова, адаптер с иголкой на блестящей кривой трубке, похожей на куриную шею. И вдруг из большой гранёной красной трубы, которая соединялась с этой куриной шеей, вылетает громкий бас Фёдора Шаляпина. «...Мы в море родились – умрём на море!» – гремел могучий, неповторимый шаляпинский бас, сливаясь с изумительным звучанием морского прибора музыки композитора Н.А. Римского-Корсакова. Это действительно было диво!

У Соколовых молчали, молчали мужики, занятые курением и своими волновавшими их думами, и вдруг всем на удивление зазвучал голос:

– Вона! Какое длинное слово-то, что и не выговоришь: кол-лек-ти-ви-за-ция! А вот вы скажите-ка мне, что такое кол-лек-ти-ви-за-ция? – сидя в куртке на скамейке под полатями, согнувшись в пояснице, всё в той же синей рубаше в полоску, в которой косили сено летом, и в серо-фиолетовой телогрейке, облокотившись тощими, старческими руками на колени, ни на кого не глядя, как бы рассуждая сам с собой, спросил своих товарищей дядя Илья Румянцев. Помедлив, продолжал:

– Да ведь такого слова даже в священном писании нету, и о коллективизации и, как его, о колхозе-то там ничего не сказано. Как это понимать? А ведь Библия-то не врёт!

И, затаившись махорочкой из самосада, пуская густой синеватый дым, добавил:

– Она предсказывает!

Наступила пауза. Никто не мог сказать в ответ Илье Поликарповичу своего суждения. Да и кто же мог ему ответить, если собрались-то малограмотные мужики. Да они и Библии-то близко не видели. Только сверчок за печкой в тёмном углу надоедливо напевал свою песню. Да и тараканы поглядывали из щелей, шевеля длинными усами. Тикают ходики на стене. К подтянутым вверх гилям из жёлтой меди привязан поржавевший болт, чтобы часы не отставали. Коптит подвешенная под низким потолком с потемневшим стареньким голубоватым абажуром керосиновая лампа, давая людям тусклый красноватый свет. В углу, в божнице, поблескивают потемневшим позолоченным окладом старые иконы. На печи храпит бабушка, старая мать Александра Ефимовича, а его жена, Авдотья-свет, с дочкой

на бабьих посиделках лён прядут и крестьянские песни поют. Она-то уж больно была мастерица петь песни.

После длительного молчания засуетился сосед по скамейке Ильи Поликарповича:

– Слышь-ли! Я вот Библию-то не читал. А слышать – слышал. Знаю, о чём там написано. А вот как мы жить-то будем без твоей Библии-то? Вот это вопрос! Это дело сурьёзное! Как бы промашки не дать нам! – оглядываясь по сторонам, высказался дядя Вася Чурбанов, с золотистой русой в мелких колечках бородкой, скручивая новую «козью ножку».

– Но ведь в газетах-то написано: будем жить и работать сообща, коллективно. А колхоз – это коллективное хозяйство. Скот, инвентарь, кони – всё будет обобществлено. Всё будет собственностью колхоза. И сараи, и житницы, и молотилки, и овины – всё будет колхозное, – авторитетно пояснил хозяин избы Александр Ефимович, докуривая городскую папиросу марки «Пушка», от которой плыл приятный ароматный запах, не то что махорочный дым.

– Слышь ли! Да мало ли что пишут в газетах-то. Ты послушай, что люди говорят. Они ведь не дураки! Дело-то знают и знают, как живут люди-то, «взошвшие в колхоз-то». Оно метишки мужики оттудова, вроде бы из Поречья говорили нам, что там, недалеко от них, в одной деревне, забрали всё зерно у крестьян и ничего не оставили. Мужики сказали, что будут выдавать хлеб всем поровну, на каждого едока. Ну, а я не знаю, может кое-кто и спрятал про запас, на всякий случай, узелок-другой. Бог их знает! А напались люди, которые сожгли житницу-то, весь хлеб сгорел. Народ-то и остался без хлеба! Во как! А ты говоришь. Га-зе-ты! – с досадой закончил Василий Чурбанов и тут же потянулся за кисетом. Быстро свернул новую махорочную закрутку, дважды крепко затянулся, а потом, вроде спохватившись, ещё добавил:

– Слышь ли! Да вот, в прошлое воскресенье, на базаре, мужики рассказывали, что в деревне Старые Горностаи собранный крестьянский хлеб в колхозных амбарах отравили. Не зная об этом, начальство колхоза и выдало зерно-то нуждающимся. Люди-то и отравились. Приезжали следователи. Нашли виновных-то. Судить будут, а людей-то не воскресишь! Их на погост отвезли. Вот так! – резко закончил Чурбанов.

– Это дело классового врага – кулака и подкулачника. С ними надо бороться. Их надо уничтожать! – с запалом ответил Александр Соколов, сматывая на сучильню скрученную из кудели верёвку.

– Этта! Ты, Александр, скажи, а как же мы будем работать-то, землю обрабатывать? – молвил слово Сергей Андриянович Чумаков, затягивая верёвку на подошве почти готового лаптя.

– Да, будут пахать сообща. Распахнут межи между полосами. Полосы сравняют. Будет одно ровное поле. Сей на нём, что хочешь, и сорняков будет меньше, и насекомых-вредителей поубавится, – ответил Александр Ефимович.

– А как сообща работать-то? Как сообща косить, жать, пахать? А как будут урожай делить? Всем поровну? Мы-то знаем, кто и как работает. Один вваливает так, что у него рубаха мокрая, а другой из себя лодыря корчит, в кустах лежит да своё брюхо на солнышке греет или с бутылкой нянчится. Дак что, тому и другому будут поровну давать хлеба-то? Нет! Так я не согласен! Кто же будет на лодырей и пьяниц работать!? Так-то ваш колхоз быстро-быстро развалится. Нет уж! Надо подождать. Надо хорошенько подумать. Это дело новое, неопробованное. Незачем голову-то в петлю совать раньше времени. Успеем! – с жаром и нетерпением высказался, дымя старой, с коротким мундштуком, трубочкой, горбоносый Василий Матвеевич Рябинкин.

– Полно-те, ребята! Кто же в нашей деревне за бутылку-то держится? Все работают одинаково. Все в меру своих сил трудится. Надо только дружно жить, – облизывая языком свои губы, сказал Николай Никифоров, как всегда, в своей любимой красно-коричневой рубахе под чёрной жилеткой, которая так гармонично сочеталась с его густорыжими волосами на голове, левой рукой поглаживая свои короткие щетинистые рыжие усы.

– Да. Да! Мы работать не боимся! Нам бы только харч хороший был. Мы готовы и в колхоз, и в коммуны, всё равно, куда хочешь! Хотя завтра, хоть сейчас, пожалуйста, записывай! Хе-хе-хе! – тоном шутника высказался дядя Вася Бикин, вдовец, с кучей маленьких ребятишек, оставшихся после смерти жены, тётки Анны, высокой, полной и доброй женщины, скончавшейся в Москве в больнице на операционном столе. – А я сейчас выпиваю немного. Это верно. Так это же с горя! – Он отвернулся, смахнув рукавом набежавшую слезу, и как-то сразу сник. Тяжело ему было, и он ещё больше спрятался в угол, куда не достигал свет лампы. Он был высоким. Внешне, да пожалуй, и внутренне он был более похож на интеллигента, чем на крестьянина.

Вдохнули мужики. Наверное, каждый сумел поставить себя на его место. Поэтому, наверное, они так снисходительно к нему относились.

– Не горюй, Василий Степанович! Мы всем миром тебе поможем. В беде не оставим! – сказал мой отец, отложив в сторону свою сучильню, и так же неторопливо продолжал:

– А я вот думаю ещё о том, братцы, что и в колхозе-то, наверное, можно будет жить и работать, и детей растить. Только надо будет купить трактор, и общине-то это дело будет по силам. И хорошо бы ещё купить культиватор, сеялки и другой инвентарь. На наших-то землях можно хорошие урожаи собирать! – наш отец высказал свою давнюю мечту. Недаром в нашей избе, в чёрной рамке его собственного изготовления, под стеклом, висела грамота, выданная ему за участие в сельскохозяйственной выставке в Бежецке. С целью обменяться опытом отец ездил на опытную сельскохозяйственную станцию, которая располагалась в Подобино, что в десяти верстах от Бежецка, в сторону Сонково. А в прирубе, в его шкафах, лежало много книг и брошюр по совместной обработке земли, о зерновых культурах, о льноводстве, животноводстве, о сельскохозяйственных машинах. Был у него даже каталог сельскохозяйственных машин иностранных фирм. Были брошюры о пчеловодстве, овцеводстве, травосеянии, о мелиорации. Вместе с ними лежали и другие, очень интересные для меня книги.

– Мужики! – прищунив хитровато спрятанные где-то в уголках припухших век свои маленькие серо-голубые глаза и расплываясь в широкой улыбке, обратился к народу Степан Никитич Арапков. Он всегда прежде чем что-либо сказать, тем более смешное, сначала хитро заулыбается, потом засмеётся и сквозь свой собственный смех продолжает высказывать свою мысль:

– А он, говорят мужики-то, что в колхозе-то все будут спать под одним общим одеялом. Неужели правда так и будет? – и дядя Степан продолжает трясись от собственного смеха.

– Ну и натура! Вот характер! Стёпа никогда не унывает. Ему всё нипочём. – Заметил вполголоса Василий Рябинкин.

– А может быть, и жён своих обобществим и сведём их на общий двор? – Кто-то сострил под общий смех. Но людям было не до смеха. Короткая вспышка его быстро погасла.

– Ну, Степан! Какие могут быть шутки? Дело-то ведь тут больно большое. Шутка ли, всю Россию перевернуть. На другие рельсы поставить. Тут надо много ума и воли. Ведь тут можно и дров навалить, что долгие годы будешь затылок чесать, а вспять не повернёшь. Что же нас ждёт, ежели мы встанем на этот новый путь-то? – не спеша, своим глуховатым голосом, с чувством заботы о будущем сказал

сосед Степана Никитича, бывший путиловский рабочий, Николай Александрович Мареев, обладающий огромной физической силой в молодости, когда работал многие годы до революции котельщиком на Путиловском заводе, клеая заклёпки на паровых котлах вместе со Степаном Арапковым, Василием Платоновым и Василием Бусиным. Все они познали жизнь и труд питерского рабочего, а после революции вернулись на землю своих предков и вновь стали пахать землю, благо их жёны и дети жили и трудились в деревне.

Но не все вернулись к родным землям в Жарки. Арсений Чумаков, родной брат Василия Павловича Чурбанова и Василий Бусин так и остались жить в Петрограде – после 1924 года Ленинграде. Их облик приобрёл черты ленинградского рабочего. Арсений обладал большой внутренней культурой. С ним было приятно встретиться и поговорить. Какая-то великая чистота исходила из всего его внешнего и внутреннего облика. А его жена, тётка Настасья, высокая, сильная и мужественная женщина, украшенная оспинками на лице, жила в деревне со своими детьми – Татьяной, Марией и Мишей. Пахала, сеяла и жала, молотила и мяла лён. Дядя Арсений приезжал в Жарки только в летний отпуск и помогал семье в полевых работах. Раньше они жили в очень плохонькой избушке в промежутке между домом дедушки Семёона Липатова и стареньким домиком в два окна слева, Василия Бусина. Это были самые ветхие избёнки в деревне. Только к тридцатому году Арсений Чумаков построил большой дом-пятистенок с балконом, в середине деревни, на красном посаде. Высокий, обширный дом звенел золотом сосны, как деревянный дворец на фоне серых старых изб Михаила Тяпилова, Алексея Бусина, Григория Федина. Позднее Василий Бусин тоже построил на том же месте новую, светлую, уже в три окна, высокую избу. У дяди Василия не было детей. Его жена Марья Кошиха, как величали её в деревне, одна управлялась со своим хозяйством. Держала корову, телёнка, овец, кур и, конечно, имела лошадь, на которой пахала, сеяла и убирала урожай. Василий Александрович приезжал из Ленинграда тоже только в летний отпуск. Я его мало видел и мало знал. А тётка Марья очень любила детей и нас, мальчишек и девчонок, тепло привечала. Угощала нас разными городскими сладостями. Показывала нам маленькие городские сувениры-безделушки, которые мы с большим любопытством и подолгу рассматривали.

Сначала начал говорить Илья Поликарпович:

– Вот ты говоришь, Александр Ефимович, что в колхозе будут бригады, бригадир, который будет назначать членов бригады на ту или иную работу. И как же теперь будет? Ведь я, как каждый крестьянин, был хозяином на своей земле. Хозяин знал, что с ней надо делать – как пахать, как удобрять и что сеять, как убирать. Он за эту землю сердцем страдал и от неё хорошего урожая ждал. А теперь что будет? Хозяина-то не будет! Для каждого мужика земля-то будет «не моя», а «чужая», «не своя». Раньше мы вставали с восходом солнышка, спешили в поле, к своей полоске, потому что каждый знал, что ему делать. А теперь? Теперь-от он в колхозе-то не пойдёт в поле с солнышком-то, у него уже душа не болит к «своей» полоске-то потому, что теперь поле будет общим, «не его» полоска-то. И он будет ждать, покуда бригадир не стукнет палкой ему в окошко и крикнет: «Эй, Иван, иди пахать или жито убирать». И он не бегом побежит в поле-то, не-ет, а вразвалочку пойдёт да в кустах подольше постоит. Так что же можно ждать от колхозной-то жизни? – С досады дядя Илья сильно закашлялся, потом в сердцах плюнул на пол, растёр плевок по полу старым, подплетенным валенком и тихо добавил:

– Беда, да и только!

Он всё так же, ни на кого не глядя, всё так же согнувшись в пояснице и опираясь на колени своими изработанными руками, дымил своей махоркой.

Долго молча курили мужики. Никто не решался после Поликарпыча что либо сказать. И вновь не выдержал Василий Чурбанов.

– Слышь ли! Братцы! А я вот всё тут сижу, слушаю да и думаю о колхозе-то. И что-то мне думается, так это, наверное, хуже-то не будет, чем мы есть. Может быть, надо идти? Миром-то как-нибудь сладим, осилим. Да, хуже-то, наверное, не будет!? А то ведь можно и промашку дать. А? Как вы думаете?

– Да! Ты прав, Николай Александрович! Поспешность и необдуманность в этом великом деле может принести неисчислимые бедствия и лишения, – сказал наш отец.

Началась коллективизация и в нашей округе. Тут, совсем близко. Почти рядом. Во многих знакомых деревнях крестьяне, вступившие в колхозы, сводят в один общий двор лошадей, коров. Собирают бороны, плуги и другой инвентарь в один сарай, на который вешают колхозный замок. А бабы охают да ахают!

Грызёт червь сомнения человеческие души. Не даёт им покоя ни днём, ни ночью:

– Да что это такое?

– Да как же жить-то будем?

– Да как же мы расстанемся со своим добром-то, что своим горбом нажили?

– Не пришлось бы идти по миру, да собирать куски в котомку.

– Ведь мы только жить-то начали! Дети наши подросли, управляться стали.

– Да как же быть?

– Идти али не идти?

Но мудрые крестьяне говорили:

– Поживём – увидим! Не такое видавали!

Как-то тихо стало у нас в деревне. Люди говорят почти шепотом. Как будто они кого-то боятся, собираются в кучки, оглядываются. Чувствуется какая-то настороженность, какое-то болезненное ожидание неизвестного, неприятного, неотвратимого. Женщины больше собираются возле обледелых колодцев. Лёдаросло на срубках чуть ли не в аршин толщиной. Под ногами тоже лёд. Скользко! Опасно и к колодцу подойти.

Стоят женщины одетые в тёплые истасканные шали Бог весть какого цвета, полушубки на них. В старых, с заплатами или обгорелыми голенищами валенках. Кто уже с поднятой водой в деревянных шайках или в старых железных вёдрах, затянутых тонким ледком. Другие с порожними котлами.

Стоят они, как монументы, тёмными, коричневато-чёрными силуэтами, чуть ли не в скорбном молчании на фоне сумеречного голубоватого снега и синеватой морозной горнинской дали. Скупы их жесты и движения. Разговаривают они вполголоса, небольшими, короткими фразами. День клонится в густые сумерки.

– Здравствуйте, бабы! – звонким голосом приветствовала собравшихся женщин, нарушив их зацепенелую беседу, подошедшая Домна Дементьевна Румянцева. Десиха! И тут же громко задала всем вопрос:

– А где наши мужики-то? Почему они до сих пор лёд на колодцах не срубили? Неужели у них руки поотсыхали? – Серdito, насупив брови, высказалась Десиха и вместе с этим внесла живую струю в среду собравшихся женщин.

– Домна Дементьевна! Им сейчас не до колодцев. У них у всех головы-то болят от этих колхозов-то. Они все как один с ума посходили. Ходят из угла в угол, всё считают да прикидывают: так али не так. Он мой-то только и твердит да руками разводит: вступать али не вступать? Вступишь – плохо, а останешься – не возрадуешься! Сам не свой ходит, – сказала вполголоса и головой покачала Пелагея Рябинкина.

– А когда к нам, в Жарки-то придут, в колхозы-то загонять? – спросила Анна Мякошина, как её звали в деревне, а по бумагам Бусина.

Я ещё раньше краем уха слышал, что её муж умер от тифа ещё в девятнадцатом году. Вдова вырастила трёх дочерей и двух сыновей. Они жили в крайнем, синевато-серебристом от времени и солнца доме, рядом с Соколовым и большими воротцами околицы, закрывающими дорогу в широкое поле, к Горням.

– Полно тебе, Анна! Не загонять придут, а приглашать будут нас в колхоз-то. Это дело добровольное: хочешь – иди, а не хочешь – не ходи. Насильно загонять не будут! – Отпарировала тётка Домна. – А когда придут? Бог их знает! Бают, в Горнях-то уже были. Наверное, скоро и к нам явятся, – поджав губы, закончила Дементьевна.

– А как же теперь жить-то будем, когда корову-то уведут? Чем детишек-то кормить будем? – Сокрушённо задала вопрос Саша Трешина. По мужу Орлова.

У неё целая изба ребятишек, один одного меньше. Живут они напротив нас, через дорогу, рядом с Румянцевыми, в двух древних почерневших избах из очень толстых брёвен под одной горбатой двускатной соломенной крышей с большими тёмными дырами.

– Бабы! А говорят, что не все в колхозы-то идут. Некоторые упираются. А иные продают хозяйство-то и в город перебираются! – влезла в разговор Авдотья Тяпилова, небрежно повязанная толстым, с кистями, платком, так и не сумев закрыть свою тощую, длинную шею, сильно согнувшись в поясице, прикрыв её левой рукой, то ли от боли, то ли от холода.

– А кто твоё хозяйство-то купит? Кому эта гниль-то старая твоя нужна? – возразила Тяпилихе дородная, высокая, с чувством собственного достоинства, Анна Мякошина.

Это её искажённая девичья фамилия, а по-настоящему – Мякони-на, родом из деревни Сидорково. Она указала Авдотье на её старую, словно прихлопнутую сверху массивной соломенной крышей, избёнку в два красненьких оконца.

– Чай, колхоз-то будет всё новое строить? – не унималась Авдотья.

– Держи карман шире! Новое! Да за какие вши-то? – опять дерзко ответила Мякошиха.

– Дожили мы под старость-то до ручки! – подвела итог Тяпилиха.

– А оно метишки сказывали, что в Сандове, где-то там, далеко от нас, будто бы восстание мужиков-то было, – махая костлявой рукой в сторону Горней, шепотом говорит Авдотья Тяпилова, – не хотят в колхозы-то идти! Дак солдаты, как ево, чи красноармейцы, приехали – утихомирили!

– Да, ну? – хлопают бабы по бёдрам и оглядываются, ближе приближаясь к говорящей Авдотье, склонив свои головы с надвинутыми на лоб большими углами толстых платков, шалей, как будто большие птичьи головы, готовые и дальше слушать смутные вести.

Но Тяпилиха подробностей не знает, и её сообщение не воспринимается достоверным.

– Да это, наверное, враньё! – сомневается Анна Мякошина.

– И мне тоже не верится! – поддержала Десиха. – Слухов-то разных, ой, сколько ходит! Только уши развешивай! Сто коробов наберёшь! Дорогу мостить ими можно!

– Ан, бают мужики-то, что людей-то раскулачивают, отбирают богатство-то, а хозяев-то сгоняют с земли-то да в Сибирь, да в Соловки угоняют. Да! – с сожалением поведала Оксинья Арапкова.

– Да, ну? А кто такие кулаки-то? – чуть ли не в один голос удивились женщины.

– Да те, кто уж больно богато живёт! – ответила виновато Аксинья.

– А кто у нас в деревне богато-то живёт? – спросила у Авдотьи Домна Дементьевна.

– Ну, кто, кто? Да, наверное, Родины! У них и граммофон играет, и лошадь хорошая да красивая, и молотилка есть, и картины в рамах под стеклом висят по стенам-то. Я всегда, когда иду мимо их, люблюсь ихним домом-то. Уж больно красивый-то он! – ответила Аксинья, утирая кулаком свои губы.

– И Алексей-то у них всё по деревням-то ходит да всё стёкла в окна вставляет. Поди, денег-то много домой-то приносит. – Глядя заискивающе на баб, пискливо проговорила низенькая, подслеповатая Пелагея Филина.

– Да полноте, бабы! У него и Анна больная, и ребятишки малые. А их четверо. Да, потаскайте-ка вы на своём-то горбу этот ящик со стёклами-то, так узнаете, что такое богатство-то! – вступилась за нашего отца Марья Чумакова.

– Уж больно ты, Пелагея, любишь в чужом кармане деньги-то считать. У Алексея-то Родина руки золотые. За что ни возьмётся, всё сделает. Он может стул сделать, кастрюлю запаковать, в старое ведро новое дно вставить, замок починить и дом построить. А твой-то Журкало, – так прозвали крестьяне Михаила Филина, мужа Пелагеи, – несчастный, что может сделать? – поддержала Марью её сватья, Анна Михайловна Бусина-Мякошина. Её дочь Катя вышла за сына Марьи, за Ивана, и живут они в Ленинграде. Только на лето приезжают они в Жарки к своим родителям.

– Да, поди-ко ты, по весенней-то да по осенней-то грязище, по распутице-то, да походи-ко с тяжёлым-то ящиком, со стёклами-то. А руки-то на ветру с дождём-то как сжмут, разве ты не знаешь? Попробуй, отрежь стёклышко, да забей в раму гвоздичек, когда руки-то околеют! Небось, твой-то мужик на печи лежит, да своё пузо греет, а Родину-то, Алексею, некогда на боку лежать-то. Шесть ртов-те сядут за стол-то. Ведь чем-то накормить их надо. Да одежонку, обувь купить каждому надо. Да и Ваня-то у него уже парень! Надо и костюмчик, и пальтецо ражее купить ему. Без денег-то везде худенек! – с сердцем высказалась Домна Дементьевна.

– Нету у нас, бабы, кулаков-то! Все у нас люди трудящи. Все работают на себя! – спокойно сказала Мария Чумакова и попыталась подойти поближе к колодцу, чтобы вытащить пару вёдер войны. Но толстый круглый лёд на срубке, через который и до крюка-то с цепью на деревянном барабане не дотянешься, не даёт возможности достать желанную воду. Увидев такую несправедливость, тут же взорвалась тётка Домна:

– А ну, бабы! Гоните своих мужиков-то с топорами к колодцу, пусть лёд обрубят. Они совсем уж в мокрых куриц превратились. Я сейчас своих пригоню!

Бабы, разобрав свои вёдра, направились от колодца домой. Сгустились холодные зимние сумерки. Вскоре послышались звонкие удары топоров по льду. В разные стороны летели ледяные осколки. Был слышен мужской приглушённый голос. Двигались фигуры, словно тени, вокруг колодца. В избах зажигали керосиновые лампы. Вытянутые яркие светло-золотистые четырёхугольники света из освещённых окон ложились на тёмно-голубые снежные сугробы. Наступил зимний деревенский вечер.

Вдруг, в морозной тишине, в этот наступивший вечер под тёмно-синим куполом небес словно что-то взорвалось, звонкими брызгами вырвались в морозный воздух на свежий, тёмно-голубой покров яркие звуки гармошки. И понеслись они по деревне во все концы, зашуршали по соломе запелёдок, застучали в замороженные с фантастическим снежным лесом стёкла окон, по калиткам, по широким, по тесовым воротам, созывая молодёжь на девичью беседу.

Словно сполохом осветило всю деревню Созвездьем звуков полыхая, гармошка звонко залилась, парней на песню вызывая. Тревожа сердце молодое, бредя сердца у стариков! В такт гармошки, ватага молодых парней, весело и озорно, частушкой тешились своей:

*Эх, по деревне мы пройдем,
Приветки громко пропоём.
Собирайтесь, девчата,
На беседу к вам идём!*

*По деревне мы с гармошкой
Песен много мы споём.
Приходите к нам, девчата,
Мы всех замуж заберём!*

*Вы послушайте, ребята,
Что басы-то говорят.
Мне давно жениться надо,
Да родные не велят.*

*Хорошо гармонь играет,
Не тужите, тётушки.
Ваши дочери гуляют,
Спите без заботушки.*

*В том конце, на том посаде,
Окна заревом горят.
Наши девки там гуляют,
И про нас всё говорят.*

*Скоро, скоро нас забреют,
Во солдатушки возьмут.*

*В шинель серую оденут
И будёновку дадут.*

*Эх, солома, ты солома,
Яровая, белая.
Моя милка ходит быстро,
Словно лошадь пегая.*

*Эх, солома, ты солома,
Яровая, белая.
Ты скажи, моя подруга,
Что в сарае делала?*

– Я-то? Да вокруг корзины плясать училась! Ха-ха-ха! – Озорно, весело смеются парни, а гармошка звонко вторит, звуки бисером летят.

– Да у кого же нынче беседа-то? В каком конце, на каком посаде? Да, наверное, там, у кого ярче всех огонь горит. Где лампа в двадцать линий под потолком висит!

– Где пол дресвой да веником голиком добела вымыт!

– Где нарядные, с красной вышивкой и белыми кружевными концами висят чистые, белоснежные, длинные полотенца на иконах в красном углу, и на зеркале, в простенке между окнами!

– Где новый берёзовый веник приготовлен в сенях, чтобы валенки от снега обметать!

– Где в чулане на столе стоит, начищенный до яркого блеска кирпичной мелкой пылью жёлтой меди самовар!

– Там, где вдоль золотистых стен, на широких лавках, сидят девушки в ражих, нарядных платьях, с кудрями, завитыми кампасом, припудренные, с нарумяненными щёчками, с рукоделием в руках – всё приданое готовят: кто рубашку вышивает, а кто с прялицей нить тонкую прядёт, и все вполголоса песни и частушки задушевные поют про любовь, про свою мечту, про суженого. И струится их песнь, словно ручеек весенний журчит.

– Там, где на гостеприимной лавке кот-мурлыка гостей зазывает, лапкой мордочку моет и кончиком хвоста сторону указывает, откуда гости будут: из Горней, из Заручья, может быть, из Рыкулина, Раменья, Сгубова. Или из Высочка, Евлева, Пылей, Воронихи, Крутца.

Беседа девичья оказалась у Паши Ефимовой, в крайней избе, на том конце, что ближе к городу, на красном посаде и на берегу широкого пруда, напротив дедушки Липатова дома.

Лихо, с переборами, то по басам, то по высоким голосам заливается гармошка. Летят с улицы через окошки, через замороженные стёкла, голосистые частушки:

*В поле ветер, в поле снег,
Замело тропиночки.
Очень хочется увидеть
Глазки Ягодиночки!*

Чу! Девчата насторожились. Послышались звуки гармошки. Они всё ближе и ближе, громче и громче доносится с улицы в переполненную ярким светом, дивными девушками, многочисленными зрителями, песнями, озвученную крестьянскую избу.

Что за парни под окном? Чьи они? Откуда прибыли? В ответ раздаётся громкий стук каблуков по мороженым ступенькам старенького деревянного крылечка.

– Боже! К нам гости! – Девушки заторопились, засуетились, в простенке к зеркалу прильнули. Поправляют быстро кудри, пудрят лоб, погуще – нос, на щеках румяна трут. Платыца расправили и к встрече приготовились – все заулыбались, глазки заискрились, рукоделие своё снова в руки взяли.

И распахнулась настежь дверь! Вместе с морозным воздухом – куча молодых парней, с гармошкой, с улыбками, со скороговорками-прибаутками, притопывая ногами. В чёрных нарядных чёсанках с длинными голенищами, в чёрных галошах, а иные в простых серых валенках и даже, для форса в двадцатиградусный мороз, в кожаных сапогах с подковами на каблуках, блестя снежинками на шапках-чухонках хромовых с меховой опушкой и финках с козырьками, в заячьих ушанках. С раскрасневшимися лицами, с горящими глазами – шумно, весело вошли-ввалились в избу-матушку гости дорогие, долгожданные.

*Дроби, дроби, дроби, бей,
Ты сапожек не желей!
Ты почаще ножкой бей,
Целуй девок, не робей!*

Гости раздеваются, здороваются с девушками, знакомятся, шутят, смеются. Как прекрасно, как весело и радостно у всех на душе! И вот на средину избы выходит четверо бравых парней. Все, как витязи, на подбор: стройны, юны и красивы!

– А ну, гармонист! Сыграй-ка веселей нашу русскую кадрили! – Юноши с поклоном повернулись к девушкам, приглашая их на танец, а девушки смущаются, не спеша к парням приближаются. Нежные рукопожатия, шутки, взаимные улыбки. И вот уже танцоры встали, пара к паре против пары. Ухватившись за руки, левая с правой, чуть вытянутые вперёд, словно в нежный замок соединились руки молодых людей, а правой юноши поддерживают девушек за талию. Левая рука партнёрши, как цветок, как классическое изваяние, пластично и спокойно лежит на крепком плече юноши, светлым силуэтом на фоне чёрного костюма.

Для порядка гармонист бросил пальцы сверху вниз – звуки на пол кинул горстью, словно жемчуг в ноги гостю, словно розы на мороз. Видно гость пришёл как гость!

После гордого вступления гармониста полилась чарующая, народная, вековая мелодия танца и, как вешняя вода, по полу белому разлилась, поднялась выше берегов и через двери, через сени, сквозь дощатое крыльцо, умчалась далеко в даль.

Вот пары готовы. Руки партнёров вытянуты вперёд. Лёгкое прикосновение чувствуется в их фигурах, и при первом такте музыки парни громко топнули ногой и плавно пошли вперёд под звуки заводительной мелодии. Некоторые юноши, гордо подняв свои головы с устремлённым куда-то далеко вперёд взглядом, точно они увидели синюю птицу. А гармонист, склонив своё ухо к гармошке, закрыв глаза, душою песнь ведёт, сердцем с людьми разговаривает.

А девушки-то, девушки! Красота, да и только! Сколько в них прелести, нежности, простоты, искренности. Как они тихо, стройно, задумчиво подпевают в лад гармонике:

*По улице по той,
Ой, по широкой мостовой,
По широкой мостовой,
Шла девица за водой.
Да по широкой мостовой,
Шла девица за водой.*

А пары. Они встречаются на середине пола, обходит пара пару, кружатся вокруг своей оси, и тут же девушки оставляют партнёров и уходят на свои позиции. Парни остаются на середине пола, на месте и друг перед другом отчебучивают каблуками такие кренделя, что диву даёшься: откуда у них всё это берётся! А гармошка дальше и дальше ведёт свою сердечную мелодию:

*Шла девица за водой,
За холодной, ключевой.
Шла девица за водой,
За холодной, ключевой.*

После пляски юноши возвращаются к своим партнёрам, радостные, раскрасневшие. А у девушек глаза лучистые, улыбки обворожительные, волосы кудрями вьются, щёчки румянятся, а платья-то, платья-то колесом кружатся. А ножки-то, ножки-то! Так и мелькают в прекрасных туфельках. Красота! Любо-весело!

*За холодной, ключевой,
За ней парень молодой.
За холодной, ключевой,
Ой, за ней парень молодой.*

И снова рука в руке, третья на плече, четвёртая на талии, и понесли пара навстречу паре, до исходной второй пары. Там они кружатся, возвращаются на середину пола, пары расступаются, парни меняются партнёрами, тут же с ними кружатся, и вновь партнёры встречаются со своими девушками, и возвращаются на исходную позицию, и снова кружатся. Маленькая пауза. Приготовились – и снова в танец!

*За ней парень, точно барин,
Кричит: «Девица, стой!»
Да, за ней парень, точно барин,
Кричит: «Девица, стой!»*

Танцующие опять повторяют первый рисунок кадрили, но пляшут теперь на середине пола только девушки.

Молодые парни терпеливо стоят на своём месте и любуются необыкновенной дробью удивительных девичьих каблучков, как будто кто-то горстями бросает крупный горох на пол. Вот мастерицы! Все удивляются. А матери, матери-то радуются и восхищаются.

– Не думали, когда же они научились так красиво плясать! Неужели в сарае вокруг корзины с сеном! Ну, молодцы, девушки! Порадовали нас!

*Кричит: «Девница, постой!
Да расхороша, подожди!»
Кричит: «Девница, постой,
Ой, расхороша, подожди!*

*Расхороша, подожди,
Белы ручки подожди!
Да, расхороша, подожди,
Белы ручки подожди!*

*Подожди ручки к сердечку,
Пойдём вместе за водой!
Да подожди ручки к сердечку,
Пойдём вместе за водой!*

*Пойдём вместе за водой,
Веселее нам с тобой!
Пойдём вместе за водой,
Веселее нам с тобой!*

*Веселей идти, охотне,
Мы скорее с тобой сойдём!
Да веселей идти, охотне,
Мы скорей с тобой дойдём!»
«Уж ты, парень-паренёк,
Твой глупенький разумок!
Да уж ты, парень-паренёк,
Твой глупенький разумок!*

*Твой глупенький разумок,
Не кричи на весь народ!
Да твой глупенький разумок,
Не кричи на весь народ!*

*Не кричи на весь народ,
Мой батюшка у ворот!
Да не кричи на весь народ,
Мой батюшка у ворот!*

*Зовёт-манит в огород,
Чесноку-луку полоть!
Да, зовёт-манит в огород,
Чесноку-луку полоть!*

*Чесноку-луку полоть,
Часты гряды поливать!
Да, чесноку-луку полоть,
Часты гряды поливать!»*

На этом заканчивалась первая часть кадрили, и наступала маленькая минутная пауза. Партнёры поправляют свою одежду – одёргивают свои костюмы, платья, галстуки. Девушки руками нежно поправляют свои завитые кудри. Обмениваются шутками, углубляют знакомство и вдруг гармонист, тряхнув головой и склонив её на бочок, ухом ближе к гармошке, заиграл вторую часть кадрили – проходную, и наполнилась изба новой, чудной мелодией народного танца:

*Светит месяц, светит ясный,
Светит белая луна...*

Сидящие девушки, не участвующие в танце, с необыкновенной теплотой, с задушевностью подхватили эту песенку, и полилась она по избе, как журчащий ручёёк. А танцующие пары бодро, весело пошли вдоль избы, на позиции своих партнёров. Там они кружатся и снова возвращаются на свои исходные позиции. Девушки остаются на месте, а молодые люди ударились в пляс на середине пола, друг перед другом, удивляя друг друга и всех присутствующих новыми коленями и юношеским задором.

*Мне не спится, не ложится,
И сон меня не берёт.
Я сходил бы к Саше в гости,
Да не знаю, где живёт.*

*Я сходил бы к Саше в гости,
Да не знаю, где живёт.
Попросил бы я товарища,
Мой товарищ доведёт.*

*Попросил бы я товарища,
Мой товарищ доведёт.
Мой товарищ лучше, краше,
Боюсь, Сашу отобьёт.*

*Светит месяц, светит ясный,
Светит белая заря,
Осветила путь-дорожку
Вдоль до Сашина двора.*

*Подхожу я к Саше, к дому,
А у Саши нет огня.
Постучал я под окошком,
Моя Саша крепко спит.*

*«Стыдно, стыдно тебе, Саша,
Со вечера рано спать».
«А тебе, мой друг, стыднее
До полуночи гулять!»*

Вот уже и третья часть кадрили под музыку народной песни «Уж вы сени, мои сени». Она ещё более задорная. Вихрем кружатся пары. Перепляс удивляет всех. Танцующие раскраснелись. Все счастливы! И все подпевают гармошке:

*Уж вы сени, мои сени,
Сени новые мои,
Сени новые, кленовые,
Решётчатые!*

*Уж как знать-то мне по сенюшкам
Не хаживати,
Мне мила дружка за рученьку
Не важивати.*

Выходила молода
За новые ворота,
За новые, кленовые,
За решётчатые.

Выпускала сокола
Из правого рукава,
На полётике соколику
Наказывала:

«Ты лети, лети, сокол,
Высоко и далеко.
И высоко и далеко
На родиму сторону.

На родимой на сторонке
Грозен батюшка живёт,
Он грозен, грозен, грозен,
Да немилостивый.

Не пускает молодцу
Гулять вечером одну.
Я не слушаю отца,
Я потешу молодца.

Оттого его потешу,
Что один сын у отца.
Зовут Ванюшкою,
Пивоварушкою.
Зелено вино курил,
Красных девушек манил».
«Вы пожалуйста, девицы,
На пивоварню на мою!

На моей на пивоварне
Много пива и вина,
Хмельна брага, хмельна брага,
Хмельна брага сварена!»

*Оттого его потешу,
Что один сын у отца.
Уж вы сени, мои сени,
Сени новые мои,
Сени новые, кленовые,
Решётчатые!*

Веселье в разгаре. Идёт четвёртая кадрили. Гармонист вспотел. Ему жарко, но он не сдаётся. И снова задаёт тон:

*Во саду ли, в огороде
Девушка гуляла,
Она ростом невеличка,
Собой круглоличка.*

*За девушкой детинушка
Бел-кудрявый ходит,
Он и ходит, он и ходит,
Ничего не молвит.*

*«Что ты, молодец кудрявый,
Ко мне редко ходишь?»
«Ой, и рад бы я ходити,
Да нечем дарити.*

*Подарю тебе, милая,
Дорогим подарком,
Дорогим, душа, подарком,
Жемчугом, китайкой».*

*«Жемчугу я не хочу,
Китайки не надо,
Кого любишь, мил, то купишь
Золото колечко.*

*Золотое я колечко
Прижму ко сердечку».
«Ты носи, носи, милая,
Не теряй колечка,
Не теряй, душа, колечка,
Не суши сердечка».*

Окончена кадрили. Танцующие расходятся. Девушки благодарят кавалеров за танец, а они провожают девиц до скамеек и лавок, и в знак благодарности склоняют перед ними свою голову. Все довольны и радостны. Все танцоры отдыхают, разговаривают, шутят и смеются. Потом устраивают игры: жмурки, ручеёк, фанты, отгадывают загадки или любимые песни, поют хором.

И снова кадрили! Теперь на середину пола вышли другие пары. И снова повторяются знакомые нам мелодии.

Не один раз за вечер девушки или парни по двое выходят на середину избы и начинают плясать «Соломушку», нашу местную пляску. Во время пляски они поют частушки и даже сочиняют их на ходу, экспромтом, соревнуясь друг с другом, кто лучше споёт и спляшет. В частушках, в этих коротких песенках, можно услышать шутку, упрёк, насмешку. Подчас тонкую, умную, колючую, что её на всю жизнь запомнишь, а иногда и тонкий намёк.

Вот вышли на середину две барышни, как часто их уважительно называли пожилые женщины, – румяные, симпатичные, нарядные. Встали они друг перед другом на небольшом расстоянии. Все кругом притихли. В глазах у всех заискрилось любопытство. А гармонист?! Он, словно подбирая тон, не спеша прошёлся по басам, потом рванул с задором, с сердцем заиграл плясовую, да так, что у каждого затрепетало сердце. Трудно усидеть. Вот-вот выскочишь на середину пола в пляс. А первая юная девушка как-то выпрямилась – она такая стойкая, как берёзка в поле, – немного руки развела и, чуть головку приподняв, в такт музыке запела:

*Заиграли очень весело,
Заныло ретиво.
Ты не пой, моё ретивое,
Другая у него.*

И пошла она по кругу, каблучками рассыпая по белому деревянному полу мелкую дробь, оттянув юбочку в сторону левой рукой. Какая грация движения! Обойдя вокруг, девушка подошла к партнёрше, перед ней негромко топнула ногой, чуть наклонившись вперёд, и в стороны руками развела, как бы приглашая её к танцу, в её лицо взглянула с улыбкой и, танцуя, отошла назад.

Вторая барышня гордо вскинула свою красивую головку, обвела своим взором присутствующих и звонким голосом запела:

*Как давно я не плясала
Нашенской «Соломушки»,
Потому, что я живу
На чужой сторонушке.*

Потом танцующим незамысловатым шагом обошла круг по полу и, выйдя на середину его и отбивая каблучками дробь, подошла к подружке почти вплотную, топнув перед ней правой ногой, немного наклонившись, развела широко руками, вроде реверанса, приглашая её к продолжению танца, к продолжению поединка, и отошла на своё место, дав возможность продолжать соревнование первой девушке. Первую девушку звали Вале́й. Она, немного подождав и собравшись, сделав несколько движений ногами в такт гармошки, приятным голосом запела:

*Поиграйте, поиграйте,
Хорошо играет!
Своё горе веселите,
Моего не знаете.*

Так начался танцевальный поединок Вали и Шуры. Барышни плясали и пели, сменяя друг друга:

*Меня милый не целует
И не собирается,
А любовь без поцелуя
Строго воспрещается.*

*Погляжу я в ту сторонку,
Не идёт ли миленький,
А оттуда подувает
Ветерок уныленький.*

*Меня милый не целует,
Говорит потом, потом.
Сам на печке за трубой
Тренируется с котом.*

*Погляжу я в ту сторонку,
А оттуда никого!
Не глядят мои весёлые
Глаза ни на кого.*

Я-то милому своему
Сказала, как отрезала,
Ко мне пьяным не ходи,
Я люблю лишь трезвого.

Никому я не скажу,
Зачем на станцию хожу.
Провожая паровоз,
Который милого увёз.

Меня милый провожал,
Гармонь под пазухой держал.
До крылечка проводил,
Заиграл, пошёл один.

Получила письмецо
И сразу распечатала,
Упала карточка на лавочку,
Я и заплакала.

Мы с милёночком гуляли
И расстаться не могли.
Злые люди разлучили,
И пришёл конец любви.

Из далёка милый пишет
Мелкое писание,
Не тужи, моя родная,
Еду на свидание.

Мой залётка дорогой,
Проводи меня домой.
Сегодня ноченька темна,
Я боюсь идти одна.

Спасибо вам, спасибо вам,
Спасибо золотым рукам
Играли очень весело,
До самого до вечера.

*Поплясали, да и хватит,
Надо совесть поиметь.
У Вани рученьки устали,
Надо Ваню пожалеть.*

Поединок закончился. Все присутствующие, под впечатлением пляски и частушек, возбуждены. Кричат «браво!» и хлопают в ладоши. И под этот общий шум на середину пола, как две голубки, влетели две девицы: Нюша и Таня. Гармонист снова растянул меха гармошки, и эти девушки, друг перед другом, начали плясать, придумывая всё новые и новые колена. Снова полетели звонкие частушки:

*Ты моя подружка Нюша,
Давай поменяемся.
Ты с моим, а я с твоим
Вечерочек постоим.*

*Ты моя подружка Таня,
Я согласна на обмен.
Но мой милёнок, что телёнок,
Он боится перемен.*

*Дроля пляшет, дроля скачет,
Дроля песенки поёт.
Каждый день меня целует,
А вот замуж не берёт.*

*Дроля милый, дроля милый,
Дорогой милёночек.
Что меня ты не целуешь,
Как чужой телёночек.
Неужели ты всповянешь,
В поле аленький цветок.
Неужели ты забудешь,
Меня, миленький дружок.*

Мы, мальчишки, были вездесущими. Нам всё хотеть знать и всё хотелось видеть. Вот и теперь мы пришли на беседу. Сидим в заднем уголке под полатами и смотрим, как гуляют и веселятся наши старшие братья и сёстры. А я любил больше смотреть на стены, на убранство избы. Ведь все крестьяне жили по разному – по своим

вкусам, по своим духовным запросам и, конечно, по достатку. В каждой избе я находил для себя что-то интересное. Любил я очень смотреть на иконы. Как интересно они нарисованы! В каждой избе они были разными. И божницы в красном углу избы тоже были разные. У одних крестьян они были как архитектурные сооружения, а у других были только полочки, одна или две, на которые ставили небольшие иконки. В нашей избе вообще не было никакой божницы. Просто в углу висела в большой зеленовато-бронзовой раме репродукция иконы, наклеенная на картон, иконы «Нерукотворный образ Христа». Голова его была нарисована почти в два раза больше натуральной величины. Она нарисована выразительно, классически крепко, коричневатым цветом на тепло-охристом и охристо-зеленоватом фоне плащаницы. Лампады перед иконами у крестьян тоже были разными по форме, по цвету и по величине, а некоторые из них были очень интересными. Зажжённый огонёк в лампадочке преломлялся через рельефную форму стекла, и сквозь синий, зеленоватый, красный или фиолетовый цвет, и рождал множество изумительных по красоте оттенков цвета. Всё это меня очень радовало.

У многих крестьян, да почти у всех, на стенах висели, кроме икон, ещё семейные фотографии. Порой в самодельных, не изящных рамках, или просто наклеенные на обёрточную бумагу или газету. На них я видел много незнакомых мне людей в очень интересных, любопытных, старых костюмах, в каких люди давно не ходят. На этих памятных фотографиях были изображены отцы и деды, матери и бабушки наших пожилых крестьян, их близкие и дальние родственники. Все они сидели или стояли с чувством собственного достоинства, гордости и независимости. Среди них были и военные фотографии, на которых были запечатлены молодые люди, такие же, как и мы, с приятными, добродушными, мужественными лицами, с оружием в руках – длинными саблями, с винтовками и без оружия, в старинных ещё дореволюционных военных формах. Эти фотографии звали меня в прошлое, и я внимательно их рассматривал. Мне хотелось побыть среди этих людей, пожить с ними, узнать, как они жили, как воевали, о чём думали и о чём мечтали.

Я сижу и смотрю на картину в старой бронзовой раме на стене избы бедной вдовы, тётки Марьи Ефимовой, пока парни и девушки сидят по лавкам, мило разговаривают и мне не мешают, не заслоняют картину. У меня как-то не укладывается в голове: как могло случиться, что на старой, бревенчатой, топором тёсанной стене потемневшего

коричневато-золотистого цвета с широкими и глубокими тёмно-коричневыми пазами вдруг висит рядом с семейными фотографиями под стеклом и иконами, с потемневшими коричневыми ликами святых, с их красными одеждами и потускневшими окладами, кусочек городской культуры, чуть ли не в аршин длиной, – пейзаж в багетной бронзовой раме. На нём изображено замёрзшее и покрытое льдом со снегом озеро. На переднем плане – вмёрзшая носом в лёд старая, тёмно-коричневого цвета лодка, а дальше в глубину картины, справа, тёмный серо-фиолетовый сарай и розово-охристое, с морозной синевой, небо. Сколько зимнего настроения в этом пейзаже! Мне хочется всё время его видеть. Какой простой выразительный мотив! Какая простая композиция! Я его запомнил на всю жизнь, как хорошую песню. Меня ещё радует, что наши простые, бедные крестьяне, полуграмотные или совсем неграмотные, имели настоящий вкус. Это, конечно, не оригинал, написанный маслом, а всего лишь только цветная репродукция. Но всё равно она несла в себе большое эстетическое начало. Мне кажется, что автором этой картины был художник Каменев.

У дяди Алексея Степановича Бикина и его жены тётки Натальи были две дочери – красавица Мария, что жила в Ленинграде и Таня, такая же красавица, с большими серо-голубыми глазами, среднего роста и чуть-чуть старше меня. Она жила в деревне с матерью и отцом в небольшой избе в два окна под общей круглой, пирамидальной крышей с избой Василия Степановича, у которого изба была больше, в три окна, слева от крылечка. Я нередко бывал на беседе у Тани в их избе и видел у них под окном, рядом с божницей, небольшую цветную репродукцию с картины художника Василия Поленова. Эту картину я часто и подолгу рассматривал, и она мне очень нравилась.

А какие хорошие картины висят на жёлто-золотистых сосновых стенах прируба в доме-пятистенке Платоновых – Матрёны Васильевны и Василия Платоновича. То были, наверное, репродукции с цветных рисунков или цветные автолитографии – оригинальные оттиски в рамках под стеклом. Их дом стоял тогда, как гусь на пригорке, высоко в небо подняв свой гордый балкон. Он стоял как раз напротив низенькой избёнки Михаила Тяпилова, между золотистосоломенным двором Василия Бикина и между медно-сосновой избой Ивана Басова. Сам дядя Вася Платонов родом из деревни Пыли, а в Жарках он в примы вошёл к Матрёне Васильевне и принял её фамилию. Смолоду он работал котельщиком вместе с нашими му-

жиками на Путиловском заводе в Петрограде. После революции вернулся в Жарки потерявшим слух – он как будто явился прообразом «гаршиновского глухаря». Сам он невысокого роста, щупленький, с русыми усиками и голубыми глазами. Он всё время нюхает табачок из берестяной табакерки, как дедушка Семион Липатов, а иногда и рюмочку опрокинет. Его жена, Матрёна Васильевна, женщина высокая, самостоятельная, с характером, справедливая и доброжелательная, с зеленовато-коричневыми глазами. Они вырастили двух дочерей. Первая дочь, Таня, высокая, стройная красавица с голубыми, как у отца, глазами. Младшая дочь, кареглазая Мария, в те годы была маленькая девочка лет семи-восьми. В зимнее время, в сумерки, их дома играли малышами в «палочку-выручалочку». Но когда придёт очередь к Тане править девичью беседу, мы всей мальчишеской гурьбой, снова прибегаем к ним через избу в прируб. В нём много девиц, парней, и мы видим наши любимые картины, с большим любопытством разглядываем их. Они рассказывают про охоту во льдах северных морей на моржей и белых медведей. С замиранием сердца смотрел я на них, кто кого победит. Белый медведь огромного роста, вставший на задние лапы, или смелый, мужественный охотник с большим кинжалом в руке, дерзко вступивший в бой с этим зверем. Стоишь перед ними и переживаешь за каждого. На второй картине огромные моржи с большими белыми клыками окружили лодку с охотниками. Один из них, старый морж, желтоватыми массивными клыками уцепившись за борт лодки, топит её в воду. Жуть берёт! Смотришь на них, болеешь за жизнь, за судьбу охотников и одновременно восхищаешься их мужеством. В то же время глядишь на диковинных зверей, удивляешься им и радуешься за них, что умеют они защищаться. На третьей картине большой цветной репродукции – царь Александр II, освободитель, беседует с русскими крестьянами. Эта картине мне не понравилась. Мне не верилось, что так просто царь будет разговаривать с народом.

У Платоновых были ещё вкусные яблоки. Они нам очень нравились. Но яблони старые, высокие, огороженные плотным огородом. Сверху на него ещё положены яблоневые сухие кряжистые сучья. Перелезть через них было невозможно. Надо сказать, что мы, деревенские мальчишки, были тоже хорошими озорниками, и слазать в чужую загороду, тайно от хозяев, было делом нашей мальчишеской «доблести». Мы в огороде нашли дырку и всей гурьбой оказались в загороде. Стали подбирать яблоки с земли: свежих-то нам не достать.

А тряхнуть за толстый ствол яблоню нам не по силам. Вдруг, откуда ни возьмись, в загарду по дорожке бежит Василий Платонович с поленом в руке. Мы в испуге – кто куда! Мне бежать некуда. Я бросился на высокое наклонное дерево и потом с дерева прыгнул вниз, в высокую картофельную ботву. По тёмной борозде уполз от опасности.

У тётки Олёны Даниловой в её летней избе над полукруглым окном, около божницы, висела небольшая хромофотография. Высоко, на крутом обрывистом днепровском берегу стоят, словно сказочные, белые храмы Михайловского монастыря с золотыми куполами, сияют на густом голубом южном небе. Внизу тёмно-синяя полоска легендарной реки. Эти храмы мне не давали покоя. Мне всё время хотелось лететь птицей в древний Киев. Наяву увидеть славный, дивный Киев-град и его удивительные храмы, побродить вокруг них, заглянуть вовнутрь, восхититься ими. Какая великая красота! И всё это сделал человек!

У Василия Матвеевича и у тётки Поли Рябинкиных детей не было. И не было у них девичьей беседы. Но мне не раз по каким-то делам приходилось бывать у них в избе. Я видел между кроватью и обеденным столом большой расписной сундук, в котором хранили они зимнюю и праздничную одежду, бельё, холсты и семейные ценности. Каждая сторона этого сундука была украшена разными цветными петухами. Я подходил близко, любовался ими и замечал, как были положены кистью масляные краски. Мне самому захотелось нарисовать таких живописных петухов, но у меня не было ни красок, ни кистей. А эти петухи, такие яркие, красно-жёлтые, с тёмными сине-зелёными или чёрно-изумрудными хвостами, с красными гребнями в больших кругах, остались в моей памяти, как сказка.

Все эти маленькие крупицы изобразительного искусства, рассеянные по деревенским избам, меня, мальчишку, словно магнитом притягивали к себе. Они будоражили, распаляли моё воображение, кружили голову и заставляли мечтать и мне научиться так рисовать.

Я возвращаюсь на беседу к Марье Ефимовой. Возле двери, на выходе из избы, у Ефимовых под полатами, прижавшись к лесенке, которая ведёт на русскую печь, стоят матери гуляющих на беседе девушек, будущих невест. Стоят они и не раздеваются. Только концы шалей распустили, словно отвесы. Сверкают своей белизной из под них тонкие белые платочки, повязанные вокруг шеи, оттеняя тёмный цвет загорелого лица.

– Прибежали посмотреть, как тут молодёжь-то наша гуляет. Да и на парней-то, гостей наших прибывших, хочется взглянуть, узнать, чьих они родителей-то будут, – наперебой бабы говорят хозяйке избы, Марье Ефимовне, что лежит на печке, свесив локоть правой руки, и внимательно их слушает, уперевав подбородок в кисти рук.

– Да, да, узнаю, по лапотнику-то узнаю! Вот тот, светловолосый-то, что сидит в углу, да с Манькой-то твоей разговаривает, Дунькин! И глаза-то её, и улыбка-то у него её, и носик-то курносый Дуни! – толкая локтем Настасью Чумакову, у которой тут гуляет дочь-красавица Мария с тёмно-карими глазами, шёпотом говорит Матрёна Платонова. У неё тут тоже дочь Татьяна веселится.

– Весь. Как две капли воды, Дунин! Много ли детей-то у неё? – подтвердила Настасья, беспокоясь за будущее.

– А этот-то чей же будет? Вот что к нам-то повернулся, черноголовенький-то? – задала вопрос своим подругам Устинья Мареева.

– Этот? Да он не черноголовенький, а скорее тёмно-русый, с оспинками на лице. Да он Анны Давыдовой сын, Володя. Какой он большой вырос! Очень похож на неё. Жаль, Анна-то рано умерла. Вот бы порадовалась сыну-то! Она ведь была родной сестрой Алексею-то Родину. Да!

– А вот этот, что рядом с гармонистом-то, с Ваней-то Родиным сидит, чей будет? – задала вопрос тётка Устинья.

– Это Кулин! Он больше похож на отца. Такой же долгоносенький. Они-то в Заручье, на большой дороге, в Грабиловке, ближе к городу живут. Я их хорошо знаю! У них ещё дочь Мария есть, – ответила тётка Настасья.

– Слушай, Устинья! А кто с Тоней-то с твоей разговаривает, такой длиннолицый? – спросила тётка Матрёна.

– Да это, наверное, Катанугин. Он больше на отца похожий. Мать-то у него круглолицая, невысокая, ещё немножко прихрамывает, – ответила Устинья, – да такая усердная богомольница.

– А девицы-то наши нынче какие-то всё рослые да красивые, прихожие они все. На них и не налюбуйешься! Вон, Мария-то Чурбанова, какая высокая да интересная! С лица-то немножко на Василия похожа, румяная и деловитая, – с восхищением заметила Настасья.

Долго смотрели бабы на свою и на заруцкую молодёжь, переминаясь с ноги на ногу, а на душе-то у них беспокойно было. Тревога и неизвестность мучила их, не давала им покоя. Она везде их преследовала. Слово колхоз приводило их в трепет. Как оно всё будет?

Чем и как обернётся дело с этими колхозами? Это беспокойство не покидает их даже тут, на девичьей беседе. Грызёт червь сомнения. Сверлят их мозги вопросы жизни:

– Как быть?

– Идти али не идти?

Свесив голову с печи, Марья Ефимова обращается к Устинье Мареевой:

– Что, Устинья, новенького слышала? Когда к нам-то придут?

– Ничего не знаю, Марья Ефимовна! Право, не знаю, – ответила Устинья.

– Да уж, в Горнях-то колхоз организовали. Теперича жди к нам со дня на день, – вмешалась в разговор Матрёна Платонова. – И лошадей уже ставят на общий двор. Мужики-то и бабы со слезами ведут их. Ведь мы-то привыкли к лошадям-то. Они ведь, чай, были членами семьи, главными работниками. Работали на нас в полную силушку. Иногда свою лошадку и побережешь – сенца получше дашь, лишний раз овсеца принесёшь, и приласкаешь, и почистишь, и соломки постелешь ей побольше. Забота о них была у людей-то. А теперь? Во дворе-то пустота вместо её будет! Она уже не встретит тебя тихим ржанием и головой-то своей не прижмётся к тебе. И ты её не похлопаешь по щёчке, не погладишь её шею, не расправишь ей гривушку, и копытца ей не обрежешь, и не подкуёшь, и хвост-то её не расчешешь! Она ведь хоть и скотина, а человеческую-то ласку и заботу понимает. Хорошо понимает! И в душе-то у тебя, в сердце-то твоём, пустота и скука надолго поселятся!

– Лошадь умная! Она всё понимает! Бывало, и крикнешь сердито на неё, так она, словно от боли, так и сожмётся вся и на тебя после и не глянет. Нехотя, словно обиженная, ходит. И мне-то даже жалко её станет. После себя ругаю, зачем я обидела мою-то милую, дорогую-то помощницу. Долго я хожу перед ней виноватой, – призналась Настасья Чумакова.

Долог зимний вечер. Лихо пляшут парни с девушками. Ловко, бойко, с задором кружатся они. Длинные платья девок веером складываются вокруг ног или колесом-солнышком кружатся, а мужские пиджаки парусом вздымаются. Бьют каблучки в такт гармошки, и летят под матрицу звонкие, задорные частушки:

Эх, мой милёнок-цыганёнок,
А я русская.
Хочу плясать,
Да юбка узкая!

Эх, тальяночка,
Да с колокольчиками,
Пляши, милая,
Да с приговорочками!

Пойду плясать,
Дайте мне местечко.
У свово-то милова
Высушу сердечко!

Растяну я меха,
Топну под гармошку.
Ненаглядная моя,
Подойди к окошку!

Эх, пойду плясать
Я по горнице,
Ну и пусть говорят,
Что я вольница!
Ой, девчоночки мои,
Цветочки луговые.
Боюсь жениться я на вас,
Уж больно боевые!

Я плясала, топала,
Я искала сокола,
Я такого сокола,
Белого, высокого!

Эх, трава моя, трава,
Травушка зелёная.
Хорошо девку любить.
Которая ядрёная!

*Эх, частушки мои,
Золотые кольца.
Полюбила я вчера
Парня-комсомольца!*

*Эх, Леонтьевна,
Да моя милая,
Не ходи в колхоз,
Ведь ты ленивая!*

Взрыв хохота потряс девичью беседушку. Но девушка устояла. Она прошла свой круг, встала, чуть откинувшись назад, немного развела руки в стороны и, окинув спокойным взглядом всех в избе, звонким голосом запела:

*Милый, я слыхала новость,
Ты чужим умом живёшь!
Вот запишемся в колхоз
И тебе утрём мы нос!*

Снова взрыв смеха. Все покатываются и за животы хватаются, а гармошка, что живая, то смеётся, то рыдает, то сердится на басах.

– Ишь, как весело поют! И как славно ногами-то топают, как будто замуж просят. Да, по-ра! Да вот женихов-то не видно нонче, как бы не засиделись они в девках-то! – с жалостью сказала Настасья.

– Что им не петь, что им не гулять! Сыты. Обуты, одеты! Мама, папа есть! Что им надо?! – попеняла тётка Устинья.

– Им молодым-то что? Им всё нипочём – ни горе, ни беда! Взял шапку в охапку, да и до свидания! Ищи его, как ветер в поле! – авторитетно заметила Матрёна Платонова.

– И поминай, как звали! – добавила Устинья.

– Да! Уезжают парни-то наши. Вон, Володька-то Бусин, Алексеев сын, на север, в Мурман уехал. Вася Липатов в Бежецк, на механический ушёл. Меньшие братья Бикины – Иванушко и Вася, тоже в Москву после матери-то уехали, – с сожалением поведала Марья Ефимова и ещё добавила: – Отец-то ихний, Василий-то, всё пьёт и пьёт. А ещё ведь трое маленьких-то, три крошечки, один одного меньше. И всё-то на Алёшкины плечи легло. Он у них за мать. Всё сам: и готовит для них, и бельё стирает, маленьких обмывает.

– Парень-то какой хороший, Алексей-то! Лет-то ему немного, а серьёзный. И не унывает! Где с шуткой, а где со смехом или прибауткой – и всё бегом. Вот кому-то достанется! Рада будет! – добавила ещё тётка Матрёна.

– Все они от нас уедут. Одни старики останутся. Хотя бы похоронить приехали бы, – тихо, словно про себя, сказала тётка Устинья.

– Вот и Пётр Никифоров уехал в Ленинград, к старшему брату Александру. И Павел-то Румянцев тоже собирается в Ленинград. Да и твой-то, Марья, сынок-то уехал из деревни-то. Вот какие дела-то! – с горечью сказала тётка Настасья.

– Батюшки! Да кто же работать-то будет в колхозе, если мы в него вступим? Парни-то уезжают, а девки-то замуж повыйдут и останутся одни старики да малые дети. А стариков-то ненадолго хватит! – с болью сказала Матрёна Платонова и покачала головой. Её боль охватила всех женщин. И веселье беседы потухло в их глазах.

Уже полночь! Засобирались наши бабы.

– Прощай, Ефимовна! – и, поклонившись Марье в пояс, прощальный взгляд свой бросив молодым, вышли в сени, на мороз. За ними тихо скрипнула дверь. И мы, мальчишки, вслед за ними, тоже поспешили домой.

В деревне тихо. Ни огонька. На нас смотрели тёмные, застывшие окна запележённых изб, которые стояли тёмными, таинственными силуэтами на зеленовато-синем небе и словно купались в глубоком снежном море, освещённом призрачным лунным светом. Что-то загадочное и напряжённое было в зимнем пейзаже деревни. Звонко скрипел морозный снег под нашими ногами, и в короткие мгновения долетали до нас звонкие трели гармошки.

Второе рождение

С раннего утра восточный ветер со стороны Заручья дул поперёк деревни. Снег заметал дороги и глубокие тропинки от дома к дому. От каждого бугорка, колышка, былинки, от избы и двора, от сарая и овина, от изгороди образовывались вытянутые сугробы кручёного снега. А с полдня ветер усилился и порывами закрутил в воздухе снежную пыль. Началась вьюга, временами переходящая в пургу.

К вечеру в густые тёмно-голубые сумерки всех крестьян деревни созвали на экстренное, строго обязательное собрание, и состояться

оно должно в старой избе Сергея Андриановича Чумакова. В каждом крестьянском доме под соломенной или дранью крытой крышей повторяли, словно сговорились, «пришли!». Это означало, что пришли люди из города организовывать у нас в деревне колхоз. Но для крестьян слово «организовывать» непривычно, с их уст чаще всего слетало другое – «загонять!». И каждый крестьянин вкладывал в это слово свой смысл и своё отношение.

Медленно, поодиночке идут мужики и бабы сквозь вьюгу, как молчаливые тени, путаясь ногами в наметённом слое снега, преодолевая новые сугробы, напор ветра, укрываясь от снежного вихря, и каждый со своими сомнениями и надеждами. В избах уже засветились жёлто-красноватым светом окна, ярко освещая солому запеледок возле оконных косяков. Свет падал на тёмные, цвета синего кобальта сугробы вытянутыми золотистыми прямоугольниками, разделёнными на части тенью от крестовин рам. В лучах света крутилась сверкающим золотисто-голубоватым роем снежная пыль.

Отец решил пораньше сам управиться со скотиной, отправив Ваню на собрание. Напоив корову, любимого Сокола, овец и положив в ясли сена, закрыл калитку на деревянный засов и вернулся в избу. Быстро сняв с себя рабочую одежду, вымыв руки из глиняного рукомойника над лоханью возле печки, переодевшись в старенький выходной костюм, поговорив с мамой и надев на себя ватное пальто, чёрную каракулевую шапку, намотав на шею красный в чёрную клетку шарф, в чёрных поношенных валенках подошёл к двери и молча вышел из избы. Заскрипели на крыльце замороженные ступеньки под его ногами, и глухо хлопнула входная дверь. И было ещё слышно, как под его ногами захрустел морозный снег.

После ухода отца мать ощутила боль в душе от тревожных предчувствий. Скрестив руки и прижав ладони к груди, она подошла к окну в чулане и сквозь оттаявшее стекло от тёплого воздуха, нагретого маленькой чугунной лежанкой, увидела, как отец, преодолевая наметённый возле крыльца снежный сугроб, пытался выйти к тропинке, почти всю занесённую снегом. А снежная пыль, крутясь облаком, охватила его с ног до головы и белым прозрачным снежным покрывалом, словно саваном, накрыла его. Мать долго смотрела на удаляющуюся фигуру отца сквозь сито снежной пурги, пока он не скрылся за углом утонувшей в сугробах старенькой избы Тяпиловых. Она стояла у окна в застывшей позе, устремив свой взор на улицу, в эту крошечную зимнюю кутерьму. О чём она думала? Какие чувства боролись в ней? Может

быть, пыталась предугадать что нас ожидает в будущем в свете новых идей? Я видел, как она, в беленькой кофтёнке, как будто стала меньше и тоньше, немного сгорбилась и как будто сжалась в комок. Лицо её, ещё носившее остатки девичьей красоты, осунулось, покрылось мелкими морщинками, постарело. Она вдруг закашлялась. Пряди её русых волос спустились на висок, на ухо. Щёки покраснели. На лбу появилась испарина. Она вышла из чулана в комнату, села на лавку под зеркалом, спиной закрыв купленную отцом цветную репродукцию с работы художника Петрова-Водкина «Девушка у окна», упёрлась руками в край широкой лавки и долго сидела, сотрясаясь от сильного кашля, а по лицу её катились слёзы болезненных страданий. Наконец кашель прекратился. Успокоившись, мать подошла к кровати, не раздеваясь, легла поверх одеяла на постель. Стало тихо в избе. Только тикали настенные часы, да гудел огонь в лежанке, да потрескивали старые, потемневшие от времени и ржавчины красно-фиолетовые трубы. В этот поздний вечерний час Петя ушёл спать на полати за печкой, а маленькая сестричка посвистывала своим маленьким носиком в своей прутьяной зыбке под стареньким красным покрывалом со светлыми декоративными цветами, в которой мы вырастали под колыбельную песню матери. Колыбель наша висела на толстой стальной пружине возле задней спинки кровати. К этому времени я принёс для двух печек две большие охапки наколотых Ваней берёзовых дров и стал готовиться к урокам.

Под желтовато-красным, тусклым светом настольной керосиновой лампы в семь линей я разложил на столе свои тетради в косую линейку для русского языка, новый задачник, недавно купленный отцом. Тут и книга для чтения «Родная речь» с короткими, интересными рассказами и хорошими рисунками из жизни деревни и города.

Неожиданно хлопнула входная дверь, заскрипели морозным голосом ступеньки. Открылась дверь, и в избу вместе с холодным воздухом вошёл запорошенный снегом отец.

– Что случилось? Ты почему, Алексей, так быстро? – спросила мать с затаённой тревогой, вставая с постели.

Отец в ответ ей только махнул рукой. Он взял веник, обмёл молча снег с валенок, стряхнул его с шапки, не торопясь снял пальто, шарф, стряхнул их, повесил на вешалку. Он молча прошёл через чулан в комнату и сел на скамейку, на своё обычное место у стены под календарём. Обняв обеими руками голову, оперев в крышку стола локти, погрузился

в глубокое раздумье. На его лице между бровями залегли две глубокие складки. Лицо осунулось. Весь он был выражением смятения. Мама ещё раз пыталась узнать причину его скорого возвращения со столь серьёзного собрания, но отец молчал и не поднимал головы. Прошло несколько томительных минут.

– Алексей! Что случилось? Не томи меня! Скажи! – снова спросила его мать.

Но отец не отвечал. Он продолжал сидеть, крепко сжав свою голову руками.

Я сидел за столом между окном и большой иконой, между матерью и отцом. Я отчётливо видел состояние каждого. К болезням мамы, к её страданиям прибавилась ещё душевная боль за отца, за ту непонятную таинственность, которую принёс папа с собрания, за ту подразумеваемую беду, которая случилась с ним. Что будет с ним? Что станет с детьми? С ней, с нами? Её воображение рисовало страшные страницы будущей жизни, и на её лице отразилась душевная мука...

В позе отца, в его неподвижности, в скованности сквозило отчаяние, растерянность, душевная боль. Он буквально был убит и не мог выразить словами то, что с ним случилось.

Приступ кашля у матери заставил отца вздрогнуть. Он открыл лицо, поднял голову и с болью, с сочувствием к ней и с сожалением, что не в силах ей помочь, посмотрел на неё и, ужаснувшись её состоянием и необъяснимым будущим положением, снова схватился за голову руками. А мать долго ещё надрывалась от кашля.

Я сидел, не зная, что делать. Я забыл про уроки. В голове гвоздем ковырял мозг вопрос: как помочь матери, как утешить её и облегчить страдания? Чем можно помочь отцу? Я не мог понять и разобраться в том, что произошло с отцом. Почему так тяжело матери и отцу? Мне было больно за обоих.

Мама немного успокоилась, оправилась от душераздирающего кашля. Она встала измученная и, собрав свои силы, подошла к столу:

– Алеша! Скажи, наконец, что же произошло? Почему ты так скоро вернулся? Почему ты молчишь? Говори же!

Отец устало посмотрел на мать и не мог вымолвить слово, которое бы выражало суть происходящего. Спустя немного времени, не поднимая головы, вполголоса сказал:

– Меня выгнали с собрания!

– За что? – воскликнула мать. – Кто это сделал? – с болью в голосе спросила она.

– Иван Басов, – спокойно ответил отец.

– А мужики? Твои товарищи? Что сказали? – опять спросила мать. В её голосе появилась твёрдость.

– Они молчали, – так же спокойно ответил отец.

Слова отца поразили меня. Как? Я часто видел, с каким уважением к нему относились крестьяне, как они шли к нему за советом и помощью. А с каким большим желанием папа читал им книги, журналы, газеты. Привозил в деревню кинопередвижку. Устраивал встречи крестьян с агрономом. И кто же больше трудился на земле из наших деревенских мужиков, как не отец? Он не знал покоя и усталости в труде на хлебной ниве!

В Жарках организовали колхоз. Ему присвоили название «Новая жизнь». Председателем колхоза избрали Соколова Александра Ефимовича. В колхоз записались все крестьяне деревни. Против колхоза никто не выступал. Очень многие из них в реальность этого дела не верили. Наш отец и вся наша семья остались не по своей воле вне колхоза.

После собрания разговоров по деревне было много. У каждого колхозца собирались кучки людей. Рассуждали, обсуждали, высказывали предположения и сомнения: как все оно обернётся: «Худа бы не было. Ведь такого ещё не бывало!». И «общее одеяло» их пугает, и лошадей-то обещают поменять.

Смерть отца

Было первое пасхальное утро. С паперти собора в Градницах, из-под поднявшейся ввысь изящной колокольни, под праздничный колокольный звон после окончания службы выходят и выходят богомольцы, вдыхая свежий, прохладный воздух. Они крестятся, прощаются, христосуются с родственниками, друзьями и товарищами. В пояс кланяются Божьему храму и тёмными силуэтами на фоне неожиданного снега без суеты, с достоинством расходятся по разным сторонам. Они идут обновлённые, очищенные от повседневной накипи, с радостью в сердце, с надеждой на лучшее, оставляя после себя тёмные следы на снегу.

Воистину, начался пасхальный день – день обновления и расцвета природы, разговения людей, день раскрепощения души от строгих

правил Великого поста. День надежды и счастья, новых, но повторяющихся из весны в весну крестьянских трудов и забот.

Возле Святых ворот церковной ограды встретились односельчане: наш отец, Николай Александрович Мареев, его жена, тётка Устинья и их соседка, Волкова Ксения Михайловна. Питая друг к другу симпатии, они неторопливо пустились в обратный путь. Было приятно идти по белому снежку, делясь впечатлениями о церковной службе, о погоде, и незаметно они поднялись на вершину великого холма. На перекрёстке с большой краснохолмской дорогой они нагнали спутницу, нашу соседку Пелагею Филину. Так и пошли впятером. Чем дальше идут наши путники, тем больше пригревает солнце, а земля под мокрым снегом всё больше раскисает. Идти становится труднее.

Уже пройден горнинский ручей. До нашей деревне осталось рукой подать. Ветерок доносит праздничные запахи. Из труб домов в голубое небо неторопливо вьётся розовый дымок.

– Уже немного, придём! – Повторял вполголоса Николай Александрович. Шли с чувством исполненного долга, благоговения перед Христом, принявшим смерть ради спасения людей. С чувством ожидания встречи с родными, любовного христосования, подбирая в уме радостные слова, которые скажут своим семьям, даря им освящённое яичко.

Вот уже и воротца въездные в деревню, открытые настежь. Наши путники смогли облегчённо вздохнуть: «Трудный путь окончен!» На их лицах светится улыбка, на щеках розовый румянец. У всех прекрасное настроение. И уже пройдены воротца, и вдруг, словно спохватившись, Пелагея приблизилась к отцу и, искоса заглядывая ему в лицо, торопливо, как будто боясь опоздать, с широкой улыбкой по всему прыщавому лицу, с выбившимися из-под коричневого, плохо повязанного вокруг головы платка, выпалила:

– Алексей! А ты ведь удулся! Тебя спасли!

Эти ненужные, глухие, как камни тяжёлые, как литые пули, пронзительные слова, которых все в нашем доме так боялись. Лелеяли надежду, что ни один человек ему не расскажет про ту злосчастную февральскую ночь. Эти слова, сказанные Пелагеей Филиной, прозвучали для отца как выстрел в сердце, как оглушительный гром среди ясного неба. Папа был ошеломлён. Он не знал, что ему надо делать. Он не знал, как ответить на её слова. Он ничего не мог сказать. В его голове всё помутилось. Сердце похолодело. Не передохнуть! Лицо его побледнело, на какой-то миг он потерял самообладание – секундное замешательство, и тут из его памяти словно взрывом выбросило

всё то, что он пережил раньше. В этот миг отец вторично пережил то злополучное собрание. Ту опись имущества, ту тёмную февральскую ночь и верёвку в руках, с которой он пытался выразить свой гневный протест крестьянина-труженика. Протест против потери идеала, его мечты. Желание собственной смертью спасти детей, жену от поругания, от издевательства. Смертью своей он хотел спасти своё гнездо от разорения, от надругательства. Через мгновение он овладел собой, пошёл вперёд, ни с кем не разговаривая, стремясь уйти дальше от этой отвратительной бабы, от своего стыда. Он шёл напрямую через лужи внешней воды, по остаткам сырого снега, потерявшим всё, чему он радовался, утратившим главную опору в жизни, ту цель, к которой он так стремился, – справедливость!

Путники были поражены: «Как можно было произнести такие слова пострадавшему человеку?» Они сами растерялись, не зная, как себя вести в таких подобных случаях. От возмущения они могли только развести руками.

Николай Александрович, видя, что произошло непредвиденное, возможно, даже непоправимое, желая как-то вывести отца из затруднительного состояния, догнал его на подходе к нашему дому и, как будто минуту назад ничего не произошло, сказал ему:

– Алексей Степанович! Уж больно домик-то у тебя хорош! Я всегда, когда иду мимо, от души люблюсь им. – Немного помедлив, дядя Николай добавил:

– Право, он, пожалуй, самый красивый в округе-то нашей! Подобного я нигде не видывал!

Эти простые, искренние слова Николая Мареева успокоительно подействовали на состояние отца. После паузы отец тихо сказал:

– Да, Николай Александрович! Кажется, что он у меня удался. Да вот ведь не дают мне пожить-то в нём спокойно. Чай, слышал ты, что всё моё имущество описали, из меня сделали кулака. Когда-нибудь меня с маленькими детьми и больной женой погонят. А за что? За то, что я трудился, не покладая рук? За то, что я люблю землю?

Отец развёл руками и умолк. Говорить ему было трудно. В его сознании мигом пронеслась вся его жизнь: трудовая юность, семейное счастье, мечты о свободном крестьянстве, Петроград 1917 года, Волынский полк, расстрелянная июльская демонстрация, Октябрь, шумевший ветрами и красными знамёнами, Гражданская... И вновь деревенская хлебная нива – рукоятки деревянного плуга, агрономы, сельскохозяйственные выставки, газеты, журналы, книги, кинопе-

редвижки, весенние и осенние распутицы – походы по деревьям с тяжкой ношей оконного стекла в широком ящике за спиной. Вся жизнь – сплошной тяжёлый труд. Он вновь расстроился. Не мог дальше говорить – горло сдавили спазмы. И он, как бы извиняясь, сказал Марееву:

– Прости меня, Николай Александрович! Прощай! – и махнул рукой.

Отец повернулся к дому и зашагал по родной земле, до предела наполненной весенней водой, в которой рядом с прошлогодней отжившей травой появились сочные ростки новой травы. А на берёзе у Орловых, среди множества тёмных гнёзд, галдели чёрные с сизо-изумрудным отливом грачи.

Подошла пятница – предпоследний день Пасхи. Утро серое, холодное. Кругом белесый редкий туман. На улице тихо, безлюдно. Всё выглядело уныло.

Надо идти в школу, а мне ужасно не хочется. Что-то непонятное держит меня дома. Мне трудно совладать с собой. Из рук всё валится. Не могу собрать учебники и тетради в сумку. Самочувствие ужасное.

Мама занята в чулане. Кормит завтраком Петю и Маню. Папа во дворе. Он наводит порядок в хлеве у овец, у коровы и лошади. Ваню отец отправил в город, когда я ещё спал, дал ему денег, чтобы он купил себе осеннее пальто.

Осилив себя, я всё-таки собрался в школу. Мы с товарищами идём по горницкой дороге, понутив головы, бредём по непролазной грязи. Ноги мокнут. Сырой холод пронизывает одежду. На душе у меня смутное состояние. Что-то тянет домой.

Кругом жиденький серый туман. Кое-где на фоне тёмно-коричневой, почти чёрной пашни в глубоких бороздах ещё белеют остатки грязного снега. Где-то хрипло каркает ворона.

В школе мне тоже не по себе. Я сижу за партой у окна и вижу, что на улице по-прежнему всё так же серо, неприветливо. Чувствую себя подавленным. Не могу сосредоточиться. Что-то властно тянет меня домой. Вдруг Александра Георгиевна спросила меня:

– Родин! Ты почему такой бледный? Что с тобой? Не заболел? – Все ученики четырёх классов повернули в мою сторону свои головы.

– Нет, я не болен! – Встав, тихо ответил я. В классе опять стало тихо. Всё мне казалось серым: и стены класса, и ученики, и парты,

и на улице – всё было серым. Я не ощущал никакой радости, как это было в другие дни.

Прошло несколько минут, в дверь в класс отворилась, и из сеней вошёл мой двоюродный брат Петя Гурушкин. Он обратился к учительнице Александре Георгиевне с просьбой:

– Разрешите ученику Родину на минуту выйти в сени! – Учительница разрешила мне выйти. Когда я вышел в сени и закрыл за собой дверь, Петя меня спрашивает:

– Коля! У тебя папа живой? – Этот вопрос мне показался страшным. Почему он у меня так спрашивает? Ведь я же знаю, что папа живой, я его видел перед тем, как идти в школу. Я отвечаю, что папа живой! Петя долго смотрел на меня, потом тихо, с болью сказал:

– Иди домой! Твой отец умер!

Я не мог поверить в это. Чтобы опровергнуть слова брата, я должен сейчас же бежать в Жарки. Я вернулся в класс, бегом, мимо учительницы подбежал к своей парте, схватил одежду и сумку, что купил мне отец, на ходу сказал Александре Георгиевне, что мой папа умер. На бегу я надел своё пальто, шапку и, не застегиваясь, с сумкой в руке, соскочил с лестницы высокого школьного крылечка. Перебежал поперёк улицы и помчался в Жарки прямо по полю, чтобы короче.

Наконец я добежал до околицы, до распахнутых настежь воротец. Я вижу свой дом. Он такой большой, такой тёмный, сырой, какой-то угрюмый, неприветливый. Я вижу, как из нашего крыльца выходят люди. Они молчаливы. Они идут и не видят, что, я весь измученный, бегом приближаюсь к родному дому.

Вот я уже открываю дверь. Меня охватывает панический страх от вида множества чёрных, грязных, свежих следов от сапог на чисто вымытой мамой перед Пасхой лестнице. Я мигом перескочил эти грязные ступени, а сердце моё рвалось из груди. Я с силой отворил дверь из сеней в избу. В чулане темно от множества людей. Я протиснулся между ними. Хочу видеть отца. О, ужас! Я оторопел! Я вижу ту же февральскую картину! У меня сжалось сердце. Отец лежит на полу, вдоль широких чистых белых половиц, в той же позе, на спине, как в первый раз.

Вокруг него сидят на полу, на коленях, на корточках мужики, его товарищи. Как и в первый раз, они пытаются вернуть ему жизнь – делают искусственное дыхание, качают руки и ноги. Щекочут куриным пером во рту, гортани. У них мокрые от пота лица, и во всём их облике тяжёлая усталость. А голубые глаза отца открыты и без жизни.

На кровати сидит мать, бледная как полотно. Она молчит. Руками упёрлась в кромку постели. Только на лице, на её скулах, словно застывшие льдинки, блестят в свете серого морозящего утра слёзы. Рядом с ней стоит Петя. Он, опустив голову, невидящим взглядом смотрит перед собой. За спиной матери, прижавшись к ней, не по годам серьёзная, сидит Маня. А Вани дома нет.

Дядя Стёпа бережно опустил руку моего отца на пол, вдоль его туловища. Руками рубашки вытер капли пота с собственного лба. Задумавшись, он поглядел на голову отца и задушевно, тихим голосом сказал:

– Прости, Алексеич! Не уберегли тебя! Прости, дорогой! Нет больше надежды!

Дядя Стёпа умолк и ещё больше согнулся. К потному его лбу прильнули пряди потемневших волос. Он опустил на пол свои крупные натруженные руки. Стало тихо. Он перекрестился и тяжело поднялся с пола. За ним так же нелегко поднялись остальные.

Вдруг мать поднялась с кровати, сделала шаг вперёд, к лежащему отцу, громко вскрикнула... и тут же рухнула на неподвижное тело отца.

Сквозь морозящий сумрак из полутёмного угла на всё смотрел сурово с иконы грозный лик Христа.

Похороны отца

Сегодня первое послепасхальное воскресенье. И сегодня похороны отца. В нашем доме всё окрашено печалью: в избе сумрачно, окна затянуты занавесками. Мама одета в тёмное платье и чёрный платок. Лицо у неё бледное и измученное. Она еле держится на ногах. В избе собрались родственники. В комнате тесно и тихо, и шёпотом звучат редкие слова. Перед Спасом горит крохотным огоньком неугасимая лампада. В руках отца догорает тонкая восковая свеча. Капли расплавленного воска, как слёзы, стекают на его безжизненные пальцы. А через окна через белые короткие занавески виден залитый солнцем красный посад, льётся с улицы к нам лучезарный праздник весны, и зелёной ярью светится земля. Под окнами нашего дома собрались деревенские. Рядом с домом стоит, как вкопанный, любимец отца Сокол, запряжённый в зелёную телегу.

Вот в избу вошли с улицы Алёша Бикин, Алексей Пучков, Ваня Тимонин, Павел Румянцев. Они и мамины братья – дядя Илья и дядя Ефим с сыновьями, Егором Ильичём и Дмитрием Ефимовичем, про-

сунули под гроб длинные белые из тонкого холста с кружевными концами и с красной вышивкой, полотенца и на них осторожно вынесли его из комнаты через чулан, через широкие сени на крыльцо. И не спеша, ступая со ступеньки на ступеньку, спустили его вниз по лестнице и понесли отца над холодной землёй в тени дома на улицу, залитую солнцем.

А вверху, над деревней, по-весеннему, на фоне голубого неба, неслись лёгкие облачка, освещённые золотисто-розовым утренним солнцем. Земля, которая ещё вчера выглядела какой-то непонятной, серо-коричневой измученной массой с тёмно-оливковыми пятнами и тоскливо глядела нам в глаза, словно по волшебному слову сегодня зазеленела, потянулась к теплу и свету. А в воздухе так звонко зазвенели голоса птиц, что это обновление земли, её возрождение вызвали у меня великое удивление и восхищение. Но нашу семью и наших родных это не радовало.

К гробу отца подошли мужики, его друзья-товарищи, молча, мужественно подняли его на плечи и спокойно, в такт, понесли отца, сминая сапогами нежные ярко-зелёные молодые ростки травы, направляясь в сторону Горней. За ними шли мы с матерью. С нами все прибывшие родственники с Горней и Заручья и наши деревенские.

Двигается по ликующей природе, по оживлённой земле, под тёплыми лучами солнца толпа опечаленных крестьян-тружеников, провожающих в последний путь своего сотоварища. Провожая беззаветного, трудолюбивого пахаря, ещё неделю назад мечтавшего о новой весенней пашне, о севе яровых и так жаждавшего весеннего труда, когда по сырой, отдохнувшей за зиму земле он вдохновенно пройдет со своим богатырским конем, запряжённым в деревянный красный плуг, отражающий блестящим лемехом лучи весеннего, горячего солнца. Счастье идти по сырой глубокой борозде и плугом отваливать ломоть за ломтем, вдыхая её свежий пряный запах, пугая своими движениями звонкоголосых галок и лоснящихся, важно шагающих по перевёрнутой прохладной земле чёрных грачей.

Ан не суждено отцу вновь всей грудью ощутить весенний запах земли, а мне помогать ему в поле: боронить его пашню, закрывать бороной зерно, брошенное мозолистой рукой из широкого гнутаго деревянного лукошка – зерно надежды и радости.

Несут отца крестьяне всё дальше и дальше от родного села, через поле, мимо крестьянских напаханных, просыхающих, солнцу лишнюю влагу отдающих полос. Вечным молчанием провожает земля

своего оратая. Только невидимый жаворонок поёт ему прощальную песню. Сколько раз отец пахал эту землю! Сколько раз он жал на ней горбатым серпом рожь колосистую, и шуршащий коробочками лён тербил, и клевер душистый возами возил!

Уж далеко за нашими спинами остались воротца нашей околицы. За Рябинкиным палисадом скрылся наш дом с высоким и гордым балконом. Скрылись и наши берёзы с пахучими набухшими почками. Не слышат больше ни белые берёзы, ни дом наш старый, ни деревенские избы, мохом конопаченные, ни зелёные луга, ни Мальчиха, осинами шумящая, его приветливого голоса.

Ваня обогнал на Соколе похоронную процессию, подъехал ближе к несущим гроб мужикам и остановился. Они осторожно поставили гроб с телом отца на телегу. Слева, рядом с телом отцом, сели мама и Петя. Ваня взял Сокола под узды и повёл его в поводу. Колёса телеги мягко разрезали обильно напоённую влагу землю. Из-под широких копыт Сокола вылетали струйки бурой воды. Под нашими сапогами чавкала дорожная грязь. Не дойдя до ручья, большая часть крестьян остановилась и молча взглядом провожала нашего отца. С нами остались только родственники и близкие друзья отца и брата. На моих глазах наворачивались слёзы.

Мы подъехали к горнинской кузнице. Она молчит. На дверях висит замок. Возле кузницы в землю врыты четыре столба с перекладинами. Тут подковывают лошадей. Сюда нередко папа приводил подковывать белого Егорку. Налево, шагах в трёхстах, на вершине пологого холма стоит высокая, как величественный монумент, ветреная деревенская мельница. Крылья её молчат, не машут. Каждый год отец молол на ней рожь, овёс, муку, жито на крупу, и мельница тоже помнит его. Помнит, как он на своей спине носил тяжёлые шестипудовые мешки по лестнице на высокий стан, к громадным каменным жерновам. Дальше ещё выше поднимался по лесенке к высокому деревянному, воронкой, кузову, в который опрокидывал зерно из мешка; как он радовался струйке тёплой муки, вырвавшейся из-под тяжёлого жернова, шупал её пальцами, растирал на ладони, пробовал муку на язык. Мельница помнит голос его, он разговаривал с крестьянами и особенно с мельником, насмешливым дядей Николаем. Они с ним когда-то гуляли в одной беседе, и было им что вспомнить. Дядя Николай тоже провожает молчанием нашего отца. В последний раз видит он Алексея Степановича.

От Жарков до Градниц четыре версты. Через Горни, Сокольниково мы идём в гору, всё выше и выше. Встречные люди, сняв шапку, склонив голову, перекрестившись перед гробом отца, идут дальше. За Со-

кольниковым мы поднялись на спину земляного кряжа, перевалив поперёк большую столбовую дорогу. Впереди, в полувёрсте, Градницы. Мы видим белый божественный силуэт величественного пятикупольного храма с высокой колокольней, обнесённых массивной, подобной крепостной, белой стеной. Правее собора на четверть версты чернеет голыми деревьями градницкий погост, обнесённый тонкой линией невысокой кирпичной ограды. Вокруг нас тихо и безлюдно. Молчит церковный колокол. Мы медленно движемся за гробом на телеге. Поскрипывают колёса на осях в глубоких колеях, наполненных серо-бурой водой. Тяжело упирается Сокол сильными ногами, тянет за собой роковую поклажу. Брат мой Ваня держит в руках длинные крепкие витые вожжи, обходя канавы и рытвины, доверху наполненные мутной водой. Я иду рядом с матерью, держась за её руку. Петя в телеге держится крепко за передок. Небольшой толпой идут за нами наши провожатые по расквашенной дороге.

Через святые ворота мы въехали на церковный двор. Обогнули слева храм и остановились под молодыми деревьями в полусотне шагов от бокового входа в церковь. Тут чисто, тихо и тоже безлюдно. Кругом высокая стена с круглыми угловыми башнями. Она как будто отрезала нас от остального мира. Незаметно для нас словно широкой скатертью облаков задёрнулось весеннее солнце. Весь храм осветился холодным светом. И собор показался мне равнодушным к нашему горю. Пробившаяся травка молчала на сырой земле. Стало прохладно. Меня охватило чувство невыносимой тоски. Мама сидела на телеге и была внешне спокойна. Она резко выделялась на белом фоне собора тёмным выразительным силуэтом. Ей есть о чём вспомнить: ведь их обоих, маму и отца, крестили в этом храме. В нём они венчались. Здесь провожали в последний путь своих родителей. И детей своих крестили в этом храме, и младенцев умерших хоронили здесь.

Входные двери храма холодные, серые, с выпуклым рельефом святых угодников, были приоткрыты, и мне хотелось туда заглянуть. Что там? Но мы молчаливо и терпеливо ждали возле телеги с нашим отцом, возвращения Вани с мужиками, которые пошли в собор с прошением совершить панихиду по усопшему. Вани долго не было. Мама и все родные стали волноваться. В сердца ожидающих вкралась тревога. Вдруг тяжёлая дверь храма открылась, и к нам вышел Бикин Алёша. Он был взволнован. Облокотившись на телегу и придя в себя, он сказал вполголоса: «Поп не пускает в церковь гроб с телом отца. Он говорит, что «удавленников» не отпеваем, хороните без благо-

словения». Это сообщение Алёши привело маму и всех нас в уныние. Как быть? Что делать? Как хоронить отца без церковного отпевания? Но скоро вернулись ходоки. Они взяли гроб с отцом на свои плечи и понесли его в придел собора. Это было небольшое помещение сбоку храма. Внутренние стены были выкрашены сливово-клюквенным цветом. Помещение это было скромно украшено и освещено только одним окном. Гроб с телом отца поставили на деревянную скамейку посреди придела. Все люди и предметы резко лепились светом и тенью. Горели на подставках свечи. После долгих просьб и уговоров священник согласился принять тело отца в этом полукруглом пределе, а не в храме, и произвести молебен по умершему. Этот священник мне показался высоким и строгим. Он был одет в чёрную рясу с большим металлическим крестом на груди, на котором сильно выделялась фигура распятого Христа. Всем своим видом поп пугал меня. Он быстро отслужил панихиду. Возвратившись из храма, гроб с телом отца снова поставили на телегу и через святые ворота поехали на погост.

Через боковой проезд в низкой кирпичной стене погоста с белыми квадратными столбами и низкой железной решёткой между ними мы вошли на кладбище. Это был для меня новый мир. Среди высоких голых деревьев, в ветвях которых шумел холодный ветер, было множество невысоких холмиков. Это обилие могил меня поразило. Наш маленький Павлик тоже тут похоронен? Я помню, году в двадцать пятом или двадцать шестом он умер, и папа сделал для него маленький гробик и один унёс его на кладбище. Я помню тот серый дождливый день, и мама лежала больная в постели. Почему так много умерших людей?

Все могилы заросли дёрном. Всё кладбище окрашивалось в серо-зелёные гнилые оливковые цвета. Среди крестов кое-где были тёмные, покрытые бурой ржавчиной, кованые железные. Некоторые на них погнуты, а иные украшены ажурной вязью. Многие могилы выглядели бесформенными, забытыми бугорками. Иные скрывались высокой землистого цвета прошлогодней травой. Здесь похоронены крестьяне, молодые и старые, из одиннадцати деревень Градницкого прихода. Убогость кладбища угнетающе давила на меня. От него веяло невыносимой скорбью, тоской и отрешённостью от всего живого, от человеческого мира.

В глубине его, почти в центре, но ближе к левой стороне, к ограде, если смотреть в сторону собора, я увидел другую могилу – красно-жёлтой глины, вырытую из глубокой ямы. Возле неё, опираясь

на лопату, стоял мой двоюродный брат Николай. Он был старше меня года на четыре. Он такой же высокий, как и его отец, и лицо его тоже скуластое. Только белый цвет лица унаследовал он от своей матери – тёти Анны. А дядя Пётр – высокий, худощавый, немного сутулый в плечах, с продолговатым лицом, с резко очерченными скулами над впалыми щеками, покрывшимися небритой рыжеватой щетиной, с русыми усами, порыжевшими от махорки. Он походил больше на мастерового, чем на крестьянина. Часто болел. Николай и крёстный, оба рано утром, задолго до нашего приезда на похороны пришли на погост, чтобы вырыть могилу для нашего отца. Дядя Пётр выбрасывал остатки земли со дна могилы. Подходя к ним, я остро почувствовал запах сырой земли. Когда мы подошли к краю могилы, крёстный выпрямился и, постукивая острием лопаты по гулкому землистому дну могилы, как по деревянному ящику, сказа нам: – «Вот это крышка гроба дедушки Степана, отца вашего отца Алексея Степановича, интересный был он человек, любил и выпить» Я обратил внимание на то, как крёстный лопатой пытался поскоблить крышку.

– А вот сбоку, – дядя Пётр постучал лопатой по обнажённое от земли доске с правой стороны могилы, которая просвечивалась своим гнилым цветом через прилипшие остатки красноватой глины, это гроб бабушки, матери Алексея Степановича-то, Дарьи Родионовны!

Это она говорила своему сыну, моему отцу, удивительное наставление, полное великой народной мудрости, когда после смерти дедушки Степана он собрался жениться:

– Алешка! Не женись на богатой, а женись на красивой. Богатство быстро проживёшь, а от красивой жены-то дети красивыми будут, тебе на всю жизнь радость будет!

Очень жаль, что мне не посчастливилось встретиться с дедом Степаном и бабушкой Дарьей. Я родился уже после их смерти. Они бы мне многое рассказали о прожитой ими жизни. Жаль, не удалось узнать, какими они были и как они выглядели. От них не осталось никаких изображений.

И вот, прижав свои головы к боковой доске гроба, крепко ухватившись за её кромку, шестеро мужиков – Василий Чурбанов, Николай Никифоров, Сергей Чумаков, Григорий Федин, Степан Арапков, Егор Гурушкин, крестник отца, семена ногами между могилами, несут нашего отца на своих плечах. Поставили его на бугор вырытой земли и чуть отошли в сторонку. Все провожающие встали кольцом вокруг гроба. Мужчины обнажили и склонили головы. Наступила мёртвая

тишина. Тёмные облака заволокли небо. Потемнело. Стало ещё холодней. Ветер зашуршал в кустарнике в высокой сухой траве. Вздрыбил волосы на головах мужиков. С деревьев полетели куски оторванных гнилых сучков. С неба упали первые крупные капли дождя. Настал час прощания. Мама, Ваня, Петя и я вплотную подошли к отцу. Его восковое лицо вызывало душевную боль. На глазах наворачивались слезы. Мы видели отца в последний раз. Мама долго смотрела в его лицо. Она стояла, как окаменевшая, на фоне качающихся от ветра деревьев. Лицо её резко выделялось своей бледностью. Казалось, она смотрит в себя, в своё прошлое. Как быть ей, больной женщине? Как кормить-одевать своих малышей-полусирот? Из её глаз покатались слёзы. Платком закрыв свой рот, она сделала шаг вперёд, быстро наклонилась к отцу, поцеловала его в лоб через украшенную золотистым рисунком продолговатую бумажку. Свою голову прижала к его голове. И тут, видно, силы её не выдержали, она упала всей грудью, как птица, распластав свои крылья, обхватив гроб отца руками, и громко зарыдала. Потом сквозь горькие слёзы и всхлипы заголосила:

– Ох, Алексей! Дорогой Алексей!
Мой любимый муженёк!
Зачем ты ушёл от нас?
Я ли тебя не любила, родимый ты мой.
Я ли тебя не поважала, сердечный ты мой.
И зачем ты выбрал дорогу дальнюю – невозвратимую?
И на кого ты нас сирот твоих спокинул?
Кто их будет беречь-растить без тебя?
Кто им подаст свою руку помощи?
Кто им даст свой отцовский совет-наказ?
Кто их доведёт до ума-разума?
Кто им скажет своё слово доброе, мудрое?
Кто их поддержит в минуту тяжелую?
И зачем ты оставил нас, Алексеюшко?
В час недобрый, в час зловещный?
Ведь тебя мы любили-поважали,
Мы всегда тебя с радостью встречали,
Ты для нас был всегда желанным.
Зачем ты от нас ушёл, оставил нас?
И на кого же ты нас покинул?
Нет мочи жить без тебя!

*Ох, ты моё горе, горе горькое да тяжёлое,
Помутился разум-свет в моей больной головушке,
И белый свет без тебя не мил, не радостен,
Закатилось моё да солнце красное,
Не видать мне тебя никогда.
Прощай дорогой на веки-вечные!
Прости ты нас и меня горемычную!
Прости детей твоих, сирот без радости.
Ох, больно, больно мне, моей головушке...*

И вдруг мать смолкла. Казалось, она потеряла сознание. Ваня и мой крёстный подбежали к ней, подхватили её под мышки, отвели в сторону, стали успокаивать, нашатырным спиртом привели её в чувство. Мы все простились с отцом, поцеловав его в лоб. Ещё постояли, пристально вглядываясь в его неповторимое лицо, вытирая слезы. Не было погребальных речей об отце. Только мой немногословный крестный отец, дядя Пётр, сказал:

– Прощай, дорогой Алексей Степанович! Пусть земля тебе будет пухом! Прости нас! И, смахнув рукавом набежавшую слезу, дважды перекрестившись, отошёл в сторону.

Закрыли голову отца белоснежным саваном. Сверху мужики положили тяжёлую основную крышку. Прибили её к гробу длинными гвоздями и осторожно на вожжах опустили гроб в могилу. Посыпались комья сырой земли, с гулом ударяясь в деревянную крышку. Мелькали крестьянские лопаты. Вскоре гул смолк, могила наполнилась доверху землёй. Потом над могилой вырос высокий, глинистый холмик.

Его не украсили цветами. Их ещё не было. Просто, как грядку, обстукали, обляпали с боков и сверху лопатами. В головах, временно, вместо креста, вбили колышек с именем и фамилией отца. Молча постояли возле могилы, мужики закурили на дорогу, и все мы отправились домой, положив лопаты на телегу. Нет больше нашего отца! Он остался лежать под землёй со своими родителями. В душе образовался провал – опустошенность, испепеляющая скорбь.

Многие могилы не отмечены ни крестом, ни палочкой с надписью. Кругом царит равнодушное запустение, тоскливое, печальное одиночество. И шумит в ветвях дрожащих осин и стонущих берёз весенний прохладный ветер. Ползут по небу тяжёлые, тёмные, угрюмые тучи. Нет-нет да и брызнет крупными каплями короткий дождь.

У берёз высоких

Шли дни. Мы остро переживали смерть отца. Нам его не хватало. Но тяжелее всех нас, глубже всех переживала мать. На её слабые плечи, словно тяжкий крест, лёг один единственный вопрос – как поднять детей? Их трое!

Болезненная, сторбившаяся, одолеваемая кашлем и другими недугами, в душевных муках она искала выход из тупика, в котором по воле судьбы оказалась со смертью своего мужа. И этот вопрос, вставший перед ней в свой исполинский рост, казался ей неодолимым:

«Как же быть? Алексей был для нас надеждой опорой, мы спокойно шли за ним в будущее. Хватит ли у меня сил и времени, отпущенного судьбой? Ваня-то уже взрослый. Ему теперь жениться надо. Он сумеет постоять за себя и малышам поможет. А вот Коля! Хотя он и бойкий парнишка, хотя и работать уже умеет, да и напористый он, но всё равно ещё мал. А Петя с Маней?! Какое тяжкое горе свалилось на мои и на ваши плечи! И сколько ещё впереди придётся нам горя хлебнуть-пережить?!»

Эти вопросы когтями раздирали её душу. Мысли её путались, бежали прочь, вновь возвращались, опережая друг друга. Они никак не выстраивались в логическую цепочку, они не указывали выхода из создавшегося положения. Дни и недели томилась она ими. Бедная мать! У неё всё рушилось. Мечты и надежны уходили из-под ног. И она сама пыталась уйти из дома подальше от людей, выплакать до дна своё роковое горе. Она шла, сама не зная куда. Так она оказалась в конце передней усадьбы, перед овинами, в ту пору безлюдном месте, возле двух старых берёз. Берёзы росли, словно свечи, упёршись в северное небо.

Небо хмурилось. Холодный ветер с севера, со стороны Горней, полоскал длинные ветви берёз. Редкая травка поднялась в рост и под напором ветра склоняла свои головки к земле. Тут ни души! И даже птиц не видно. Выразительным силуэтом выглядят приземистые коричневато-зеленоватые овины на сером густо-облачном небе с редкими, словно оконца, просветами синей лазури.

Чтоб дух перевести, она остановилась, упёрлась рукой в серебристый ствол берёзы. Вокруг никого! «Тут всё как-то дико, холодно и неуютно! – подумала она».

Посмотревший на свой осиротевший угрюмый овин, мать ближе прижалась к берёзе, закрыла глаза, и в тот же миг из памяти её стали выплывать отдельные картины:

—...идём с Алексеем к овину по тропинке меж длинных картофельных полей, по луговой тропинке мимо высоких берёз, через мостик, готовить овин к новому урожаю. Он несёт гүменную корзину через плечо, в левой руке лопату и пустое ведро для ила. Я несу заступ и грабли. Собрались к овину Чумаковы и Мякошины. Радость встречи. Заступами и лопатами чистим, ровняем, трамбуем ладонь овина, руками смазываем её жидким илом. Алексей с Сергеем ладят соломенные заслонки. У всех приподнятое настроение: «Скоро и урожай поспеет!» И закишит крестьянский труд с радостью и потом пополам, с песнями, шутками и приговорками.

— Там, между нашим овином и Румянцевой ригой мы с Алёшей складываем скирды из равных золотистых снопов. Я наверху, вокруг себя снопы ряд за рядом кладу. Алексей снизу, с одра, подаёт мне снопы маленькими, двурогими стальными вилками с длинным деревянным древком. От высоты дух захватывает. Надо мной синее осеннее небо, плывут над головой улетающие журавли. Нежно курлыкают они в поднебесье. Много скирд стоит возле овинов — подобные сторожевым башням древних замков. При закате солнца они становятся тёмными, грозными столпами. Вот солнце скрылось за Свиными горами правее овина. Потемнело. Мрачными пугающими великанами стоят наши скирды в ночи...

...Бабье лето, солнечно и тепло, летит по воздуху космами белая путина. Деревянными резными вальками околачиваем коричневые головки льна, вытряхиваем снопики, рядом со мной стучит вальком Алексей...

...Вот Алёша запрягает Сокола в бочку с песком. Сокол головой мотает, пытается играть с отцом. Снопы лежат вершинками к вершинкам туго, комельками врозь. Деловито тянет, высоко поднимая ноги, тянет тяжёлую бочку по головкам льна Сокол. Алексей с гордостью за своего любимца управляет вожжами, немного откинув туловище чуть-чуть назад. Вытряхиваем снопики с раздавленными коробочками. Ведем их на веялке, маслянистые чудо-семечки стекают ручейками меж пальцами с ладони руки...

...Тёмная осень, холодно и дождливо. У овина под навесом темно, с фонарями, бабы треплют мятый лён. Пыль коромыслом. Под ногами груды льняной костры. Отец с Ваней приносят тяжёлые

кипы высушенного на печи избы мятого льна. Надо трепать, отбивать костру с серебристых волокон деревянным, как широкий меч, трепалом. Адская работа! По двенадцать часов в сутки машут женщины волокном и трепалом, плотно закутав свой рот и нос густо запылённым платком.

...Обтрепанные мною последние кипы измятого льна Ваня с отцом унесли домой. Лежит обтрепанный лён горой на верстаке в сенях. С любовью и радостью мы чешем и правим его круглыми, жёсткими щетинными щётками. Он становится гладким, словно полированный, шелковистым, душистым, отливает тёплым серебристым светом. Любо видеть этот лён. Приятно прижать мягкое, нежное волокно к лицу. Женщины и девицы тонкую нить прядут из такого льна. А после – посиделки с нарядными прялками, украшенными резьбой и киноварью, с песнями, со «страшными» сказками и с разговорами до полуночи. На ткацкий стан намотаны кросна – натянута основа с начатым холстом и быстрый с утком челнок и бело-розовый стан из берёзы радует сердце. Он занял собой половину чулана...

...Ещё совсем рано, чуть приподнялось солнышко от земли. На лугах ещё лежит белый туман. Мы вдвоём с Алексеем едем в город на зелёной с голубизной телеге. Сокол потряхивает гривой. Кругом рожь колосистая густая с тяжёлым колосом повисла над землёй. А Сокол идёт ходко по живой земле. Жаворонка трели звенят над головой. Благодать! Легко дышится.

...Вот большак! Цокают копыта и стучат колёса о дорожные древние камни. Вереницы крестьян едут в Бежецк на базар. А впереди сверкают купола церквей. Плывёт навстречу торжественный колокольный благовест. Поднимается настроение, в душе рождается желание увидеть в городе что-то хорошее. Как хорошо кругом!

...Ах, Алексей, Алексей! Как мне жить-то без тебя? Если бы ты знал, как мне трудно, как тяжело без тебя сейчас! Я поняла тебя! Ты своей смертью спасал мою жизнь с детьми. Воистину: «Смертью смерть поправ!» Может ты и прав, но только как же ты решился на такой страшный шаг? Я по тебе плачу день и ночь. Как же быстро пролетела наша жизнь. Ты так много работал. Не знали покоя твои руки. А на спине своей сколько ты переносил стекла в широком ящике по весенней и осенней грязище! Сколько измерил дорог ты своими ногами? И каждый раз я тебя ждала. Всю жизнь с детьми, в домашней и полевой работе, не зная отдыха и покоя. Зачем ты нас оставил, осиротил, Алексей?»

И вдруг её память высветила из прошлого несчастный случай:

...Яркое солнечное утро. Звериный рёв молотилки. Куча взбитой золотистой соломы. Сквозь пыль видныдвигающиеся женщины с граблями под навесом овина. Мужики на плечах выносят тугие охапки соломы к омёту. Горсти длинной ржи с полным колосом кипят, как в звериной пасти, в стальных зубах молотилки. Мерно ходят лошади в конном приводе...

Вдруг пронзительный крик отца: «Стой!» Он побледнел, закачался на ногах. Упал навзничь, потеряв сознание. У меня похолодело сердце. Что с ним? Все сбежались к нему. Нашатырём привели его в чувство. Отец в азарте далеко вперёд сунул руку с рожью к барабану. Стальной зуб ударил по пальцу, рассёк! Мать вновь пережила эту травму отца. С болью сжалось её сердце. Она ухватила рукой за грудь. На глазах появились слёзы. Она заплакала и сквозь душевную боль про себя, почти шепотом, сказала: «Да это же было совсем недавно, и года не прошло!»

И вновь поплыли вереницей перед ней радостные и горестные воспоминания:

...Широкая зелёная улица деревни, словно взлетевшая на Пунину гору. Внизу зелёный простор мохового болота с клюквой и куманикой, березняком, а за ним манящие к себе голубые дали. А кругом по взгорьям поля. Словно волны морские, под напором ветра катятся валы по широкому полю цветущей зеленоватой ржи. Зелёный сенокос и звон стальных кос, золотое жнитво, словно стройное войско, стоит на сжатом поле прямыми рядами – целая армия стоек из ржаных золотистых снопов. Стук тяжёлых цепов, серебристый обтрёпанный лён и узорная прялка с веретеном. Метёт ветер золото опавшей листвы, в небе тучи улетающих птиц. Зимние вьюги, метели, морозы трескучие. Вихрем санки летят по ледяной горе – смех и визг. Тесная бревенчатая закопчённая изба, высокие полаты под потолком, и сон на них, и сказки дремучих лесов под широким лоскутным одеялом, и босоное детство, промчавшееся мимо школы, в кругу сестриц и братцев и подруг, в потном труде на широких крестьянских полях...

Юность с мечтой о счастье, оваянная родными песнями отцов и дедов, музыкой берестяного рожка, первая любовь. И первое непоправимое горе – смерть в 1901 году от гангрены сорокалетнего отца, Степана Тимофеевича, хлебороба и Путиловского рабочего-котельщика.

...Мать! Концом платка она вытирает потное загорелое лицо, ласковая, хлопотливая, рукодельница – мастерица вышивать и вязать кружева. Никогда не унывающая, любимая Евдокия Яковлевна. Успевшая выдать замуж дочерей своих Аграфену, Анну, Марию и сынов поженить – Илью, Ефима, Петра. Умерла великая труженица в год смерти Ленина.

...У сестёр и братьев свои семьи, свои боли и свои невзгоды. Нет их рядом. Они далеко: Илья, Ефим в Горнях, Аграфена умерла, Пётр в Заручье, Мария в Бежецке, и не с кем свою боль разделить!

И мать ещё сильнее почувствовала своё одиночество. Душевная боль давит её, и она заливается слезами. Ей захотелось сесть на землю – отдохнуть, но силы быстро покидали её. Она не успела опуститься вниз, травой подкошенной упала на холодную землю. Складки её одежды шевелил ветер. Правая рука согнута в локте, острым углом выдавалась вправо. Левая рука вытянулась в сторону. А ноги с тёмным платьем сложились случайно так, что стали похожи на хвост большой чёрной птицы. Она лежала беззащитная и одинокая. Её тело сотрясало от глубоких рыданий, от великой скорби, от своей беспомощности, от невозможности уйти от навязчивых вопросов, от бессилия перед встающими перед ней жизненными задачами. И она плачем, слезами отдавала земле свою боль, свою печаль, свою скорбь по своему горькому неутешному горю, по своему утраченному счастью.

По небу ветер гнал тёмные, тяжёлые майские тучи. Трава шептала под ветром свою песню и стелилась к земле, как будто вместе с матерью была наполнена скорбью. Казалось, что и земля стонет, вторя рыданиям матери; шелест берёзовых листьев дополнял особую эту музыку страдания и жизни.

Мрачно стояли безмолвные тёмно-коричневые с серой накипью времени, с изумрудном лишайников на сломленных крышах овины. Летели галки, гонимые ветром, неуклюже кувыркаясь с боку на бок в полёте, редко издавая щелчковые, мелодичные звуки. И стонала Горнинская мельница, ветром наполненная в оперении крыльев.

Белая черёмуха

Порой узнаёшь от людей о том, как многие в конце своей жизни, потеряв и схоронив своего друга, любимых и оставшись в одиночестве, остро ощущая боль вечной разлуки, потерю духовной или материальной опоры, иногда не верят в смерть своих близких. Им кажется,

что человек не умер, что он просто куда-то вышел и вот-вот вернётся. Случается, что эта душевная боль уводит их от реальности и они глазами своими ищут ушедших в мир иной среди проходящих мимо людей.

Очевидно, такое состояние было и у нашей матери. Не верилось, что наш отец умер, несмотря на то, что она видела, как его, безжизненного, принесли домой на одеяле и пытались спасти его же товарищи. Несмотря на то, что она присутствовала на его похоронах, простилась с ним, видела, как его опускали в могилу.

Прошло более сорока дней после смерти отца. В нашей душе – незаживаемая рана. А на улице, в полях, на лугах и в рощах поселилось щедрое лето: травы поднялись и украсились первыми луговыми цветами; дружно взошли яровые; изумрудом сверкает озимая рожь, вытянувшись вверх. Луговина деревни покрылась пышным тёмно-зелёным ковром спорыша и низкорослой ромашки. В небе стремительно носились стрижи и ласточки. Поднимался благословенный Духов день. Деревня дышит праздником: все окна деревенских изб с Троицы украшены ветками молодых берёзок; с Градницкой колокольни слышен благовест; крестьяне одеты в праздничные – ражие, как у нас говорят, одежды, особенно женщины и девушки – в голубое, розовое, белое, а в волосах ленты алые, голубые – атласные. Старшие всё больше в белых, бежевых цветастых платках и кофточках. Люди собираются группами – поют, новости рассказывают или семечки щёлкают, а мужики в чёрных жилетках или в ситцевых цветных рубашках, в чёрных картузах или с обнажёнными головами, опёршись локтями в колени, курят под окнами на лавочках не спеша да о политике рассуждают – о колхозах, о фашизме. Парни и подростки играют в чирки, лапту, городки или в «попа-заганяла», в «шар-бабу». И над всем этим благодатным пиршеством – над деревней, над полями и лугами, над мохом – болотом и Мальчигой, высилось глубоким синим куполом, беспредельное, журавлиное небо. Да и не грех попраздновать, как раз это время небольшой передышкой после весенне-полевых работ перед сенокосом.

Тепло греет ласковое солнце. Воздух благоухает! Кругом царит покой и умиротворение. В этот чудесный день по тропинке от дома к сараям из дома шла мать, мягко ступая босыми ногами по прохладной земле в тени от двора. Её непокрытую голову ласкали тёплые лучи солнца. Впереди до сараев, в которых хранится душистое сено, золотился дужок с летающими над ним белыми бабочками. А вдоль тропинки, идущей к сараям, украшенной голубыми бликами, справа

теснится ряд кустов крыжовника. За ним, в конце ряда, широко раскинув ветви, находится большой куст чёрной смородины. Рядом с ним, возле тропинки, стоит хмельник с высокими кольями, по которым вьются, стремясь к солнцу, молодые зелёные стебли хмеля. По левую сторону тропинки, почти перекрывая её, прикасаясь к кустам крыжовника, стоит, вся в белом, благоухающая ароматом, как невеста в подвенечном платье, молодая черёмуха.

– Как хорошо кругом: мир и покой! – подумала мать. Она, повесив выстиранное детское бельё на гладко выстроганную жердь, вновь повернулась к белой черёмухе и обомлела:

– Я вижу и глазам своим не верю – из-за куста трепещущей белыми лепестками черёмухи идёт ко мне навстречу Алексей, согнувшийся под тяжестью гуненной корзины из прутьев, туго набитой сеном. Обеими руками он держится за верёвочную петлю корзины, перекинутую через плечо. Он идёт молча, не спеша, как будто о чём-то думает и меня не видит. Увидя его, я всплеснула руками: «Батюшки! Алексей!» Воскликнула не то от радости, не то от испуга. Дорогой мой! Ты жив?! Я сделала два шага ему навстречу, не выпуская его из своих глаз. Хотела к нему побежать. Но слёзы заволокли мои глаза, свет помутился. Всего только миг прошёл, пока глаза очистились. О, ужас! Я не вижу его! Нет Алексея! Пусто! Куда он девался, куда он ушёл от меня? И был ли он? Может так, мне померещилось? Что это могло быть? Что же со мной случилось? – Я испугалась.

А кругом по-прежнему золотистым светом горела зелёная трава, всё так же лепетала белая черёмуха. Бежала к сараям голубоглазая тропинка мимо высоких кольев хмельника, мимо высоких грядок с морковью, горохом, бобуном, мимо яблонь, и всё так же под лёгким дуновением ветерка шевелились головки луговой травы, так же беззвучно летали бабочки с цветка на цветок; жужжали снующие взд и вперёд трудолюбивые пчёлы, и так же звонко стрекотали кузнечики; шелестели листвою наши милые берёзы; на сочной зелёной траве всё так же золотились редкие одуванчики; возле нежно-розовых стволов берёзок кивали белыми венчиками ромашки и голубыми глазками улыбались незабудки. По-прежнему нет-нет да и блеснёт из высокой травы алым огоньком луговая гвоздика. И всё так же ярко светило солнце и струился нежный аромат черёмухи.

Прошло время!

– А где же наша мама? – хватился Ваня.

– Ушла бельё вешать в загараду, – ответил Петя.

Брат, ни слова не говоря, проворно ушёл из избы, быстро опустившись по лестнице крыльца, нашёл у черёмухи лежащую мать. Брат испугался, быстро подошёл к ней, осторожно тронул её рукой за плечо. Она очнулась. Вид её был болезненный и усталый. Он помог ей подняться на ноги, проводил её в избу и помог ей лечь в постель.

– Во мне всё болит. На сердце тяжело. Гнетёт мою грудь душевная тяжёлая боль. Что же это такое было со мной? Я поверила, что он живой! Как же это так! Ох, как всё болит...

Вскоре она крепко уснула.

В избе тихо. Только тикают мерно настенные часы, отмеряя вперёд летящее время.

Часть III

Прощайте, Жарки!



Я еду в Жарки

Далеко от древнего Киева находится моя деревушка, в которой я родился. Надо ехать поездом на север, за Москву, через Савёлово на Кимры, Калязин, Кашин, Сонково, Бежецк и ещё дальше на север – далеко затерялась она меж глубоких снегов, одетая в соломенную шубу, всем телом своим плотно прижавшись к уснувшей земле. Только ветер холодный воет над нею да щёлкает мороз по ночам, словно волчья голодная стая. А на ночном небе над ней золотые звёзды сверкают. И слышатся мне издалёка звонкие песни детей, неторопливая речь мужиков. Задушевные девичьи песни и тревожные голоса матерей.

О, Родина! Ты снова потянула меня к себе. С детских лет не бывал я в зимних Жарках. Какие они сейчас? Мне хочется увидеть бес-предельные белоснежные поля, берёз высоких серебряный иней, прокатиться в крестьянских санях и услышать лошадиный хrap, на-питье холодной воды из глубокого колодца возле летней избы Олены Даниловой, встретиться с друзьями и обнять всех родных.

И летит по рельсам стальной мой поезд – за окнами мелькают длинные ночные тени да редкие станционные огни, дремлют пассажиры, а в голове моей роятся воспоминания из прожитой деревенской жизни.

Позади Москва. Вторую ночь везёт меня электропоезд, и мне гре-зится Бежецк. Я радуюсь, что скоро буду в Жарках.

Вот и Бежецк! Поскрипывает снег под ногами. Прохожу через по-слевоенный, наскоро построенный вокзал. Бьётся радостно сердце. Иду по шаткому деревянную переходу через Остречину, покрытую толстым снежным одеялом. Кругом белым-бело. Дальше поднимаюсь по тропинке через широкую берёзовую рощу, посаженную бежецкими комсомольцами, рядом с гостиницей «Ленок» нахожу дом, в котором живёт моя двоюродная сестра Мария Петровна Верёвкина со своим сыном Серёжей. Конечно, не мешало бы после дальней дороги часика два поспать. В большой комнате, рядом с телевизором, ждёт меня привычный мне диван. Окна её квартиры на южной стороне дома упираются в глубокую песочную яму. Кажется, что из этой ямы руки трудолюбивых бежечан вынули неповторимой красоты храм женского Благовещенского монастыря и поставили его лицом к липовому буль-вару, украсив древний Бежецк архитектурным памятником, на ко-локольне которого висел и звучал самый мощный колокол в городе.

В полдень я навестил своих друзей Синицыных, Антонину Павловну и Георгия Михайловича. Радость дружеской встречи, расспросы и шутки. Я рассказал им о цели своего приезда: навестить родную деревню, посмотреть на свои Жарки. Да и фотографии надо сделать на память. Друзья пожелали успеха.

На другой день, 23 декабря 1988 года, часов в десять утра подошёл я к автовокзалу, где располагалась стоянка такси. Ни одной машины. Вдруг подъезжает «Рафик». Я к нему, прошу водителя подвезти меня до Заручья. А от Заручья я пешочком сам дойду, тут всего одна верста до моих Жарков-то.

Водитель в знак согласия предлагает мне сесть в машину. Мы покатили вдоль Большой улицы, проехали мост через реку Остречина, вдоль Красной слободы. Не доезжая до деревни Трофимцево, свернули влево на переезд через железную дорогу и понеслись в сторону Красного Холма. Через несколько километров будет и Заручье.

По дороге я рассказал водителю о цели моей поездки в Жарки, о себе, о своём творчестве, о бежецких художниках – Тыранове, П.П. Чистякове, И.М. Костенко, А.Н. Самохвалове, М.И. Кузнецове. Водитель машины проявил живейший интерес к моему рассказу, и мы быстро пролетели десять километров.

Вот и Заручье! Я спешу расплатиться за проезд, но водитель не берёт моих денег: «Не надо! Мне было приятно с вами ехать! Желаю вам успеха!» Мне тоже было приятно с ним беседовать, и мы дружески распрощались. Он быстро развернул свой «Рафик» и умчался.

Оставшись один на один, я почувствовал себя одиноко. Кругом ни души. Я всматриваюсь в постаревшие заснеженные заруцкие избёнки. Деревня постарела – избушки как будто сжались, присели к земле. Сильно поредел третий посад Заручья, который, как старушечий беззубый рот, сияет пустотами и зарос кривыми деревьями. К моему удивлению, сохранился старый колодец, по крышку увязший в снегу. А когда-то этот посад был густо заселён крестьянскими домами.

Постояв немного, собравшись с мыслями, я направился в Жарки. Пересёк краснохолмское шоссе и попытался спуститься вниз в сторону Жарков, помня старую полевую дорогу через Выгорду. К великому удивлению, я попал в глубокий снег выше колен. И видя впереди родную деревню, я продолжаю идти к ней, глубоко утопая ногами в снегу. Так прошёл около сотни метров и почувствовал, что идти дальше не могу: стал задыхаться, еле вытаскиваю ноги из снега. Сердце колотится, а впереди ещё надо пройти почти версту. И я был вынужден вернуться обратно на дорогу.

Как попасть в родную деревню? Нужны лыжи! Вспомнил, что в Заручье живут наши деревенские, Нина и Николай Веселовы-Орловы. Ободренный этой мыслью, выбравшийся из снежного плена, я зашагал вдоль улицы в противоположный конец деревни, к бывшему Пушкинскому дому, в котором проживают Веселовы-Орловы. Вспомнил, что в 1928 году в праздник Святого Николая, будучи мальчишкой, я вместе с отцом приходил в этот дом.

Рассказал, что зашёл их навестить и позаимствовать на время лыжи. Лыж у Николая не оказалось. Придётся ехать обратно в Бежецк. И вскоре я уехал с рейсовым краснохолмским автобусом.

Утром 24 декабря я делаю новую попытку добраться до Жарков. На этот раз на такси через Заручье, Сокольниково, Горни в Жарки, делая большой крюк.

И вот мы мчимся через Заручье, а дорога поднимается всё выше и выше. На перекрёстке дорог остановили машину и вышли с водителем на великий простор – во все стороны уходящие дали, деревни, перелески до горизонта. Дух захватывает от такого простора. Шоссейную дорогу пересекает дорога, идущая направо в Градницы, на Теребни, в Хотенку, к Слепнёвскому холму, где было имение Гумилевых. Я попросил водителя подвести меня поближе к Градницам и с грустью смотрел на полуразрушенный храм Св.Троицы, вспоминая Пасху 1930 года. Вижу тёмный силуэт заросшего диким лесом кладбища, где покоятся крестьянские души градницкого прихода, там же мои деды-прадеды, мать и отец. Я сделал три снимка на память. Потом развернулись в обратную сторону. Поехали, пересекая шоссе, в Сокольниково.

В моё школьное время в этой деревне было двенадцать крестьянских дворов. Тут жили и наши товарищи по горнинской школе: Коля Голубев, Ваня Густов, братья Пуховы Володя и Вася, брат с сестрой Веселовы. Теперь на голом поле стоят сиротливо только два домика, как два зуба во рту старика, ни одного деревца. Мы быстро проехали мимо этих сиротских домиков и через пять минут уже неслись вдоль Горней. А горнинские избушки, словно воробышки, выглядывают из глубокого снега. И за деревней, возле скотных колхозных дворов, где раньше стояла горнинская ветряная великая мельница, дорога остановилась. Толстым слоем лежит нетронутый снег. Мы с водителем посмотрели на Жарки через белоснежное поле, покачали головами. Видит око, да зуб неймёт! Я сделал снимок далёкой деревни, потом мы развернулись и поехали обратно не солоно хлебавши.

Обескураженный второй неудачной попыткой попасть в Жарки, я пришёл к Синицыным.

— Что делать? — спрашиваю их. — Мне нужны лыжи, а где их взять?

Милая Антонина Павловна мне отвечает:

— Вот тут рядом с нами есть «Пункт проката». Я уже говорила с заведующей, идите, Николай Алексеевич, к ней.

Я выбрал отличные лыжи с лыжными ботинками и палками по росту и в радостном настроении вернулся к Синицыным. Антонина Павловна ещё предложила мне шерстяную куртку Георгия, и я ушёл к сестре.

Сегодня воскресенье, 25 декабря 1988 года. Раннее морозное утро. Голубоватой дымкой подёрнут весь город. Я иду с лыжами на плече и в лыжных ботинках к автовокзалу. Рядом со мной идут и бегут озабоченные бежечане. Только и слышишь морозные скрипы шагов. Двадцатиградусный мороз бодрит. И есть уверенность, что теперь я попаду Жарки!

Мне опять нужно такси. На автостоянке встречаю светло-коричнево-красную автомашину — частное такси. Хозяин такси за пять рублей обещал подбросить меня в Заручье.

И опять, как в прошлый раз, я рассказываю водителю о бежечких художниках. Делюсь с ним тревогой насчёт создания картинной галереи в бывшем доме братьев Неворотиных.

Вот и Заручье! Я испытываю приятное ощущение свежести родного воздуха. Надеваю лыжи и с большим удовольствием спускаюсь с шоссе мимо кривых деревьев, кустарников и старого колодца. На груди болтается фотоаппарат. Свободно отталкиваюсь палками, быстро продвигаюсь вперёд по толще снега Выгордцы. Приближаясь к цели, фотографирую мои Жарки. Сердце стучит от радости. Я поднимаюсь в гору. Всматриваюсь в родные Жарки. Вот здесь была наша околица!

Здравствуй, родина!

Здравствуйте, Жарки! Здравствуй, родина, моя милая деревня! Прими, обогрей меня, сына своего! С волнением и нетерпением я подъехал к родной колыбели и встал возле бывшей околицы. Избы стоят предо мной, утонувшие, как в половодье, в белом глубоком снегу. Промёрзшие, брошенные людьми, темными, немymi глазами окон глядят в пустое небо. Их осталось всего только шесть! А ведь было двадцать девять! Крестьянских сосновых домов, житниц, овинов, сараев, дворов.

Родина! Что с тобой случилось?! Похолодела душа. Скорбное чувство пронизало насквозь – как будто к гробу покойной матери подошёл я сюда! Тихо! Ни звука! Мёртвая, как в преисподней, стоит тишина.

На холодном снегу нет дороги из Горней, нет её и в Заручье отсюда. Нет дороги и в нашей деревне, накатанных дубовыми полозьями широких крестьянских саней. Нет и пешеходных тропинок, прорытых в морозном глубоком снегу. Скатертью белоснежной затаянута наша улица. На искрящемся морозном снегу нет звериных следов. Не видно и птиц, как будто ветром их унесло!

Не дымят нынче в деревне, над снежными крышами, печные трубы, и вкусные запахи не ощущает мой нос. И женщины, закатавшись старыми полушалками, не гремят пустыми вёдрами о колодезный лёд. Крестьянин не гонит в широких санях вдоль деревни, и звонким смехом не заливается деревенская детвора, катаясь на деревянных салазках, на льдом подмороженных козлах с невысокой деревенской горы.

Никто не встречает меня! Некому «здравствуй!» сказать. Вымерло всё, чем когда-то тут жизнь наполнялась. Как будто здесь люди не жили, и не трубил с перебивками звонко по утрам длинный берестяной пастушеский рог. Как будто в широких полях не колосилась под упругим ветром любимая матушка рожь. Или молнией стальные косы в зелёных росистых лугах не сверкали, срезая душистые травы в цветущий валок. И как будто под лучистым солнцем и двурогой золотой луной не расцветала молодая любовь и свадеб весёлых с криками «горько» тут не справляли. И не рождались чудесные дети – наследники наших отцов. Гуляла здесь крестьянская масленица, и пиво хмельное по крестьянским устам текло!

Мужики наши разве не работали в Петрограде – Ленинграде на Путиловском, Металлическом заводах? Не клепали паровые котлы, лафеты пушек на Охтинском химкомбинате? И сегодня их взрослые дети помнят рассказы своих отцов: 9 января 1905 года они слышали свист царских пуль, испытали на себе удары казачьих сабель и нагаек, видели трупы расстрелянных, запекшуюся кровь на январском снегу.

1914 год. Кровавая бойня народов Европы. И наши мужики там, в окопах! Тысячи смертей проносятся над ними. Каждому снаряду низко кланяются, слышат стоны искалеченных и проклятья царям от погибающих. Они были свидетелями и участниками братания с немецкими солдатами. Некоторые из них полной мерой испили чашу позорного немецкого плена. После Октябрьской революции

они бежали и вернулись в Россию, к родной земле, в Жарки, к семьям своим, к плугу – один из них наш деревенский земляк Степан Никитич Волков.

1917 год. В октябре – вместе с восставшим народом Петрограда с оружием в руках, под красными стягами наши отцы штурмовали царизм и власть буржуазии и установили в России советскую власть! В этой революционной битве участвовал мой отец, Алексей Степанович, солдат учебного отряда Волынского полка, которым командовал старший лейтенант Кирпичников.

После революции вернулись в Жарки к жёнам, к детям из Петрограда – Николай Мареев, Василий Платонов, Григорий Федин, Алексей Родин, Михаил Тяплов, пришёл из плена и Степан Волков. Ждала земля крестьянских сынов – истосковалась она по крестьянским рукам.

В огне гражданской войны крестьяне вместе с рабочими защитили советскую власть и освободили наше отечество от белогвардейских полчищ и иностранной интервенции четырнадцати государств! Кажется мне, что недаром дедушка Фука Чурбанов носил брюки-галифе красные, отдыхая на заваulinке. А братья Соколовы – Александр и Василий? Василий, в длинной шинели, со шпорами на сапогах, с орденом «Красной звезды» на груди, длинной саблей в чёрных ножнах на боку, нередко приезжал в Жарки на красивом золотисто-буланом коне.

В январе тридцатого года наши крестьяне организовали в нашей деревне колхоз с названием «Новая жизнь»! Все учились работать сообща – работали дружно, весело, с песнями! И наши крестьяне-колхозники стали друг к другу ближе!

Кругом лишь белеет нетронутый снег...

Вот они, незабываемые, стоят, как будто перед судом вечности, покинутые, словно преданные, не укрытые заботливой крестьянской рукой соломенной шубой от земли до карнизов. Темными островками смотрятся они на этом ослепительно-белоснежном море стихии, и все молчат! И некому оплакивать их!

Мне страшно признаться: как будто стою при погребении родной деревни! Страшно и больно! От волнения перехватывает горло, по спине пробегает озноб. Исчезли многие избы, дома-пятистенки, все сараи, житницы, овины, загороды. Кругом лишь белеет нетронутый снег!

Солнце скрылось за пеленой серовато-охристых облаков. Ветер подул. Неба цвет помутился. Полетели наискось хлопья белого снега. Страх пронизывал на мгновение меня – жутко мне стало! Чувство великой утраты, как безнадежный вопль, сковало меня. Оно растёт и усиливается. И синевой отливающий снег, затянувший всю землю вокруг, ещё больше подчёркивает трагедию нашей деревни.

Я стою возле бывшей нашей околицы. Отсюда начиналась деревня. Через воротца летом дорога катилась глубокими колеями к Горням через ржаное поле. В иной год – льняное или клеверное. Дальше, через ручей, по которому проходила граница между полями Горней и Жарков, мимо величественной ветряной горнинской мельницы и деревенской кузницы. По этой дороге ходили мы в Горнинскую школу. Наши крестьяне этой дорогой, через Горни и Сокольниково, ходили в Градницы, в церковь Св.Троицы, в наш великий храм, на градницкий погост провожали родных, где покоятся наши предки.

Ветер усилился, закрутился снег над спящей землёй. Снежным вихрем пахнуло в лицо. Сквозь снежную муть ярко светит зимнее солнце, освещая остатки деревни. Заскрежетала оконная рама створка, захлопала дверь чьего-то крыльца и тихо застонали со скрипом постаревшие чьи-то ворота.

Вторая дорога из нашей деревни проходила рядом с огородом, мимо Рябинкинова палисада. В сенокосную пору в этом палисаднике стук молотка раздавался: это дедушка Матвей, высокий сухопарый старик, или сын его, Василий, с поврежденной правой рукой, отбивали стальные косы на бабке-наковальне со скамеечкой.

Давно нет рябинкинова дома. Нет и красивого, изумрудом отливающего палисада. Осенью теплой в изумрудной траве лён золотистый после околота тонким слоем-дорожкой расстилали на лёжку, как будто зелёную Выгороду украшали золотистыми коврами. А на вечерних лугах песни девичьи радость и тоску навевали.

От воротец по правую руку от меня огород. А недалеко от пруда, на бугре, как величественный храм, стояла горнинская мельница. И весь пейзаж собирался вокруг неё – она была осью нашего пейзажа. А за чурбановым овином высокая роща могучих осин росла, в шелесте листьев этой осинової рощи ропот тревожный слышался мне.

За овинами крестьяне-колхозники сеяли рожь, а внизу, ближе к торфоболоту, на сырых полосах – овёс. На этих овсах, кистями звенящих, часто на исходе дня журавлиные стаи садились на отдых.

Деревенские воротца

Внизу в конце деревни, с южной стояли двое воротцев. Левые вели дорогу через поле, к Городу, правые – в поле к Ближней Мальчихе, к Моху, к деревням Рыкулино, Ременье, Фралёво, Сгубово. Мы любили эти воротца, особенно левые. Дорога через них вела нас в Бежецк. Только восемь вёрст отделяло нас от города. И часто мы в город ходили пешком, ездили на телегах, одрах. Едешь или идёшь, а мысли твои убегают вперёд, в город!

У каждого поля свой неповторимый характер и свой аромат. И дорога вела меж высоких хлебов по живому травяному ковру. После мостика дорога поднималась вверх, и мы снова оказывались среди роскошной ржи или золотисто-оливкового льна. Направо, в голубоватой дымке, во всём своём величии шелестит листвою наша Мальчиха. Чуть правее её манит к себе далёкий горизонт голубой. За домами, за берёзами скрываются все дома и избы Жарков, утопающие в зелени высоких деревьев. Всё дышало очарованием. И в душах людей, переполненных красотой, звучала поэзия родной земли. А в воскресенье дети выходили в поле за левые воротца и встречали своих родителей из города.

В 1932 году по этой дороге мать отвела меня в город к своей сестре Марии Степановне Неворотиной, чтоб устроить меня в городскую семилетку. Сама она была неграмотная. Старший брат Ваня окончил только начальную школу, а Петя и Маня были ещё маленькими.

В 1933 году, 20 июля, на этой дороге мы встретили умершую нашу мать. Её везли из города на зелёно-голубой телеге, покрытую тёмным одеялом. Ваня вёл Сокола под уздцы. Мы втроём – Петя, пятилетняя Маня и я, – осиротевшие, со слезами на глазах, бежали за телегой. Это поле стало для нас ещё и полем скорби и печали.

Потом дорога мягко катилась среди кустарников по мостику через Чёрную речку. И вот уже краснохолмский столбовой большак с гудящими телеграфными проводами, с булыжной мостовой, с вереницами крестьянских подвод, едущих из деревень на базар. Перед переездом через железную дорогу в просветах между елями мелькает отражённым блеском солнца водная гладь Остречины, притока широкой Мологи.

Гремит мостовая стуком колёс, лошадиных подков, сливаясь с колокольным звоном в единую симфонию воскресного городского утра. Солнце освещало всё ярким радужным светом. Праздничное настроение охватывало всех едущих и идущих крестьян в город на базар. И теплилась на лицах улыбка радости и надежды.

Огород от левых воротец шёл влево до огорода Выгорды, закрывал крестьянские усадьбы, загороды, тёмного посада от поля, от пасущегося в нём скота.

И правые воротца мы тоже любили. В этом поле мне больше всего запомнилось жнитво серпами! Средь высокой ржи кругом мелькают белые платочки и белые женские рубахи. Серые и белые рубахи мужиков. Красные майки или обнажённые спины парней и подростков. То и дело над рожью поднимаются люди со сжатой горстью ржи, поддерживая серпом и вновь опускаются вниз. Я жну вместе с родителями и братом Ваней. Болит спина!

– Колька! Колька! Почаще наклоняйся! – кричит на меня отец.

– Папа! У меня спина болит!

– Ничего! Заживёт! Скоро обедать будем! Отдохнёшь!

И так до вечера.

Низкое солнце освещает всё малиновым цветом. По земле тянутся длинные сине-изумрудные тени. Идут коровы, поднимая розово-синеватую пыль. Слышны нестройные звуки овец, отрывистое мычание коров и щелчки пастушьего кнута.

От правых воротец огород шёл стенкой прогона, мимо деревенского пруда. По прогону, как по трубе, прогонялось стадо. Иногда прогоняли и табун лошадей. А жива ли сейчас Мальчиха наша и Мох наш любимый – храмы нашей природы зелёной, расположившейся среди широких хлебных полей. В этих девственных местах мы так любили собирать грибы и ягоды, ломать веники и плести корзины, купаться под струями водопада и дышать воздухом первозданной природы. То были места наших сладостных детских утех и забав!

Вот и замкнулось кольцо вокруг нашей деревни. Вся деревня со своими полями и лугами, со всеми крестьянами, избами-домами, со всеми полевыми работами, со всеми людьми стоит перед моими глазами! Древнее имя ей дали наши далекие предки.

И некому слово сказать...

После короткого затишья неожиданно налетел ветер. Порывами погнал позёмку. Набатом захлопали от ветра ворота брошенной избы. Ещё пуще заскрежетала оконная створка и застучала крылечная дверь. Я стою, как потерянный, не в силах сдвинуться с места, и то, что я вижу перед собой, потрясает меня.

Куда Вы скрылись, дети природы! Что потянуло вас в город? Крылатые мельницы исчезли. Православный храм разрушен. Леденеет душа от судьбы роковой!

В конце тридцатых годов председатель нашего колхоза «Новая Жизнь» Александр Соколов продал свой дом Николаю Данилову. Александр со своей семьёй выехал в город, иные люди говорили, что он уехал в Сонково. Помню случайную встречу с ним в вагоне поезда. Я ехал в Ярославль в художественный техникум-училище с летних каникул. Вдруг в купе вагона входит постаревший, небритый бывший председатель нашего колхоза, Александр Соколов с большой, продолговатой корзиной из очищенных, розовато-золотистых прутьев с пирожками и булочками. Как! Председатель торгует булочками в поезде?! Растерявшись, я даже не поздоровался с ним. Мы встретились глазами. Мне было неудобно за свою оплошность. Он поспешно прошёл в другое купе. Больше мы с ним не встречались.

Николай Данилов в предвоенные годы за неоднократные поджоги в деревне и в колхозе был осуждён и заключён в тюрьму, в которой умер во время Великой Отечественной войны. А вдова его, Мария Яковлевна Чуйкина, родом из деревни Заручье, коротала свой вдовый век с маленьким сыном Валентином. Время шло, мальчик юношей стал, счастьем, надеждой для матери был. Армию честно он отслужил и вернулся к отчому дому, в Жарки. Позднее работал председателем колхоза в нашем районе. От рук бандитов погиб, и для матери одинокой солнце жизни закрылось. Больная, потерявшее зрение женщина беззащитную старость свою переживала. Теперь Соколов-Данилов дом стоит одинёшенек, с заволоченными окнами, хозяйку дома, Марию Яковлевну, больной увезли в Борисово – в больницу, которая располагается в доме бывшего имения Кузьминых-Караваевых.

А за Даниловым, за этим беспризорным домом тянется в глубину деревни снежное голое поле. Нет малютки-избы Николая Шелкова. Нет трёхоконной избы с широким двором, Ильи Румянцева. Нет ста-

рых чёрных, из крупных брёвен, глубоко вросших в землю, под горбатой почерневшей соломенной крышей двух изб Фёдора Орлова. За Чурбановой избой виден дом-пятистенник Николая Никифорова. Как богатырь, стоит он на высоком деревенском холме.

Я всё ещё стою возле бывшей околицы нашей. Не могу сдвинуться с места. Лыжи в снегу проседают к земле. Вместо деревянных крестьянских домов тянутся к небу холодному дикие деревья густым частоколом. Там, где стояли сенные сараи, в гуще лесной на вершинах грачиные гнезда чернеют, и ветер качает их, как колыбели!

Только один Федин дом стоит, зеленовато-коричневым, почти чёрным силуэтом резко выделяясь на фоне белого снега. Я хорошо помню эти избы с середины двадцатых годов. Они были выразительны безысходной бедностью и нищетой. На их фоне новый золотистый дом Ивана Басова выглядел дворцом. Я часто ходил к Федеиным в гости – к их сыну, моему товарищу Кольке. Он был только на год моложе меня.

Ветер снова усилился. Закружился снег над сонной землёй, и с порывами ветра повторяется снова и снова скрежет створки оконной. Ему вторят глухо и мрачно чьи-то ворота, и тревожно грохочет крылечная дверь. Это последняя песнь умирающей нашей деревни гложет душу мою, как прожорливый зверь.

Шагают хмурые двадцатые годы

Тёмное, низкое, морсящее небо висит над головой. Не видно просвета. Ещё не пробудилась земля от зимнего оцепенения. Она пока ещё окрашена цветом прошлогодних побуревших листьев и тёмно-оливковым цветом гнилой травы. Под нашими окнами плачут могучие берёзы. Кажутся чёрными в загорах старые, суковатые, яблони. Истуканами сидят на берёзе чёрные с синеватым отливом грачи. Каркает где-то ворона. В непроходимую грязь превращена проезжая дорога. Тоскливо мычат коровы. Кругом сыро, грязно, уныло. Шагают хмурые двадцатые годы.

Прошёл год с небольшим, как умер Ленин. Траурные ленты и еловые веточки ещё не сняты с портретов его. Часто я слышал имя его в разговорах крестьян. В избах с настенных календарей смотрит на нас нарисованный Ленин. В беседах мужиков и парней слышны отголоски Гражданской войны.

Из окон нашей избы каждый день я вижу Орлов дом. В каждой его избе – по два маленьких окна. Между избами с улицы нет крыльца, и нижние сени между ними закрывала одна лазейка. Не переставая моросит небесная влага. А на улице уныло и тоскливо. Не каждая мать в такую погоду выпустит погулять своего маленького ребёнка.

Гуляя на улице, каждый раз захожу посидеть к Лёньке Орлову. В деревне их часто называли «Трешиными», и нередко от взрослых приходилось слышать:

– Вон Трешиха бежит и пятками сверкает!

Но в бумагах они писались всегда Орловыми и дядю Фёдора – главу семейства, всегда называли только, Орлов!

Через лужу мутной весенней воды я переступаю через порог, потонувший в сырой земле. И тянутся от порога чёрные половицы до лестницы верхних сеней. Осторожно пройдя эти скользкие сени, я поднимаюсь по лесенке, чёрной, как и пол, от налипшей земли. К сениям подходит чёрная корова, освещенная небом через дыры в ветхой крыше двора, и тянется ко мне головой, облизывая губы шершавым языком. Я боюсь её и быстро проскакиваю мимо.

Вхожу в их низенькую полутёмную избенку. Вся их большая семья сидит за столом. Завтракают! На столе стоит чёрный чугунок с горячей картошкой в «мундире». Пар поднимается от него к потолку. Каждый берёт картофелину и чистит её руками, макает её в крупную соль, прикусывая хлебом. И сидят они за столом на лавках широких, идущих вдоль стен, с чувством человеческого достоинства, мира и согласия.

Тёмным сидуэтом на фоне освещённого окна сидит Фёдор Яковлевич. Тетя Саша стоически выдержала нужду, недоедание, безденежье в болезнь мужа. Дядя Фёдор был больным человеком, иногда не мог работать. Иногда я видел его читающим книгу или старый журнал, что редко было в деревне.

Часто мне приходилось гулять на улице с братьями-близнецами Басовыми, Петром и Павлом, с Лёнькой Орловым. С нами был ещё Колька Бусин, белолицый, со светло-русыми волосам и голубыми глазами, сын Алексея Бусина и тётки Прасковьи. Мы бродили по деревне. Нас в каждую избу пускали – не обижали. И даже иногда угощали чем-нибудь вкусеньким.

На этот раз мы отправились к Вале Соколовой. Эта славная девочка очень нравилась нам. Их изба стояла на красном посаде, вторая от края деревни.

Какое старое, изношенное у Соколовой избы крыльцо: двери косо висят, ступеньки все сгнили, разъехались, под ногами хрустят, рассыпаются. Наличники тоже облезшие. Мы, мальчишки, нередко бывали в их избе: пол от порога к окнам вниз покатился. Бабушка Авдотья, старостью сморщенная, лежит на печи, приветливо смотрит на непоседливую ребятню. Над головой низко висят широкие, во всю ширину избы полати. Старые щелястые стены давно стали прибежищем тараканов. Тускло блестят позолотой иконы в переднем углу. Лампада потухшая висит перед образами, засиженная мухами. Тикают старенькие ходики на золотисто-коричневой потемневшей стене. На улице под окнами палисад небольшой у самой проезжей дороги, обнесённый состарившимся заборчиком из тонких досок.

У Александра Ефимовича Соколов и его жены Евдокии растёт чудесная девочка лет шести, Валя, красивая доченька с голубыми глазами – радость большая в их семье!

Мы часто гуляли в поле к Горням. Ходили к ручью, пытались его вброд перейти, а воды в ручье много, бежит она с сильным напором, и дно ещё ледяное, скользкое, и ноги наши уже промокли, и руки замёрзли от холодной воды, и мы поспешили обратно в Жарки. Перейдя грязную дорогу, в воротцах всей гурьбой ввалились в Бусину избу – благо, стоит она первая на красном посаде. Там Колька живёт с лицом в ямочках от оспы. Он на год старше нас, и мы с ним в карты играли – в «подкидного». В избе у них чисто, опрятно. Дом высокий, добротный. Четыре окна по фасаду, с улицы до окон руками не достанешь.

Зимой вокруг этого дома, в воротцах, ветры наметали сугробы, они доставали до крыши, иной раз поднимались и выше, и воротца околицы совсем в снегу утопали. Страшно было на эту снежную гору забраться. С санями и лошадьми было опасно проезжать. Однажды наш Ваня ночью возвращался из горнинской мельницы. Сбившись с пути, он обошёл все наше поле до Мох. В темноте наткнулся на изгородь, отделяющую поле от Мох, и на ощупь вернулся к деревне. В этой беспросветной кутерьме набрёл на сугроб и впотьмах провалился вниз. Он долго шарил в темноте между стенкой сугроба и соломенной запеледкой дома. Еле выбрался. И вьюгу и сильный снегопад в темноте ночи адом крошечным назвал. Это был дом Михаила Бусина, умершего от тифа в девятнадцатом году. Осталась вдовой жена его Анна Михайловна с пятью маленькими детьми.

Напротив Соколовой избы, через улицу, стоит такая же изба – родная сестра избе Соколовых. И тоже в землю по окна выросла, и тоже

три окна по фасаду, и крыша круглая, на четыре ската, от внешней воды почерневшая, и двор соломой покрыт. Вместо крыльца – площадочка из толстых половых досок, ногами и погодой изношенная, от земли чёрная, с лесенкой в две ступеньки. И сени тёмные в сторону избы накренились, и дверь избы открывается плохо. А в избе русская печь справа большая, и на коричневой левой стене висит вороненое ружье. Мы, мальчишки, с восхищением смотрели на это двуствольное ружье! А ещё на этой стене, ближе к полатам, чучело удивительной птицы висит – серый сокол с распростёртыми крыльями на одной ноге на суку сидит. Мы восхищаемся им! Часто зимой мы видим дядю Сергея, возвращающегося с охоты на лыжах широких.

В январе тридцатого года в этой старой избе проводилось собрание наших крестьян с представителями из Бежецка от тогдашних властей по вопросу организации в наших Жарках колхоза. Вся деревня собралась к Чумакову дому. Не было равнодушных. Шли семьями. Дверь в избу была открыта настежь. С этого вечера, с этого собрания, начались несчастья нашей семьи.

В воскресенье мать-старушка...

Однажды в ненастный день в деревню приехал бежецкий фотограф Пётр Михайлович Дружинин. На крыльце Никифорова дома во всю высоту его повесили картину, написанную масляными красками на полотне: сосновый лес и многоэтажный белый дом. Потом Николай Никифорович, хозяин дома, вынес два венских стула. Фотограф перед стульями поставил свой ящик на трёх ногах.

Отец и мама одели нас с Петей. На меня надели пальто, картуз и кожаные сапоги. Ваня оделся в серое полупальто, а на голову надел чёрную каракулевую шапку стожком. На Петю надели тёплое пальто на вате, валенки и шапку-чухонку, – ему тогда было около трёх лет. Папа оделся в чёрный ватный пиджак, в чёрные с калошами валенки, а на голову надел свою любимую чёрную каракулевую шапку. Мама надела чёрный кружевной шарф, короткую стёганую кофту и длинное широкое платье. Папа с мамой сели на стулья. Я стал возле отца слева, Ваня за спиной отца и матери, а Петя прижался к маминым ногам. И вот мы все чего-то ждём, а фотограф, накрыв свой аппарат и свою голову тёмно-синей накидкой, долго смотрел-ворожил.

Наконец, сняв себя накидку, он обратился к нашим родителям:

– Вы чуть-чуть ближе друг к другу сядьте! Чуть прямее! А ты, мальчик, ближе к отцу прижмись. Чуть выше головы! – И снова посмотрел из-под накидки в ящик. Сняв с себя накидку, выпрямившись, торжественно показал на трубочку, выступающую из жёлтого ящика, и показал на глазок объектива:

– Все смотрите сюда! Сейчас птичка вылетит!

Снял с чёрной трубочки чёрненькую крышечку и, сделав красивое движение рукой, сказал:

– Ну, вот и всё!

И закрыл трубочку чёрненькой крышечкой. Я так и не увидел птички, а Петя спросил, почему не вылетела птичка, и заплакал.

Никифоров дом с прирубом очень похож на наш дом. Тоже украшен деревянной прорезной резьбой под стрехой крыши вокруг дома и по фронтому балкона. Стены дома уже потемнели, но древесина ещё крепкая. Раньше, как говорили крестьяне, хозяин любил выращивать молодых жеребчиков, купленных на рынке. Вырастив и откормив их, продавал на конном базаре в Бежецке. Надо же помогать своему старшему сыну, Шуре, который учится в Питере! Не раз дядя Николай хвастался: «Шурка-то мой молодец! Хорошо учится! Инженером будет!» Они с женой Верой гордились сыном-то своим.

Есть у них и второй сын – Пётр, одноклассник и товарищ нашего Вани. Он, как и мой брат, тоже помогал по хозяйству своим родителям, и оба они имели только по четыре класса начального образования.

Наш отец и дядя Николай, с детства были друзьями. В один год женились, и оба были тружениками. Как мне думается, они негласно соперничали между собой.

Дом Никифоровых стоит на самом высоком месте в деревне. С красного посада он смотрит окнами и балконом как раз в промежуток между избами Олены Даниловой и Григория Федина, в Заручье, навстречу восходящему солнцу. А дядя Николай всегда в движении. Он не терпит покоя. Ему трудно, когда нет работы. Жена его, тётя Вера – спокойная и ласковая женщина, и никогда от неё не услышишь громкого слова. Николай Никифорович на крестьянских пирушках или в посадках выпьет, бывало, рюмочку за компанию. Раскраснеется, приложит левую руку к уху и затынет любимую:

*В Воскресенье мать-старушка,
К воротам тюрьмы пришла,
Своему родному сыну
Передачу принесла...*

Женщины, слушая его песню, концом платка набежавшую слезу снимали.

*Отворите, отворите,
Вы железны ворота,
Ноги старые устали-
Сорок вёрст пешком прошла.*

За Никифоровым домом тянется пустое пространство. На нём две ямы. Летом они обрастают травой, теперь они стоят открытыми. В них когда-то людские жизни цвели. Жили в них радость и смех и песни старинные о счастье и нужде.

Часто я бегал мимо этих незаживающих ям в поседки к Кольке Тяпилову и всегда с необъяснимой болью смотрел на них: кто же здесь жил? Такая же яма находилась правее Липатова дома, напротив пруда. Одичавшие яблони сиротливо стояли на краю убогой деревни и по зимнему ветру, морозом скованные, скорбно и жалобно ветвями гудели они. А в летнее время между этой ямой, воротцами и деревенским прудом, на луговине зелёной в воскресные дни наши парни с азартом играли в чижика.

В середине деревни напротив этих двух ям, на той стороне улицы стоят два дома. Слева сквозь заросли молодых берёз и осинки проглядывают чёрные с тёмно-синим, сизоватым отливом две избы Григория Фебина под четырёхскатной истлевшей драночной крышей. Они выглядят жалкими, скорбными на фоне нового добротного дома соседа Ивана Басова. В избах царит полумрак, теснота. Дух бедности и нищеты господствует в них.

Дядя Гриша большими охапками носит солому в подстилку скоту. Лошадь у них была невысокая, кругленькая, тёмной масти. Старший брат Коли Иван очень любил кататься на ней верхом без седла.

Помню, как Григорий Фёдорович зимой в двадцать пятом или двадцать седьмом году привёз из Старой руссы яблоки и продавал их в деревне. Наш отец купил десятка два и принёс их в шапке как гостиницу для нас. Они были небольшие, но ароматные, красно-золотистые, сочные и очень вкусные.

Почти вплитык к старым чёрным избам Фебиных стоит новый, красноватый, словно из медных брёвен, дом-изба в три окна со светёлкой. Дом выглядел дворцом. Это единственный новый дом в деревне, построенный в самом начале или даже перед началом двадцатых

годов. Это был дом Басова Ивана. В его облике было что-то азиатско-татарское. Часто я ходил в их избу к его сыновьям, моим одноклассникам Петру и Павлу – единоутробным братьям. Мои товарищи частенько путали их. А они только смеялись над нами.

В избе их золотисто-сосновые стены здоровьем дышали. Было светло, просторно. Потолок поднят высоко, воздуха много! «Гордо, конём ходил хозяин вокруг своего дома!» – шутили соседи. Не получился палисад у дяди Ивана. Посаженные им берёзки из мягкой лесной земли не приняли деревенскую сухую, утрамбованную почву. Зато хорошая у них была лошадь: высокая, тёмно-рыжей масти, с белой лысиной вдоль головы. Спокойная и работающая. Когда в 1931 году в нашем колхозе поменяли лошадей, вся наша семья была довольна её спокойным характером.

За второй квадратной ямой остальные крестьянские дома и избы расположились так, как будто встали на ступеньки длинной лестницы, спускающейся до деревенского пруда. За левой ямой стоит небольшой домик-изба дяди Михаила Тяпилова. Я мог, поднявшись на носки, заглянуть в подзоры окон. Домик укрыт высокой тесовой крышей, поросшей коричнево-зелёноватыми лишайниками. На тёмном забранном серо-фиолетовом фронте имеется небольшое перегородчатое окошечко. Низкий двор покрыт старой, потемневшей соломой. В загороде растут среди высоких гряд небольшие дикие яблоньки. О прививке яблонь в деревне никто из крестьян не помышлял. Но у дяди Миши есть самая красивая в деревне, серая в яблоках, лошадь по кличке Лютик! Я всегда любовался их Лютиком!

Мне нравилось бывать у Коли Тяпилова. Его отец невысокого роста, с чуток кривыми ногами, смуглолицый. Кисти рук с толстыми в царапинах и ушибах пальцами, и кажется, что они и не сгибаются. Меня он всегда встречал доброжелательной улыбкой. Он всегда был занят: то ведро ремонтирует, то обувь чинит. А однажды он из берёзового полена обломком косы вырезал голову куклы для своей маленькой доченьки Марии. Я внимательно следил за его работой. Я тоже пробовал резать из кусочков дерева перочинным ножиком фигурки коров, птиц, лошадок и дарил их детям, приехавшим из Ленинграда. Мы с Колей и его братцем Ваней читали, рисовали или что-то мастерили. Иногда подолгу рассматривали на обеденном столе клеёнку. На ней были нарисованы к 300-летию Дома Романовых в 1913 году царские дворцы и сцены коронации.

Несмотря на нужду, дядя Миша никогда не унывал. Он всё время был в действии – ухаживал за скотом, пилил и колол дрова. Однажды он опаливал пучком соломы только что зарезанного большого борова. А иногда возьмёт дядя Миша балалайку в руки и начнёт играть: чудные звуки наполняли старенькую избу. Он играл не деревенские наигрыши, а городские напевы. Были совершенно незнакомые нам мелодии – вальсы, мазурки, польки, романсы. Но в летнее время дядя Михаил устраивал праздники у сарая во время сушки сена, привезённого из лугов. Вот сядет он на порог ворот сарая, и из-под руки балалаечника плывут дивные звуки. Это было чудо! Долго играл наш деревенский Орфей, и звуки балалайки сливались с самой природой – с короткой зелёной травой после недавнего покоса, с сухим пряным запахом сена, с шумом ветвей и лепетом берёзовых листьев, с теплом ласкового летнего солнца.

Между Волковым двором и Бусиной избой узкий проход, который с весны забивается густой растительностью – лопухами, чертополохом, чернобылью. Крыша избы и двора Алексея Бусина покрыта постаревшей соломой. Она в некоторых местах спускается вниз тусклыми, желтоватыми космами. Запелёдка вокруг избы ещё полностью не убрана, на земле валяется обронённая солома. В просвете лазейки двора я вижу хозяина дома, дядю Алексея. Он высокий, крепкий, мало-разговорчивый, упрятавший свою бычью силу под тесный пиджак.

В его взгляде, в его могучей фигуре, немногословности и терпеливости ощущается огромная внутренняя сила, бунтарская, непокорная, как будто ожидающая своего времени!

– Дядя Алексей! Колька дома?

– Да дома. Иди к нему!

Я подошёл к их крыльцу, а оно очень высокое. Ступеньки от мороси мокрые, скользкие и я, опираясь рукой на брёвна стены, поднимаюсь вверх. Почему-то мне страшно подниматься по этим ступеням. Через высокий порог я переступил в сени и под ногами почувствовал жиденький пол – половицы гнутся под моими ногами. Я открыл тяжёлую дверь в избу, Коля, со светло-русыми волосами, с белым приятным лицом, встретил меня, и мы уселись возле бокового окна.

Старший сын Бусиных, Володя лет семнадцати, выглядел настоящим парнем. Вскоре он вышел из избы – наверно, ушёл помогать отцу. Мы с Колькой спустились на улицу. Заглянули во двор, дядя Вася факелом из соломы смолит щетину, покрывающую борова. По прежнему моросит. Зябко. Я простился с Колькой и убежал домой.

Почти напротив Тяпилова дома, на тёмном посаде стоит дом-пятистенник Платоновых. Высоко к небу поднял он свой гордый балкон. У Платоновых в прирубе всегда было чисто. Пол покрашен золотистой охрой. В комнате у них висели картины в рамках под стеклом, и они меня поражали! На одной из картин охотник с одним кинжалом, встав во весь рост, борется с белым медведем. Кто кого победит? Жутко! Мы, мальчишки, всегда думали, что охотник победит! И нравилось мужество охотника.

А ещё у них висела картина «Царь Александр II среди крестьян» Я этой картине не поверил: так просто, без охраны, без свиты Царь мог находиться среди крестьян!

В этом доме живёт Матрёна Васильевна Платонова со своим мужем Василием Платоновичем из деревни Пыли. До революции он вместе с нашими деревенскими мужиками Василием Александровичем Бусиным, Николаем Александровичем Мареевым да Степаном Никитичем Волковым работал на Путиловском заводе. Клепал котлы, к пушкам лафеты. После революции приехал в Жарки и стал землю пахать. Приехал он почти глухим, и мужики называли его «гаршиновским глухарём».

Матрёна Платоновна была волевая женщина, прямая и справедливая.

В их загороде было много яблонь, и яблоки у них были вкусными. Мы, ребяташки, иногда тайно приходили в их загороду и набивали карманы спелыми ароматными яблоками, а дядя Василий сторожил свой сад и, бывало, с поленом в руках бегал за нами.

Под окнами их дома росла величавая берёза. На площадке перед ней мы с девочками водили хороводы с песнями: «А мы просо сеяли, сеяли, а мы просо вытопчем, вытопчем!» А уж позднее играли в чирки и шар-бабу, в городки, в лапту и, конечно, в попа-загонялу. Иванушко Бикин был среди нас самый старший. Он очень хорошо играл в лапту. Бывало, красиво стукнет палкой в чёрный арабский мячик, и тот так далеко улетит, как будто улетел за облака!

Иванушка был белолицый, со светлыми русыми волосами, носил белые рубашки. Мы любили его! У Иванушки есть младший братец Вася. Он на год старше нас. И ещё у них есть маленькие братики Миша и Вова и маленькая сестричка Валя. Но самый старший у них Алексей – чудесный парень с сердцем ребёнка!

Бикины жили в доме из двух изб под одной трапециевидной крышей, покрытой дранкой, и у них были вкусные яблоки. У Алек-

сея Степановича и Натальи Андреевны были две дочери-красавицы. Во второй избе Бикинова дома, что слева от крылечка, в три окна, помещалась семья из восьми человек. Везде сквозила у них нужда. Малые детки бегали полуголые. Тётя Аня часто болела и не могла справиться со своим хозяйством. Помню, как их одолевали тараканы. Семья переселялась на время к брату Алексею или к соседям и не однажды в зимнее время, открыв окна и двери, выгоняла тараканов морозами.

После смерти родителей Анны и Василия Бикиных вся тяжесть материнства и отцовства легла на плечи старшего сына – Алексея Васильевича! Лёни Бикина, как уважительно его называли в деревне. Да, было очень тяжело ему, юноше. Но он не опускал руки. Лицо его всегда освещала улыбка. Движения его были быстрыми и расчётливыми. И от него исходила радость для родных маленьких сирот. И они выстояли и стали уважаемыми людьми.

Напротив Бикинова крыльца, через просветы бикиных берёз со множеством грачиных гнёзд видна старенькая избушка бывшего путиловского рабочего Степана Никитича Волкова и его жены Ксении Михайловны родом из деревни Белобородово, бывшей прислуги бежущих купцов Лебедевых. Под окнами молодая берёзка стоит, как юная девушка. Дядя Стёпа ещё мальчиком уехал в Петербург. Учился и работал на Путиловском заводе. Рабочие Петербурга, в их числе и Стёпа Волков, поняли, как цари народ любят.

В девятьсот четырнадцатом году молодого Степана Волкова царизм погнал солдатом на фронт. Ему пришлось испить кровавую чашу войны и позорного немецкого плена. И только тогда, когда на весь мир прозвучали раскаты Октябрьского революционного грома в Петрограде, русские пленники, имея мужество, бежали из Германии на родину! Истосковавшая земля ждала русских воинов. К родной земле в Жарки вернулся и Степан Никитич Волков.

Дядя Николай с лопатой в руках расчищает канавки, пропуская воду мимо двора, где стоит его скотина. Он идёт медленно, опираясь на лопату. Одет в серую холщовую рубаху, привыкшую к его могучему телу. Это наш деревенский богатырь. Под рубахой я чувствую мощь его удивительно широких плеч. Он медлителен, движения его рук кажутся легкими, неторопливыми.

Нам было интересно видеть, как украшались крестьянские избы. В избе Мареевых было много семейных и военных фотографий из прошлой жизни. Тут были портреты родителей, родственников,

солдат с оружием. На божнице, во весь передний угол, в фигурной раме, было выставлено много икон с разными святыми. Перед ними висела стеклянная фигуристая лампада. Всё это было интересно рассматривать.

Их дом состоял из двух добротных изб под одной тесовой трапезиевидной крышей. По своей форме и размерам дом Николая Мареева очень похож на дом Михаила Филина, только очень молод по сравнению с ним. Цвет сруба брёвен обеих изб уже изменился. Стал охристо-серым, хотя снизу ещё просматривался цвет свежей сосны.

И в каждую избу вошёл

Резко усилился ветер. Забарабанила громко чья-то крылечная дверь. Грохотом завопили старые ворота. Передо мной замотались белые мухи. Белая рябь окутала остатки деревни и заволокла горизонт.

Я очнулся из забытья, как будто из глубокого сна. Мне показалось, что я стою возле бывшей нашей околицы. Словно с крестным ходом прошёл по деревне родной и каждый увидел я дом. Трудно жили в то время наши люди. Питались скудно, не у каждого хватало хлеба до нового урожая. Мясо пробовали только в престольные праздники. Мать наша варила похлёбку на горсти житней или овсяной крупы, которую мололи на своих жерновах. В этот же горшок она клала две-три очищенные картофелины да одну луковицу. Не у всех было и льняное масло.

Яйца мы ели только в Христов день на Пасху. Вместо сахара сушили свёклу, сахарин покупали на рынке. Пареные морковь, брюква, капуста, лакомством были для нас! А удой молока от коровы отец пропускал через сепаратор. Потом сливки сливали в маслобойку, маслом он продавал в городе на базаре. Белье шили из вытканного матерью льняного холста. У нас не было простыней и праздничных наволочек на подушки. Отец работал, не зная усталости и отдыха. А ранней весной и поздней дождливой осенью, в распутицу, он уходил на заработки – вставлял стёкла в разбитые рамы крестьян.

Впереди простирается снежная пустыня с белой Выгордой. Она закрыла почти всю левую сторону деревни, весь тёмный посад. Вместо деревянных крестьянских изб и домов из-под толстого слоя морозного снега тянутся к холодному небу чёрные деревья с голыми ветками тёмно-коричневых извилистых сучьев, с чёрной ажурной

сеткой кустарников цвета запекшейся крови. Нет высоких воротец! Нет огородов! Нет больше Рябинкина дома и их чудесного палисада. И уж никогда не стукнет молоток дедушки Матвея или Василия Матвеевича в этом садике.

Нет нового золотистого дома Сергея Андреяновича Чумакова, в пять окон по фасаду. Уж больше никогда не пройдёт он, в короткой меховой куртке, с воронёным ружьём на широких охотничьих лыжах. И никогда не споёт нам чудесные песни. Нет и его жены тётки Марьи. И дети их все поумирали. Даже колодец, что стоял возле их дома, завалился давно.

Нет и прекрасного дома-дворца Якова Тяпилова. Нет и нашего отчего дома, нет и берёз вековых, своими ветвями заглядывавшихся в наши белые с ажурной резьбой высокие окна. Нет и берёзовой аллеи слева от нашего дома. На фоне бревенчатой боковой стены дома меня приковывало к себе белое окно, расположенное рядом с крыльцом. Оно освещало чулан. Там наша мать готовила пищу для нас. Там временами стояли стройные розово-охристые кросна из берёзы, на которых мама ткала льняное полотно. Я помогал ей снаряжать основу будущего холста. Я любил смотреть, как мать посылает руками полированный челнок в зев между нитями основы и слышать, как клацают ножные педали под её ногами, поднимая один ряд нитей основы, опуская другой. Медленно, по ниточке рос серебристый льняной холст. Радостью веяло от матери и от её труда тогда! Моя тётя Мария Степановна сказывала, что отец наш построил дом в 1915 году из двух старых дедовских изб.

В нашей избе бывали шорники – хомуты вязали, сапожники из Кимр – Ване сапоги тачали; скорняки из красных овчин чудесный тулуп смастерили.

Побывал в нашей избе и продавец китайского душистого мыла. Был бежецкий фотограф Пётр Михайлович Дружинин. Была и встреча отца с агрономом.

В зимнее время часто приходили в поседки крестьяне – сучили верёвки, подшивали или оплетали старенькие валенки. Отец часто читал им газеты, книги, пели они и старинные и революционные песни. Многих домов теперь нет. Стоят тёмными островками на лоне бескрайнего белого снега избы, брошенные людьми. Куда же все люди ушли? Ветер гонит позёмку. И скрежещет оконная рама.

Запахло сосной в нашем конце

Тысяча девятьсот двадцать седьмой год. Мужики на своих тощих, покрывшихся серебристым инеем лошадях, на санях с подсанками делали «Помощь!» – возили издалека длинные брёвна для нового дома Александру Ефимовичу Соколову. Много брёвен навозили. В многие кучи свалили их вокруг старого дома. Запахло сосной в нашем конце!

В марте застучали плотники топорами, зазвенели пилами, и эти звуки слились со звуками весенней капли. Люди в деревне воспрянули духом. «Слава тебе, Господи!» – произносили, перекрестившись, женщины, видя новую стройку в деревне.

Рушится, разбирается отжившая свой долгий век изба Соколовых. Расчищается место. Ставятся камни для фундамента по углам. А солнце пригревает сильнее. Растут и растут новые венцы. Сильные, сноровистые плотницкие руки все выше поднимают золотистые брёвна – тяжёлые, смолистые, с сильным сосновым ароматом, очищенные от коры, обтёсанные звонким, умелым топором. Дом растёт, дух захватывает! Старые и малые подходят, удивляются радуются: «В Жарках новый дом будет!»

А в это время женщины и девушки в своих загородах копают высокие гряды, сажают картофель, рассаду разных овощей. У некоторых крестьян уже зеленеет перьями недавно посаженный лук.

Из торфоболота Соколовы привезли золотисто-розовый мох. В мягкой, клюквой пахнущей куче мы, мальчишки, любили кувыркаться. Этим мохом плотники на каждом бревне выстилают прокладку будущего паза в стене. И на него уже кладут готовое, подогнанное новое бревно... Выметают щепки из избы, из прирубца, из сеней, с лестниц крыльца. Чисто! Какой простор в новой, золотисто-сосновой избе! Сколько воздуха, свежести! Все Жарки радовались первому новому дому!

В новом доме новоселье! Стол заставлен закусками, бутылками русской горькой, самогона, и полна старенькая жестяная ендова хмельного крестьянского пива. За столом гости – родные, друзья, товарищи, соседи. Гремят поздравления, пожелания. Чокаются гранёными стаканами. Горят глаза от радости. Двери, окна открыты настежь! Люди идут и идут! Пожелания долголетия в новом дому счастливым хозяевам провозглашают они. Александр Ефимович от радости, волнения и от стопочки раскраснелся, спешит наливать по второй.

А Дуня-свет, жена хозяина, от великой радости затащила знакомую крестьянам застольную песню:

*Когда б имел златые горы
И реки, полные вина,
Всё отдал бы за ласки, взоры,
Чтоб ты владела мной одна.*

Песню подхватили женщины, потом мужики. Звуки самодеятельного хора через открытые окна и двери выплеснулась на улицу.

Хозяева и гости пировали допоздна. И долго ещё звучали песни под сосновыми сводами построенного пятистенка.

Долго стоять этому дому

В тридцатом году, после организации колхоза, на заиндевеливших лошадях крестьянская община навозила много звонких золотистых брёвен к старой избе Сергея Чумакова. Снова к середине лета выросли золотистые срубы. Осенью новый дом-пятистенок с круглой четырёхскатной драночной крышей будет готов принять в свои стены семью Сергея Андреяновича Чумакова. Долго стоять этому дому!

Вся семья Чумаковых собралась в светлых, широких, обитых тёмом сенях. Тётка Марья держит на руках свою любимую кошку. Рядом с ней хозяин стоит. За ними – их дочери-красавицы, родственники, соседи. Все они стоят в торжественной приподнятости перед дверным проёмом с открытой настежь новой дверью.словно ко храму Божьему подошли. Каким-то трепетом, волнением охвачены они. Подождав немного, мать семейства трижды перекрестившись, осторожно опустила вниз кошку, чуть-чуть подтолкнула её через новый порог избы. Та медленно пошла вдоль половиц, пригнувшись к новым половицам. Не спеша подошла к столу, что стоит в красном углу под божницей с иконами, бочком прижалась к его ножке, а потом легко прыгнула на широкую лавку, обнюхивая дерево.

– Знать кошка признала новый дом-то своим! – сказала Марья и перекрестилась, перешагнула через порог в свою новую избу, как будто в новую жизнь вступила.

За нею порог перешагнул дядя Сергей, высокий, торжественный, руками удерживая икону Божьей Матери. За ним пошли дочери, ставшие взрослыми девицами-красавицами.

– Вот счастье-то привалило Сергею Андреяновичу и Марье! И дом построили чудесный, и доченьки подросли, взрослыми стали, настоящими помощницами.

И стоит, распахнув настежь двери и окна, золотом отливая в лучах вечернего лучезарного солнца, сосновый пятистенник. Зазвонят в этом доме песни радости!

Много собралось гостей в новой избе. Тут и родные, и соседи, и друзья-товарищи. А односельчане идут и идут, ходят по новому дому, в избе и в прирубке. Все наперебой поздравляют хозяев с новосельем, здоровья и долголетия желают, счастья и достатка в доме. Одни из них, выпив русской-горькой, уходят, другие садятся за широкий стол и чеканятся наполненными стаканами. Тут и пиво хмельное в медном чайнике стоит на широкой лавке. Яркое солнце вкатилось во все окна, осветив в широкой избе крепкие светлые половицы и золотистые стены, всех гостей за столом. Оно тоже пришло на новоселье.

Сергей Андреянович как гостеприимный хозяин угощает дорогих гостей:

– Этта! Вы закусывайте, закусывайте, дорогие гости!

Стол заставлен крестьянскими яствами: тут и студень из бараньих ножек, тут и тушёное и свежее мясо, тут и жареный картофель с салом, тут и селедочка с зелёным лучком, свежие и солёные огурчики, рыба жареная – красноперые карасики из деревенского пруда. Тут же дядя Сергей наливает в гранёные стаканы крестьянского хмельного пива.

– Этта! Вы зайчатинки попробуйте! Зайчатинки! А, этта, вот уточки, уточки дикие! Берите, берите! А, этта, куропаточки – мало их нынче, да и ходить-то за ними некогда было, – сами знаете.

В избу вошёл Илья Поликарпович:

– Ну, Андреянович, поздравляю! Молодец! Хороший дом отгрохал! Здоровья вам всем желаю на долгие лета! – Дядя Илья опрокинул чарочку, поморщился, вытер рот и усы рукавом, взял со стола ломтик солёного огурчика и сел на лавку рядом с хозяином.

Идут за столом разговоры – вспоминают прошлые суровые годы, прошлое родной деревни. Кого-то уже нет среди них. Кто-то ещё хочет строиться, деньги собирает. Тут и шутки, и смех. Хозяин не спеша налил всем по второй. Александр Ефимович Соколов, со стаканом в руке как сосед и председатель колхоза провозглашает здравицу за успешное

завершение дома, за здоровье гостеприимных хозяев, за взрослых и красивых дочерей, сына Ивана. Все весело и дружно чокнулись. После второй дело пошло веселее, активнее потянулись к закуске. А дядя Сергей, докурив «козью ножку», тихо запел:

*Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силёнку...*

Все притихли. В новой избе под смолистым потолком господствовал покоряющий голос певца. Гости воспринимали песню как саму жизнь. Каждый по своему чувствовал боль рассказчика. Песня подействовала на гостей освежающе. Застолье продолжалось долго, и дядя Сергей угощал дорогих гостей и пивом, и охотничьими трофеями, и старинными песнями.

Арсений Чумаков

Над левой квадратной ямой, которая находится рядом с избой дяди Миши Тяпилова, выстроили большой добротный дом-пятистенки Арсений Чумаков с женой Настасьей и детьми Татьяной, Марией и Михаилом. Это величественный дом с высоким балконом и пятью окнами по фасаду. Гордо занял он самое высокое место в деревне и стал её центром. Под его высокими от земли окнами звучали аккорды баяна Сергея Зыкова из Лядов. Тут же звенели мелодии балалайки Михаила Тяпилова. А на вечеринках играла гармонь Ивана Родина. Позже на этой гармошке бойко играл наш младший братишка Петя. Много песен и частушек было пропето под окнами этого дома. Девчата на ходу сочиняли частушки. Под этими окнами содрогалась земля от каблучков удалых деревенских парней. Любо было видеть народное веселье. Деревенские парни приглашали товарищей из других деревень в свой дом на угощение. Матери или сёстры быстро накрывали стол. Ставили закуски, вина, водку и пиво на стол. За один вечер наши парни приводили по несколько партий парней.

В сенокосную пору здесь собирались колхозники с восходом солнышка, имея при себе косы, вешки, кувшины с квасом или с водой для совместного похода в туманом росным окутанные луга. Тут же проходили с весны до поздней осени деревенские сходки, где решались хозяйственные вопросы деревни.

Стало светлее в Жарках. Люди радуются. Вот и Григорий Федин со своей Марьей и с детьми Дуней, Иваном, Анной, Шурой, Колькой и маленькой Верочкой тоже возвели на месте своих старых трущоб новый дом-пятистенок под круглой, четырёхскатной драночной крышей.

Сколько радости было на лицах семейства Фединых!

Весело, задорно играет гармонист, а молодёжь вся пляшет. Каждый играет ногами и руками свой фасон – от всей души отбивает такты по новому, крепкому сосновому полу. Но больше всех потешил гостей на собственном новоселье хозяин. Дядя Гриша затесался в середину пляшущих молодых людей и вместе с ними стал отчаянно плясать. Круг молодёжи расступился, дав свободу Григорию Фёдоровичу. И пошёл он по кругу верёвочку ногами вить и руки за затылок закладывать, а потом остановился перед своей женой тёткой Марьей. Она от волнения попыталась спрятаться за спины парней, а дядя Гриша, такой высокий, счастливый, запел:

*Ты прости меня, родная,
Несуразицу мою.
До того плясать охота,
Удержаться не могу!*

У тётки Марьи слёзы по щекам катятся. Не верится ей, что она уже в новом доме. А дядя Григорий вновь пошёл по кругу впрыскаду, выбрасывая вперёд свои острые колена. Он помолодел! Глаза искрятся радостью!

Их дом стоит напротив дома Никифорова, рядом с добротным домом Ивана Басова, недалеко от нового дома Арсения Чумакова. Проходят крестьяне из других деревень через Жарки и диву дивятся. Ай да Жарки! Дома-то понастроены добротные!

Вслед за Фединым домом высоко поднялся дом-пятистенок Якова Тяпилова. Дворец! И с балконом красивым! И крылечко чудесное! И окна большие и высоко вверх поднявшиеся. Не сказка ли это? Не сон ли волшебный?

Я видел, как их младший сынок Гришка, рябой озорник и на-смешник, конопатил деревянной лопаточкой пазы между брёвен – верёвочку вил, куделей льняной мох прикрывал.

Говорят бабы у колодца:

– Наверное, советская власть помогла. Небось, ссуду дали.

Ходит дядюшка Яков вокруг своего нового дома да всё любит-ся. За выступы брёвен возле углов рукой потрогает, дальше пойдёт, по брёвнышку рукой проведёт. С трудом верится пожилому человеку, что он собственный дом построил. А дом-то, дом: словно птица-фе-никс, взвился он из пепла-старья, сверкая золотом драночной кровли в лучах уходящего солнца.

Размахнулась душа и у Алексея Пучкова. На месте своей низень-кой двухоконной избушки возёл он высокие стены из вековой сосны для своего пятистенка. Стропила для крыши поставил, а крышу по-крыть не сумел. Долго голые стены стояли, их мочил дождь, солнце пекло, ветер продувал и мороз промораживал. Хозяин отделал одну небольшую комнатку в одно окно в своём большом срубе, в которой и поселился со своей небольшой семьёй. А крыша так и осталась не-покрыта.

Однажды в солнечный летний день, когда крестьяне в поле не ра-ботают, я заметил возле нового сруба Алексея Пучкова группу парней. Одни из них сидели, другие стояли ко мне спиной. Среди них я заме-тил Ивана Тимонина, потом Ваню Ефимова, Васю Липатова, братьев Бикиных и Володю Бусина. О чём-то они разговаривали и громко смеялись. Только я поравнялся с ними, как вдруг слышу потрясающий силы голос Алексея Пучкова. Он запел незнакомую песню.

– Опять дядя Алексей поёт! – воскликнул я и тут же остановился.

Через мгновение я подбежал к ним ближе и был удивлён, с какой силой вылетает плотный, упругий поток звука из его груди. Какая потрясающая мощь его красивого баса!

*Славное море – священный Байкал,
Славный корабль – омулёвая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал, –
Плыть молодцу недалеко!*

Я вижу дядю Алексея, сидящего под окном своего нового прируба. Он неудобно сидит, склонив голову набок и открыв широко рот, лицо и шея напряжены, даже пот выступил на лбу. И из него льётся уди-вительно сильный и красивый по цвету бас. Кругом тишина. Никто не проронит ни звука.

*Долго я тяжкие цепи носил,
Долго бродил я в горах Акатуя,*

*Старый товарищ бежать пособил,-
Ожил я, волю почуяв!*

Я весь сжался. Весь превратился во внимание. Боюсь пропустить какую-нибудь маленькую частичку песни:

*Шилка и Нерчинск не страшны теперь,-
Горная стража меня не поймала,
В дёбрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала.*

*Шёл я средь ночи и белого дня,
Вкруг городов озираясь зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.*

*Славное море – священный Байкал,
Славный и парус – кафтан дыроватый,
Эй, баргузин, пошевеливай вал, –
Слышны уж бури раскаты.*

Передо мной раскрылась ещё одна страница человеческой жизни, будто я тоже прошёл с ним вместе этот тернистый и опасный путь каторжника-революционера.

Какая величественная песня! Приближается революция. Я потрясён этой песней. Долго я ходил под впечатлением пения Алексея Пучкова, простого и честного колхозника. Невзрачного по внешности, но большого художника-самородка, так проникновенно исполнявшего народные и революционные песни. Теперь, когда я слышу исполнение этой песни другими певцами или на глаза попадается текст её, я вспоминаю дядю Алексея из Жарков, щедро делившегося своим дарованием со своими земляками. Ещё я поражаюсь русскому народу, который из стихотворения Д.П. Давыдова создал величественную песнь – монумент революционерам-каторжникам!

В нашем конце деревни и Николай Шелков обновил свою избёнку. Поднял её выше, заменил некоторые старые брёвна новыми. Новую раму вставил в боковое окно, что глядит в сторону Соколовых. Новую крышу возвёл и починил маленький дворик.

Потом Степан Никитич Волков сделал капитальнейший ремонт своей избы. Поднял её на новом фундаменте выше. Перебрал стены, много новых, смолистых брёвен поставил в высокие стены, новый пол постлал из широких полос байдака. Новую крышу возвёл. Светлее и радостнее стало в новой избе. Цветами красной герани украсили окна. В сердцах семьи Степана Никитича и Ксении Михайловны стало светлее и отраднее. И их маленькие доченьки Мария и Анечка были рады и счастливы в обновлённой избе. Ведь в каждом углу стало светлее.

В 1935 году Орловы в центре деревни, над правой квадратной ямой, рядом с домом Николая Никифорова подняли вверх новый, самый большой пятистенник в Жарках под трёхскатной драночной крышей и с тесовым крыльцом. В доме просторно, пахнет сосной. Обилие света! Какое великое счастье иметь такое жильё! Великой радостью дышат лица в большом семействе Орловых. Больше всех настрадались хозяева дома, Александра Антоновна и Фёдор Яковлевич, и им радости не занимать.

В 1937 году, всем на удивление, перестроил свою древнюю избу Иван Тимофеевич Тимонин. Да так перестроил, что соседи ахнули. Он построил сказочный дом. Обшил его золотистым сосновым тёсом, изукрасил тонкой ажурной деревянной резьбой, и получился не дом, а деревенская сказка! Надо сказать, что незадолго до своей стройки Иван Тимофеевич взял себе в жёны из Заручья Шуру Ошуркову. Её маму, бабушку Марию, тоже пригласил жить в свой дом, в Жарки. Бабушка Марья пасла стадо коров. Но её забодал деревенский бык, после чего она долго болела.

Недолго пожили Иван Тимофеевич с любимой Шурой в прекрасном доме. Продали они его Петру Катанугину с женой Нюшей Лазаревой из Заручья и уехали в Ленинград.

К концу 1937 года наша деревня расцвела. Она потянулась вверх, к небу, к солнцу. Дома её – традиционные избы – раздались вширь. Люди выросли, воспрянули духом, расправили плечи, помолодели! У них появилось достоинство, гордость, радость и будущее в жизни. Громче и радостней зазвенели песни по деревне, словно новое солнце взошло над Жарками. Все дети ходят в начальную Горнинскую школу. Старшие дети учатся в восьмилетней школе в Градницах, в бывшем доме Гумилёвых, что стоял раньше на Слепнёвском холме. Появилась обувь на ногах, стали лучше одеваться. Всё больше и больше звучали народные песни. Как затынет, бывало, Сергей Андреевич своим бархатным басом любимую в поле во время отдыха «Степь да степь

кругом!» И летит песня над зелёным лугом или над ржаным полем, над высокими стойками из тучных ржаных снопов. А люди-то все вокруг его подтягивают. Окрылённая песня летит свободно, легко, над широкими полями. Это же было!

Проезжие крестьяне удивлялись: «Вона! В Жарках-то сколько новых красивых домов-то понастроили! А дома-то какие! Все добротные! Красота!» И мужик с досады больно стегал чалого мерина ремненным кнутом, и деревенский одёр, посеребрённый временем, катился быстрее, оставляя за собой в колее от колёс дымки поднятой пыли.

И загорелся сыр-бор

Тихо, мирно жила наша деревня. В праздники веселились, в будние дни работали до жаркого пота. Дружно работали! Таков крестьянский труд: работай, пока солнце светит и греет. Но деревенская жизнь бежит не всегда ровно. И вот загорелся сыр-бор. На вершине деревенского холма, на середине улицы, почти напротив дома Василия Платонова стоит возле грязной, трудно проходимой проезжей дороги и кричит, надрываясь, отборными, оскорбительными словами, полусогнувшись, болезненная Ульяна, защищая двух своих десятилетних сыновей, Петра и Павла, обиженных Колькой Бусиным.

На другой стороне этой грязной дороги, напротив избы дяди Миши Тяпилова, стоит тётка Прасковья, среднего роста, крепкая, волевая, левой рукой подпёршаяся в бок, правой машет в сторону Ульяны. Её светло-русые волосы от ветерка поднимаются вверх. Обе что есть силы кричат друг на друга. Эта ругань двух деревенских баб, как нарочно, всегда бывает на второй день после дождя. Деревенская луговина почти вся просохла, а вот дорога вся изъезжена, превращена в жирное месиво. Каждая боялась своей ногой вступить в эту вязкую грязь. Эта чёрная дорога, как пограничная полоса, отделяла красный посад от тёмного.

До третьего или четвёртого колена всех родственников помянули недобрым, худым словом, всех перечли! А женщины из соседних домов стоят у колодца и качают головами:

– Да ведь всё из-за детей – они-то, поди, через день-два помирятся!

Спорящих было хорошо видно и слышно с любого конца деревни, и каждое их разительное слово больно ударило в людские сердца. Не сдаётся ни та, ни другая сторона. Как стояли они по разные стороны дороги, так и стоят. В грязь на дорогу вступать боятся, а то бы в волосы руками вцепились друг другу. Нет победы!

Вдруг из-за крыльца, от своего дома выскочил наблюдавший за бабьим поединком муж Ульяны Иван, подбежал к дороге и ввязался в эту бабью ругань. Тётка Ульяна бочком-бочком вышла из игры и ушла восвояси. Увидев эту картинку из лазейки двора, муж Прасковьи Алексей бежит на помощь своей жене и со свежими словесными силами обрушивается на Ивана. Уже готовый вступить в грязь, дядя Иван почувствовал силу на стороне Алексея и, крикнув что-то ещё грозное, ошетинившись, побежал во двор. Алексей тоже не робкого десятка мужик, тут же повернул к своему двору.

Вот уже стоят дуэлянты с топорами в руках по обе стороны грязной дороги, судорожно сжимая крестьянскими руками топорщица, горя и ненавидя друг друга. Никто из них не решается переступить грязную границу, да, наверное, и внутренний голос подсказывает: не переходи рубеж преступления. Так и стоят, как палачи, в своей ненависти готовые в любой миг обрушить топоры на противника. Эти два «петуха» долго ещё стояли друг перед другом. После люди говорили, что они, устав от оскорблений и ругани, без чьей-либо победы ушли с поля боя, как литовцы и русские с реки Угры. А их дети помирились без драки и мирно и дружно гуляли.

Чужое бельё

Это было в 1933 году летом. Солнца в этот год было много. Стояли жаркие дни. По золотисто-ржаному полю мелькали белые платки и сорочки женщин и мокрые спины мужиков. В поле звучал хруст и скрип, и ложились на землю тяжёлые снопы с длинным колосом ржи.

Мальчишки, девчонки и парни, сняв рубашки, теребили лён, серпами жали рожь. Урожаи в те годы были хорошие, сердце радовалось. Жить и работать хочется! Все люди уходили в поле, надо урожай убрать вовремя. Деревня была почти пуста, словно вымерла или в дремоту августовскую опрокинулась. Только с краю деревни оставалась дома баушка Пелагея Рябинкина, пасла цыплят да на ястреба махала палкой. Надо заметить, что у нас в деревне старых женщин называли мягко и даже нежно: «баушка»! Это народное крестьянское слово само по себе красиво. Не работала в поле и оставалась в доме и Пелагея Филина, вдова Михайла Филина, старенькая болезненная женщина. Жарились на солнце глиняные горшки да кринки на кольях огородов, на пряслах-шестах, укреплённых на солнечных стенах изб. Да выстиранное бельё висело на верёвках или на длинных строганных жердях в крестьянских загардах.

Однажды по деревне прошёл слух, у кого-то пропали две или три кринки. Потом у кого-то пропало бельё в загарде. Через неделю, а может и больше, у другой хозяйки пропало бельё. У колодцев стали открыто говорить, что кто-то ворует стираное бельё с шестов и пропадают кринки и горшки. Пуще всего заговорили бабы у колодцев, гремя сердито вёдрами.

– Подумай-ко! Ночью сняли подштанники и рубаху мужа! Они у меня ещё новенькие были! В этом году сшила из новенького тонкого холста!

– И у меня сняли бельё ночью с шеста в загарде!

– И у нас тоже сняли!

– А у нас с прясла две кринки унесли!

И пошло-поехало, и покатился по деревне сгусток боли, горечи и злости. Стали женщины судить да рядить, перебирать в уме, кто же всё-таки ворует. Какой выродок появился в нашей общине. Стали бабы замечать:

– А что так часто ходит Пелагея Филина в город, косо повязанная белым платочком, с серым мешком через плечо, шлёпая босыми ногами по утренней пыли? И путь держит в поле к городу. Что она в городе-то делает? Не наше ли бельё изо льна белого носит продавать?

У каждого колодца собирался бабий кружок, как заговорщики, высказывали свои догадки и выводы:

– Она, наверно, ведьма рыжая, наше-то белишко в город на базар продавать по дешёвке носит! А не пойти ли нам обыск сделать у Пелагеи?

И вот в ранний час, когда ещё роса не спала с зелёной травы, деревенская бабья стихия ворвалась на крыльцо и, раздвоившись в длинных сенях, влетела в старые, серо-пепельные, сморщенные избы. Горят от злости глаза, шарят они по столам, лавкам, полатам, на печках:

– Что за чёрт? Нигде нет краденого белья! – наши крестьянки в смятении.

– Бабы! Печка-то не топлена! Холодная, как смерть! Гляньте-ка в печку! Снимите заслонку! – крикнула боевая Прасковья Бусина.

– Батюшки! – снова воскликнула Прасковья, – Бельё! По самое устье набито! Тащите его на улицу, на дорогу! Пусть люди смотрят! Пусть все видят!

– Тащите её за волосы-то рыжие, эту мошенницу! – крикнул кто-то из женщин. И начали женщины клюкой доставать из печи краденое бельё и охапками таскать его на улицу, на дорогу. В большую кучу сло-

жили вынудое из печи бельё. Тут и мужские рубашки, подштанники, тут и наволочки, женские и девичьи рубахи, полотенца. Сбежалась вся деревня и огласилась она руганью и проклятьем на голову Пелагеи Филиной. А она стоит ни жива, ни мертва, босая, на не опавшей холодной росе со спутанными рыжими волосами, старая и беззащитная, с опухшими, в землю опущенными, ничего не видящими глазами в лучах утреннего, ласкающего солнца. Лёгкий ветерок шевелит её рыжие волосы. А на душе у неё мрак, потеряна надежда на жизнь. Хоть кто бы каплю сострадания пролил на её усохшую материнскую грудь.

А в этой куче каждая пострадавшая хозяйка находит своё бельё из белого льняного полотна, своими руками взращенного, обмятого, берёзовым трепалом вытрепанное, в нитку выпряденное, вытканное на берёзовых кроснах, и сшитое, и цветной нитью меченое.

Подошёл к куче белья высокий, сторбившийся, с палкой в руках, дедушка Матвей Рябинкин. Он долго рылся в этой куче, ища свои пропавшие. И вдруг он обнаружил свои холщовые подштанники. Ощупав и пристально осмотрев, он высоко поднял их рукой и громко, обращаясь к присутствующим, произнёс:

– Вона! Подштанники-то мои! С медной царской пуговицей! Сам её пришивал! – и свернув свою находку и сунув её под мышку, старик ушёл счастливым.

Вскоре после этого неприятного происшествия в Жарки из Ленинграда приехал Василий Филин. Он не остановился в родном доме у своей старенькой матери Пелагеи. Он поселился в избе Марьи Кошихи и много фотографировал наших жителей, в том числе и меня с Петей и маленькой племянницей Валеи. Фотографировал и нашу колхозную полевую бригаду. Целую ночь я просидел в маленькой кладовочке в доме тётки Марьи вместе с Василием Михайловичем. Мне очень интересно было увидеть, как делаются фотографии. Я видел, как они рождаются на бумаге, словно из тумана выходят человеческие фигуры и лица. С восходом солнца я вернулся домой счастливым.

В тот же 1933 год, в середине дня, неожиданно из поля к городу через раскрытые большие воротца, пыля, в нашу деревню влетел трактор. Черномазый тракторист остановил его напротив домика Марьи Кошихи. Мы видим первый трактор в нашей деревне! Его обступили со всех сторон. Всем хотелось посмотреть на чудо-машину, которая заменяет лошадей. Тётка Устинья Мареева накормила тракториста обедом. Он отдохнул и под вечер собрался ехать в дальнюю Мальчиху. Я попросил его разрешить мне прокатиться на тракторе до Мальчихи.

Мне понравилось, и я уехал с ним пахать дальнюю Мальчиху: поднимать кочковатую целину большими колёсами, ковыляя с кочки на кочку. Я провёл с ним на тракторе всю ночь до утренней зари. Мне не хотелось его оставлять одного в этом ночном далёком поле. Мною ещё больше овладела жажда жизни и желание учиться.

Встреча с орлом

Новый порыв ветра. Забарабанила крылечная дверь, тревожно загрохотали чьи-то ворота, и жутко заскрежетала оконная рама. Эти истошные звуки вернули меня от воспоминаний к действительности.

Я чувствую, что зябну. Лёгкий шерстяной костюм Георгия Синицына, предложенный заботливой душой Антонины Павловны, уже не согревает меня, и время моё уходит. Передо мной стоит дом Соколовых-Даниловых с заколоченными окнами – единственный уцелевший дом в нашем конце деревни. Вокруг его только белый снег, слившийся с белым небом. Неизмеримой тоской веет от него и какой-то непонятной болью. Мне кажется, что безжалостная судьба и сейчас витает над ним. За этим беспризорным домом по бывшему красному посаду вместо крестьянских дворов с избами, домами, тянется в глубину деревни снежное голое поле. И только из-под глубокого снега торчат, словно стрелы, ветки кустарников да длинные побеги отдельных голых деревьев. Да чёрными призраками судорожно качаются по холодному ветру стебли чернойбыля да жёлто-коричневые, цвета мумий, соцветия тысячелистника.

Взяв себя в руки, я стал фотографировать. Сделал снимок заснеженной нашей деревни – её жалкие остатки! Несколько кадров дома Соколова-Данилова. От сильного ветра я решил спрятаться за дом Данилова. Объехал его, завернул за левый угол, встал возле крыльца. Его двери косым крестом заколочены досками. У меня сердце сжалось при виде деревянного креста. Перезарядив фотоаппарат, не теряя времени, поехал вдоль бывшего красного посада. Еду по высокой снежной целине. Под толстым слоем снега, под моими лыжами, лежат невидимые следы стоявших тут крестьянских изб, навеки исчезнувших с лица земли. Нет маленькой избёнки Николая Шелкова. Он уже никогда не взмахнёт рукой и не споёт, притопывая ногой, «Не лёд трещит, не комар пищит!» Нет и высокой избы с жёлтыми окнами Ильи Румянцева. Не крикнет он ворчливо на своего старого гнедого

мерина, запрягая его в навозную телегу под своими окнами: «Стоять, скотина!» И тётка Домна, жена его, с пустыми вёдрами не подойдёт к колодцу и в разговоре с соседками не рассыплет веером своего искромётного слова: «Да полно-те, бабы! Ой! Да разными-те слухами-то можно не только дороги мостить, но и корзины гүмённые плесть!»

Уже давно нет двух старых изб, древних развалюх Фёдора Орлова. Дядя Фёдор не запоёт больше, заложив руки за спину, шагая мерно вдоль деревни, никого не видя, свою любимую песню вполголоса, в приступе нервной болезни в золотое, страдное время:

*Бывали дни весёлые,
Гулял я, молодец.
Не знал тоски-кручинушки,
Был вольный удалец.*

*Бывало, вспашешь пашенку,
Лошадок уберёшь,
А сам тропой знакомою
В заветный дом пойдёшь.*

Нет и дома Михаила Филина из двух изб под высокой тесовой крышей. Не выйдет из лазейки двора давно не бритый хозяин, которого за его спиной величали Журкалом. Не пожует он свои бескровные губы, опираясь на толстую старую трость с металлической заплаткой на смоле. Его жена, Пелагея, оставшись вдовой, не выйдет, оглядываясь по сторонам, на высокое, посеребрённое временем, старенькое деревянное крылечко.

Доехав до нашей передней усадьбы, минуя деревья и утонувшие в снегу заросли кустарников, я оглянулся. Передо мной открылось беспрельдно широкое белое поле, где раньше стояли крестьянские сараи, житницы, овины. Это необозримое поле слилось с белым далёким небом. Безлюдьем дышит оно. На белоснежном просторе стоят две берёзы, поднявшись высоко ввысь, как два белых паруса невидимой ладьи в полночном океане. Как две белых свечи в диком белом храме природы, как фантастический мираж. Только две белых берёзы!

Мне стало теплее. Я обрадовался. Не наши ли это берёзы? Мне захотелось подъехать к ним ближе, рукой коснуться их тела, прижаться к ним. Нет, нет больше тех старых берёз, что, споря с ветром, пели мне заунывные песни. Вряд ли они знают и помнят Великую Отечествен-

ную войну. Вряд ли они слышали, как голосили жёны-вдовы, получив похоронку. В ту пору вдовий плач повсеместно стоял над полями.

Но меня поразило, что в кроне берёзы, высоко от земли, на развилке толстых сучков было свито огромное гнездо. Я таких огромных гнёзд никогда не видел. Кто же эта птица, которая из прутьев берёзы себе дом с крышей свила? Вдруг, словно по заказу, прилетел хозяин гнезда. Это была большая хищная птица. Красавица! Так вот кто здесь царствует над родной землёй! Вот кто сторожит родимый край! Над прахом нашей деревни, над пустошью Жарков, над его пожарищем! Над памятью наших предков, над тенями умерших крестьян, парит царь-птица, молодой орёл. Кружит и кружит он над белым простором, над нашей древней русской землёй. Над останками родной деревни, избами и домами, брошенными людьми. Над умершими полями и дугами, над Мальчихой, над Мохом-болотом. Над Выгордой, овеванной песнями, звоном стальных кос, криками рябчиков, коростелей, слезами, потом и омытой сердечной болью трудовыми людьми.

Встреча с орлом показалась мне символичной. Это была единственная живая душа, которую я встретил в родных Жарках.

Всё заросло кругом...

Я повернулся лицом к деревне. Через задворки вижу последние окоченевшие избы Жарков. Они похожи на горем убитых одиноких старух, накрывшихся снежными шальями. Из-под глубокого снега торчат вершинки колышков упавшего забора. Озябшие стебли малины и ещё какой-то дикой травы, изогнувшись, утопают в снегу. Ветер шевелит на них серые, безжизненные, не занесённые снегом листики. Я пристально смотрю на тёмно-серые с синевой зады домов. Завалился и маленький двор Никифорова дома, тоже перестроенный чужими руками. Гнилой грудой лежит он под тяжестью снежного савана, разбросав в стороны толстые столбы бывшей опоры драночной крыши.

Давно умерли старики Никифоровы – Вера и Николай. Уже умерли и их сыновья Александр и Пётр. Остались их дети да внуки, живущие в Москве и Ленинграде.

Повернув лыжи вдоль нашей передней усадьбы, я еду к бывшей нашей улице. За ней, словно за бело-голубой искрящейся рекой, которая тянется вдоль бывшей улицы деревни, на том её берегу, где стоял наш тёмный посад, и на том месте, где стоял наш дом, стеной стоит чаща

дикого леса. Целая роща тёмно-бурого мелкоколосья тянется от бывшей околицы. От Рябинкинова места, где был их дом с широким двором и с изумрудом сверкающим рябиновым палисадом, до Фединова дома, и дальше вниз. Скорбно шумит она на зимнем ветру.

Там, где стоял наш дом, ярко блестя берестой, растут стройные, как сосны, молодые берёзы. А в голосе ветра я слышу стенания и протяжные стоны, как будто звучит голос ушедших от нас матерей. Всё заросло кругом. Никаких следов! Как будто нашего дома здесь никогда и не было! Шумит высокий молодой лес. Воет ветер между его сучьев. В родительском доме я впервые увидел белый свет солнца, на улице – белый мерцающий снег. Высоких берёз серебряный иней. Солнечный отблеск вечерней зари. И последний луч уходящего солнца, как прощальный привет, проникший сквозь белые окна, на миг окрасивший деревянные стены в золотисто-малиновый цвет.

В этом доме жили моя мать Анна и отец Алексей Степанович. Они были одногодками. Родились в 1881 году. В двадцать лет они поженились. Мама была высокая и стройная, миловидная лицом. Себя держала строго, ненавязчиво. Была спокойная и терпеливая. С ними жил ещё Ваня, мой старший братец, 1909 года рождения. Моя мать была родом из деревни Горни, из семьи Степана Тимофеевича Гурushкина, крестьянина и путиловского рабочего, и его жены Евдокии Яковлевны, крестьянки и рукодельницы. Она была мастерица вышивать разноцветной шерстью полотенца и скатерти. До недавнего времени у меня хранилось её полотенце с вышитыми концами. Это настоящий праздник цвета и линий! В 1996 году, к 800-летию Бежецка, вместе со своими работами я передал его в дар Бежецкому музею. Моя бабушка Евдокия Яковлевна, по словам её дочери, обладала стойким и терпеливым характером, распорядительностью и сумела после смерти мужа в 1902 году вырастить шестерых детей. Всех сыновей переженела, а дочерей выдавала замуж и умерла в 1923 году.

Но Россия-мать в те далёкие годы, на рубеже веков, накрылась широкой сетью прожорливых, как саранча, шинков, в которых русский мужик и рабочий, чтобы досаду и горе забыть, пропивал свою жизнь. Так и дед мой Степан Тимофеевич, приехав зимой на побывку из Петербурга, не доехав до родных Горней, в Заручье зашёл в шинок. Там была у него весёлая встреча с друзьями, и «пей до дна!» не раз звучало в тот вечер в шинке за столом.

Было уже за полночь. Опустел шинок. Только мой дед после долгой дороги и радостной встречи с товарищами своей юности заснул непробудным сном. Шинкарка, потеряв терпение, выволокла его на улицу, свалила на обледенелые деревенские салазки, отвезла за деревню, на большую столбовую дорогу в сторону Горней. Сбросила с салазок спящего человека на снег. Дед отморозил обе руки. В сорок лет умер от гангрены, оставив после себя шестерых детей.

Мой отец родился в Жарках в семье крестьянина Степана Родионовича Родина и его жены Дарьи Родионовны. Кроме нашего отца, у них была ещё дочь Анна, вышедшая замуж в семью Давыдовых, в Заручье. Она умерла рано, оставив после себя маленького мальчика Володю. Старые люди, знавшие Анну, говорили, что она была очень добрая.

Потом в нашей семье родился Петя, за ним Павлик – к великому сожалению всей семьи, он умер младенцем. Но вот на радость маме и всем нам в 1927 году родилась девочка, сестрёнка Мария.

Однажды отец привёз из города от тётки, Марии Степановны, этюды, выполненные маслом на грунтованном белом холстике и акварелью на бумаге, карандашные и перьевые рисунки и композиции. Автором этих работ был Шура Сусленников, племянник Сергея Николаевича Неворотина, мужа тётки. В начале двадцатых годов Шура посещал летнюю школу живописи, которой руководил И.М. Костенко.

От Шуриных работ веяло красотой! Под впечатлением этого замечательного примера я начал больше и смелее рисовать. Мне очень хотелось увидеть Шуру, поучиться у него, но, к большому моему сожалению, он уехал в Ленинград. Дальнейшая его судьба мне неизвестна.

В родной семье меня научили работать. Мне ещё не было и шести лет, как я вместе со взрослыми с пяти утра шёл к овину погонять лошадей в конном приводе молотилки. В этом доме я познал любовь и ласку, доброту и внимание матери. Любовь, дружбу и заботу отца и старшего брата.

В нашем доме я впервые услышал чарующие звуки гармони. В 1927 году отец купил Ване гармошку русского строя. Но она у нас побывала недолго, чем-то она не понравилась. Отец её продал и купил новую гармонь хроматического строя, трёхрядку. Это была единственная гармонь в деревне. Мы всей семьёй были рады этой покупке, и наш Ваня научился хорошо играть. В начале 1928 года отец купил грам-

мофон. Он был небольшой, со вкусом сделанный, с продолговатой никелированной трубой. Он тоже недолго у нас пожил. Отец его продал и купил большой граммофон, с великой красной трубой и с большой стопкой грампластинок. Мы ощутили великое очарование, восхищались музыкой вальсов. Наши соседи были рады слушать музыку города как что-то необычайное, новое, приятное.

В нашем доме я пытался вырезать из деревянных брусочков детские игрушки, мастерил самодельные лыжи. Мы с мальчишками мечтали о самолётах. Мы бредили самолётами! Читали книжки об изобретателях самолётов и конструкторах. Но мне больше всего хотелось учиться рисовать. В семье меня понимали и поощряли мои стремления учиться художеству. Наш деревенский дом, украшенный белыми окнами и гордым балконом, был для меня маленьким домашним университетом.

Встреча с вербой

Я вглядываюсь в этот непрошенный лес, туда, где долгие годы стоял наш родительский дом. Сквозь дикие заросли ищу нашу вербу. Она жива! Я обрадовался, как будто встретил родного. Вербка выросла до невероятных размеров, ствол её не обхватить руками. Она всё так же, как и прежде, стоит наклонно в сторону Карповых, в сторону города. Подняв свои могучие ветви к высокому небу, широко разбросала их в разные стороны и кажется на фоне мелкого леса гигантом. Она осталась единственным свидетелем нашей ушедшей крестьянской жизни. У меня, как в калейдоскопе, в памяти замелькали фрагменты ушедшей в глубину веков нашей деревенской жизни.

Здравствуй, верба! Я рад тебя видеть! Вот мы и свиделись с тобой, но жаль, что уже стариками. Не среди крестьянского, праздничного, девичьего хоровода, а на безлюдье, на пепелище, на пустоши Жарков, заросших диким молодым лесом. Кто бы мог подумать?! Почти не осталось домов, нет ни одного человека.

Есть о чём нам с тобой рассказать друг другу. Много мы с тобой повидали за столь долгий и тернистый век. Много слышали и многое пережили. Ты росла среди убогих и гнилых Жарков, видела серые и убогие избы. Но у тебя была и радость. На утренней заре навстречу пышущему теплом и светом солнцу ты поворачивала свои изумрудные листья. Я помню, когда распускались твои длинные листочки в лучах

восходящего солнца, они светились золотисто-зелёным цветом, вызывая во мне восхищение. А те листья, которые попадали в тень или поворачивались лицом на запад, отливали очаровательной бирюзовой эмалью.

Помнишь ли, верба, в твоей ранней юности я утром по ещё не опавшей росе приводил из выгона Сокола для отца, собиравшего поехать в город? Ты помнишь, как за твой молодой ствол отец привязывал молодого Сокола? Конь мотал головой, жевал удила и рыл копытами землю. Ты радовалась весеннему дождичку, купалась в летнем тепле, росла и тянулась к высокому небу. И Жарки поднимались вместе с тобой новыми пятистенными домами. В Жарках стало светлее от новых домов, зазвенели песни радости и счастья. Сколько было прекрасных парней и девиц!

А помнишь ли, верба, Троицын день? Нежные ветви молодых берёз на окнах крестьянских жилищ. Помнишь ли, здесь в наших милых Жарках зародилась моя первая, робкая любовь. Она была юная девушка с ласковым взглядом выразительных глаз. Мы не раз проходили мимо тебя, о чём-то тихо разговаривая.

Вспомни, верба, как однажды в утренний солнечный час, это было 29 июля 1927 года, вдруг неожиданно и неприятно потемнело у нас в деревне. Как будто наступили сумерки. На улице стало безлюдно. Воцарилась тишина. Наш отец с Ваней копят кусочки оконного стекла и оба смотрят через них на небо. Я не пойму, в чём дело. Потом Ваня даёт мне кусочек закопченного стекла: «Затмение Солнца!»

Я вижу, как чёрный бархатистый круг вплотную закрывает Солнце. Только осталось сияние узкой полоски золотисто-огненного венчика вокруг чёрного круга. Затем чёрный круг стал сдвигаться влево, и вскоре он исчез. На улице снова появилось яркое солнце.

Верба помнит и наш высокий дом с большим и широким двором, из которого летом по утрам выгоняли в поле скотину. Она помнит и всю нашу семью. Помнит, как мы с Петей возили в красной деревянной тележке со скрипучими колёсами нашу маленькую сестрёнку Марию, потом племянницу Валю. Как мы пилили и кололи берёзовые дрова.

Разве забыть, верба, как наш отец с красным деревянным плугом, выезжал со двора на деревянной лодочке, сверкая блеском стального лемеха, подобный былинному Микуле Селяниновичу, поднимать зябь или пахать озимое поле. А днём позднее, с деревянной бороной, перевернутой вверх железными гранёными зубьями, боронить пашню.

Помнишь, верба, как мы всей семьёй, с косами да с вешками, вместе с другими крестьянами уходили в луга, досыта напоенные росами да серыми туманами. Как проезжали мимо тебя наши крестьяне в Выгорду за свежим сеном. Как дребезжали пустые одры с высокими деревянными решётчатыми пялями с тяжёлым гнётom, тащившимся на верёвке по пыльной дороге. И скрипели одры, словно потревоженные гуси закричали, на обратном пути под тяжестью нагруженного сена. Верба помнит, как по весенней распутице или во время осеннего ненастья, когда в полях закончены все полевые работы, отец с широким ящиком стёкол уходил в отдалённые деревни.

Вспомни, верба, как в 1929 году наш Ваня с Павлушей Румянцевым во время широкой масленицы катались в лёгких красивых, словно ювелирных, санках на запряжённом в них красавице Соколе. От нашего двора птицей нёсся Сокол с санками и седоками по белоснежной дороге Жарков. А из-под ног его летели комья снега, и чёрным радостным пламенем полыхали хвост и грива. Мы были в восторге! Верба не может не помнить, как в конце Пасхи в 1930 году провожали в Градницы на погост.

Помнишь, верба, как в 1933 году 20 июля на зелёно-голубой телеге Ваня с Шурой привезли из Бежецка нашу умершую мать? И ты не можешь забыть, верба, как по Жаркам прокатилась война, как с похоронкой в руках стонали и плакали матери, дети, солдаты. Вспомни, верба, как пилили наши древние берёзы. Как уезжала из Жарков Александра Ивановна Родина, вдова погибшего в декабре 1941 года под Ленинградом моего брата Ивана.

Вспомни, верба, и мой последний приезд в Жарки в холодный и дождливый ноябрь 1973 года. Какой угрюмый был наш дом! Постарел. Крыша вся в рваных заплатках, укорочен и перестроен наш двор. В нём пусто! Я подошёл к родному крыльцу, открыл дверь. Передо мной до боли родная, знакомая, памятная лестница. Как только я взглянул на родные ступени, сразу вспомнил чёрные, жирные, зловещие следы от множества человеческих ног на чисто вымытых ступенях. Это было в чёрную пятницу на Пасхе, в 1930 году. Я бежал из Горней к живому отцу. По этим грязным следам я понял, что отца уже нет. На этом крыльце я в детстве ошипывал хмель, вязал берёзовые веники. В избе всё чужое! На тесовой переборке нет наших картин. В эту переборку врезан чужой посудный шкаф, не видно жёлтых стульев, которые когда-то смастерил отец. В кладовочке, в прирубке, на крашеном золотистом полу захламлено.

Изба с чуланом показались мне маленькими, тесными. Над столом в углу нет нашей иконы – Большого Христа, а висят чужие иконы. Я тогда простился с отчим домом навсегда!

Наверно помнит наша верба и тот день, когда рушили наш отеческий дом. В 1975 году увозили разрозненные брёвна в другую деревню, в чужие дома. Вместе с дровами из брёвен сжигали и наши древние иконы с потемневшими ликами на старинных, со шпонами, досках.

Ты, наверно помнишь, верба, ты ведь тогда была совсем юная, как въезжал в деревню старичок на старенькой каурой лошадке, на потемневшей скрипучей телеге с сундучком, в котором хранились разные пряности, крича охрипшим голосом: «Кости-тряпки!» Это было в двадцатых и в начале тридцатых годов. Останавливался он на лужайке, недалеко от тебя. Мы, мальчишки и девчонки, молодухи и пожилые, несли к нему сбережённые кости и ненужные тряпки. В награду получали горсточку дешёвых конфеток или по вкусному прянику.

А ещё приходили в нашу деревню бондари с инструментом и еловыми заготовками для обручей. На всю деревню они кричали: «Чаны, бочки чинить, обручи набивать!»

Вслед за ними идут точильщики, катя по земле большое точило – серпы точить и зубрить. Сапожники – сапоги тачать, скорняки – овчины выделывать, шубы, тулупы шить, лудильщики – самовары лудить. Верба многое видела и слышала. Беда – рассказать не может!

О чём сейчас она думает? О чём горюет-грустит наша верба, оставшись одна-одинёшенька среди этой дикой, никому не нужной заросли, затопленной снегом по пояс? Что её ждёт, нашу единственную, оставившую память о нашем доме, о нашей семье, о Жарках? Долог ли её век? Кто с топором или пилой к ней подойдёт? Или ветер, дождь, мороз и солнце разрушат её мощное тело? Хочется, чтобы она ещё долго-долго жила в память о нашей крестьянской общине. Прощай, верба. Родная! Увижу ль вновь когда-нибудь тебя?!

Изба Василия Чумакова

Искрится снег, не тронутый ногами. Я снова еду к избе Чурбанова. Высокая крыша покрыта выгоревшей толью, и дымится над князьком снежный рой. Снегом запорошены старые бревенчатые стены. Вместо широкого двора прилепилось тесовое крылечко, подёрнутое снизу тёмно-коричневой гнилью и зелёным шершавым лишайником.

Невидящей тёмной жутью смотрит на меня пустое окно крыльца. Коричнево-грязная дверь его качается из стороны в сторону и стучит по бревенчатой стене.

Под окнами избы, занесённый снегом, палисадник с утонувшими кустиками в снегу. Возле левого окна вверх взвилось какое-то дикое деревцо. Раньше здесь была завалинка со следами красно-жёлтой глины. На ней в солнечные дни любил отдыхать дедушка Фука, посасывая коротенькую трубочку или высекая из кремня искру на трут. Он в старом сереньком картузе, из-под которого видны куски белых, как мартовский снег, волос, в черно-чёрном, как воронье крыло, как смоль, небрежно надетом пальто и в красных, словно огненных, галифе-штанах. Не с гражданской ли войны он принёс их, как дар за храбрость!

С левой стороны нет старого, с лесенкой в семь ступенек, крылечка, и уж не спустится по ним, шлёпая старыми туфлями или в подплетёнках, Анна Ниловна, с кринками. Узнают ли Чурбановы свою избу? Если бы Василий Чурбанов увидел сейчас свой дом, он бы от боли душевной на все Жарки крикнул: «Слышь ли! Кто посмел разобрать мой широкий двор?! Бойцовский характер имел дядя Василий. Он, как стальная пружина, всегда был на взводе, в любую минуту готовый к действиям делом и словом. Он был работягой, трудолюбивым человеком. Но в праздники, особенно когда переберёт, держись! Из избы всех выгонит, в окнах стёкла перебьёт, посуду на пол сбросит. Шумливый был мужик. А в будние дни – душа человек!

Я ближе подъехал к высокому, почти новому, пятистенку Орлова. Он самый молодой дом в деревне. Стоит пустой! В нём никто не живёт! Смотрит на мир он через заколоченные досками окна тоскующим, сожаляющим взглядом. И кажется мне, что он чего-то ждёт, на что-то надеется.

Когда я вижу его, приходят на память изношенные избы под худой, с дырами, соломенной крышей. В двадцатых и в начале тридцатых годов было больно видеть их нищету. И вдруг в 1935 году вырастает рядом с Никифоровым домом, на пустом плане земли, новый, просторный, с красивым большим крыльцом дом. Семья Орловых обрела новое, достойное жильё. В Жарках появился новый светлый дом, словно в деревне зажгли новое солнце. И люди стали ещё ближе друг к другу, дружнее, внимательнее.

Вот стоит, задумавшись, дом-пятистенок под шиферной крышей на два ската, с балконом, дом бывшего хозяина его Арсения Павловича

Чумакова и его сына Михаила. Раньше, в тридцатых годах, когда его построили, перед рядом стоящей избой Михаила Тяпилова он выглядел великаном. Он стоял в центре деревни, и сам её центром стал.

Как не вспомнить крестьянские сходки под высокими окнами этого золотистого дома. Сотрясалось крестьянское «вече» от крика мужиков, спорили до хрипоты, до усталости. В спор втягивались женщины. Только молодёжь терпеливо слушала эти споры. Тут решались все хозяйственные дела деревни. Широкая площадка под величественными окнами его была огорожена тремя длинными брёвнами, и использовались они как деревенская мебель для сидения. Она была красной площадью деревни. Здесь проводились молодёжные летние вечера и престольные праздники. А как звенели девичьи хоры! А чарующие аккорды баяна Сергея Зыкова из Лядов! И Ванина гармонь! И нежные звуки балалайки Михаила Тяпилова! Здесь пели песни, танцевали кадрили, плясали «Соломушку», «Цыганочку», Барыню». Земля ходуном ходила под бойкими ногами разудалых молодцев. А голосистые девчата под перепляс пели колючие частушки-припевки.

В сенокосную пору к этому дому собирался весь крестьянский взрослый народ, взяв косы и вешки на плечо, с кувшинами воды или кваса. Мы уходили на покосы в луга. С этой «Красной площади» в 1941 году уходили наши деревенские мужики и парни на битву с немецко-фашистскими захватчиками. В тяжелейшей героической борьбе они отдавали свои жизни за нашу священную Родину. Со слезами на глазах почтальоны несли по деревням и сёлам похоронки. Только и слышалось на покосе, под стойками ржаных снопов, на колхозных полях, под навесами овинов, в зимнюю стужу под вой метели и вьюги – стонали солдатские вдовы, матери, невесты, дети. Похоронка! Похоронка! Похоронка!

Я долго стоял возле бывшего дома Арсения Чумакова, раздумывая о судьбе Жарков. Глядя на оголённый конец деревни, вспомнил рассказы моих земляков, как выгорел целый конец деревни в сторону города в 1963 году.

Стоял жаркий июль. Было три часа дня. По деревне раздался пронзительный женский голос: «Пожар! Горит Бикин дом!» Огромное пламя охватило крышу над двумя избами братьев Бикиных. Чёрный столб дыма поднялся к знойному небу. Из окон избы Алексея Степановича прыгают на землю мать с дочерью Ермаковы. Это горнинские поселенцы, поселившиеся в двухоконной избе Алексея Степановича

после смерти его жены тётки Натальи. Сам-то хозяин умер в декабре 1941 года. Одним великим костром пылают обе избы. Горит двор. Безжалостно пожирает огонь бесценное деревянное кружево крыши, карнизов, окон. Сухое смолистое дерево с жадностью пожирает огонь.

Женщины, не теряя самообладания, бегом, руками таскают ведрами воду из пруда и колодезев. Тоня Дмитриева, стоя на высокой лестнице, поливает водой крышу, защищая двор и дом родного отца. Но сильный ветер снова бросает огненные жгуты и головешки на тесовую крышу дома из двух здоровых изб. И новая охалка огня падает на старую драночную кровлю крыльца. Порохом вспыхнула она и тесовая крыша дома. Красный посад весь в огне.

Женщины ведут самоотверженную борьбу с пожаром, но они беспомощны. Словно кара Божья упала в этот день на наши древние Жарки. Через тридцать минут шесть домов сгорело дотла! Чудом уцелела пустая изба Марьи Ивановны Бусиной. Дорого стоит Жаркам варенье из ягод гонобобеля, которое поставили в сенях на керосинку мать и дочь Ермаковы, а сами ушли спать в прохладную избу.

В сумерки, окрашенные удушливым синеватым дымком, низко стелющимся над пожарищем, теньями ходят вокруг него, словно не живые, погорельцы, вороша потухшие угли. В этом конце деревни одиннадцать дворов стёрты с лица земли! Почти половина деревни! Словно две ноги отрублены от её туловища. Эта часть деревни превратилась в пепелище. Потухли песни на деревне, умчалась радость навсегда.

В 1982 году летом я приезжал в Жарки. Писал этюды акварелью и делал снимки полуразрушенной деревни. Сфотографировал последних жителей Жарков – последних крестьян-колхозников. Мы вспоминали наших умерших крестьян, земляков, живущих в других городах и деревнях. Говорили о судьбе наших Жарков и о ныне живущих в деревне жителях-страдальцах. Мы очень сожалели о разорении нашей красивой и когда-то дружной деревни.

Как быстро всё изменилось. Всё обращается в тлен!

Прощайте, Жарки!

Я спешу в обратный путь. Поднимаюсь в гору, лыжи туго скользят. И снова меня охватывают воспоминания. Как на этой зимней горке, по дороге вниз, к пруду, в нашем далёком детстве мы катались на сан-

ках. Сколько было радости! Сколько было смеха и шуток! Я вспоминаю, как прекрасный сон, наши деревенские детские забавы!

Я проехал мимо пустых, насквозь промороженных крестьянских жилищ. Осиротевшие, они в сумеречном свете кажутся тёмными, трагическими, на фоне уходящего солнца. Это дома Арсения Чумакова и Орловых-Веселовых. Они стоят и как будто чего-то ждут. Вот и Никифоров дом! Он вроде осел, окна опустились ниже, и кажется, что весь дом раздался вширь по фасаду. Какой-то старатель или временный постоялец пытался развести под окнами палисад. Сейчас какие-то кустики занесены высоким снегом. Перед окнами стоят молодые деревца. Скрежещет и ноет створка правого окна. Среднее окно избы зияет безжизненной пустотой.

Чуть дальше стоит, продуваемая морозными ветрами, как брошенная старая женщина, изба Василия Чумакова. На неё больно смотреть! Слева было простое крестьянское крыльцо с лесенкой в семь ступенек, теперь его нет. И нет широкого двора с серо-голубоватыми воротами. Вместо него пристроено тесовое крыльцо. Входная дверь под напором ветра отбивает барабанную дробь по бревенчатой стене, словно по великим цимбалам бьёт роковая судьба Жарков!

Я повернулся к Федину дому. Увидев его, вслух произнёс: «Дядя Гриша! А дом-то твой опять с печалью к земле наклонился. Стоит, как батрак перед господином!» Пять окон по фасаду заколочены старыми, почерневшими досками. Хлопают никому не нужные ворота. Как будто отбивают такты похоронного марша.

Встают в моей памяти хозяева и дети большой семьи, проживавшие в радости в этом новом доме. Вот дядя Гриша, отец семейства, высокий, прямой. Стоит он босоногий на зелёной траве в длинной, синей в полоску, рубахе навыпуск. В старенькой кепчонке, примятой к козырьку и чуть надвинутой на глаза так, что на затылке волосы торчат ежом. С потемневшим крестьянским лицом, с чёрной небритой щетиной. Брюки на нём выше щиколоток, с заплатами на коленях.

– Вот, матушка моя! Что же это делается? Ведь скоро и новый-то наш дом сядет окнами на землю. Какая окаянная судьба!

Залилась бы горячими слезами тётя Марья, мать великого семейства, всё время в работе, в заботах. Одета в повседневную одежду. Я её и не видел в праздничном наряде. Лицо её круглое, носик маленький, волосы русые, завязанные в узелок под платком. Терпеливая, как многие крестьянские жёны.

Со щемящей болью ещё раз я оглядел избу-пятистенку Григория Фебина. В последний раз окинул взглядом избы Жарков. Как больно уходить из родного села! Какая душевная мука покидать свой родительский дом! Как порвать духовную связь с родной землёй?! С ушедшим детством, с годами, прожитыми с родными людьми, с друзьями-товарищами! И не зря Анна Тяпилова (Фебина) не раз убегала из дома для престарелых в Жарки!

С грустью и болью я повернул свои лыжи к Выгорде. Вдруг взглядом наткнулся на родной колодезь. Он жив! Жив поилец!словно бездомный старичок-моховичок, с подветренной стороны он спрятался за сугроб от ветра. От мороза сжался в комок. Видно, давно нет по бокам двух толстых высоких столбов, на которых вращался толстый деревянный барабан со стальной цепью. Раньше в зимнее время он обрастал толстым слоем белого льда. Теперь запорошен снежком и вызывает страшную боль и тоску, как будто замерзает мой родной человек.

Теперь наш верный друг и поилец брошен в объятья беспощадной судьбы. Придут ли к нему когда-нибудь люди? Напьются ли из него чистой, холодной воды? К нему и тропинки-то нет! Кругом белеет нетронутый снег! Сколько десятилетий, крестьянских поколений ты, наш друг, поил людей чистой студёной водой?!

Я простился с колодезем, как со старым и верным другом. Быстро повернув на восток, мимо Фебинова дома, мимо хлопающих ворот, мимо зарастающей диким лесом загорды, спустился вниз на сенокосные усадьбы и помчался в Выгорду, в сторону Заручья, навстречу ветру, метущему белые космы обжигающего снега. Незаметно на плечи спустились зимние густые сумерки. Лыжи легко скользят по снегу. Я быстро продвигаюсь вперёд.

Неожиданно для себя я остановился, оглянулся назад. Прощаюсь с Жарками. словно злой чёрный рок накрыл деревню зловещей тенью. Угрюм и мрачен вид Жарков. Тёмно-бурый лес потемнел. Он, изогнув свою спину, как огромный дикий зверь, вцепился зубами и когтями в заснеженный бугор Жарков, ошетилившись сухими сучьями. Неожиданно налетевший шквал ветра застонал, зашумел, засвистел в дикой чаще жарковского бора. Взвились голоса над бывшей деревней оконного скрежета, крылечной двери. Как будто в набат забили ворота брошенной Фебиной избы.

Омрачённая крестьянская обитель! Знали ли, ведали ли наши отцы, деды и прадеды, что будет такая судьба у Жарков! Я уже почти

подъехал к Заручью. Снова неожиданно повернулся назад и громко крикнул в непроглядную темноту ночи, в сторону умершей родной колыбели:

– Прощайте, Жарки! Светлый лучик в моей жизни! Я вас никогда не забуду!

Николай Родин
1982 – 1996 гг.

Содержание

Геннадий Иванов «Художник Родин и его родина»	4
---	---

Часть I

О, русское поле

Мальчиha	9
Как я городил огород	18
Навозница (праздник плодородия)	25
Какая прекрасная пора сенокос!	30
Жнитво	46
Молотьба	70
Крылатые мельницы	77
Любимый Сокол	91
С табуном в ночной Мальчиге	97
Опять о Соколе	99
Городские гости	102
Мария Алексеевна	107

Часть II

Это было в тридцатом

Накануне	111
Второе рождение	177
Смерть отца	181
Похороны отца	186
У берёз высоких	194
Белая черёмуха	198

Часть III

Прощайте, Жарки!

Я еду в Жарки	203
Здравствуй, родина!	206
Кругом лишь белеет нетронутый снег... ..	208
Деревенские ворота	210
И некому слово сказать... ..	212
Шагают хмурые двадцатые годы	213
В воскресенье мать-старушка... ..	216
И в каждую избу вошёл... ..	223
Запахло сосной в нашем конце	225

Долго стоять этому дому	226
Арсений Чумаков	228
И загорелся сыр-бор	233
Чужое бельё	234
Встреча с орлом	237
Всё заросло кругом... ..	239
Встреча с вербой	242
Изба Василия Чумакова	245
Прощайте, Жарки!	248

Николай Родин

Бежецкие Жарки

Краеведческий альманах
«Тверской край»
События. Люди. Судьбы
Выпуск 19

Редактор В.В. Козырев
bezhkray@yandex.ru

**В книге впервые использованы фотографии и рисунки
из личного фонда Н.А. Родина, хранящиеся в архивном отделе
администрации Бежецкого района**

Литературная обработка и корректура текста
Михайлова Татьяна Михайловна

Компьютерный набор текста
Вьюгина Ольга Юрьевна
Серова Ирина Анатольевна
Бычкова Полина Дмитриевна

Вёрстка
Козырев Владимир Васильевич

Формат 21×15 1/2. Гарнитура Lazurski.
Отпечатано в типографии ООО «ТФП»
ИНН 6904041731
170006, г. Тверь, Беляковский пер., 46
Тираж 300 экз.

